

Братья Карамазовы. Часть 4.

Федор Михайлович Достоевский

Братья Карамазовы

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ С ЭПИЛОГОМ

* ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. *

КНИГА ДЕСЯТАЯ.

МАЛЬЧИКИ

I. КОЛЯ КРАСОТКИН.

Ноябрь в начале. У нас стал мороз градусов в одиннадцать, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снега, и ветер "сухой и острый" подымает его и метет по скучным улицам нашего городка и особенно по базарной площади. Утро мутное, но снежок перестал. Не далеко от площади, поблизости от лавки Плотниковых, стоит небольшая. очень чистенький и снаружи и снутри домик вдовы чиновника Красоткиной. Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, тому назад почти четырнадцать лет, но вдова его. тридцатилетняя и до сих пор еще весьма смазливая собою дамочка, жива и живет в своем чистеньком домике "своим капиталом". Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. Осталась она после мужа лет восемнадцати, прожив с ним всего лишь около году и только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка - мальчика Коли, и хоть любила его все четырнадцать лет без памяти, но уж конечно перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболит, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится и проч., и проч. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмеялись над ним, не прибили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали быть чрез нее над ним насмеяться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок. Но мальчик сумел отстоять себя. Был он смелый мальчишка, "ужасно сильный", как пронеслась и скоро утвердилась молва о нем в классе, был ловок, характера упорного, духа дерзкого и предприимчивого. Учился он хорошо, и шла даже молва, что он и из арифметики и из всемирной истории собьет самого учителя Дарданелова. Но мальчик хоть и смотрел на всех свысока, вздернув носик, но товарищем был хорошим и не превозносился. Уважение школьников принимал как должное, но держал себя дружелюбно. Главное, знал меру, умел при случае сдержать себя самого, а в отношениях к начальству никогда не переступал некоторой последней и заветной черты, за

которую уже проступок не может быть терпим, обращаясь в беспорядок, бунт и в беззаконие. И однако он очень, очень не прочь был пошалить при всяком удобном случае, пошалить как самый последний мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать "экстрафеферу", шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношения подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась, о, давно уже подчинилась, и лишь не могла ни за что перенести одной только мысли, что мальчик ее "мало любит". Ей беспрерывно казалось, что Коля к ней "бесчувствен", и бывали случаи, что она, обливаясь истерическими слезами, начинала упрекать его в холодности. Мальчик этого не любил, и чем более требовали от него сердечных излияний, тем как бы нарочно становился неподатливее. Но происходило это у него не нарочно, а невольно, - таков уж был характер. Мать ошибалась: маму свою он очень любил, а не любил только "телячьих нежностей", как выражался он на своем школьническом языке. После отца остался шкаф, в котором хранилось несколько книг; Коля любил читать и про себя прочел уже некоторые из них. Мать этим не смущалась и только дивилась иногда, как это мальчик вместо того, чтоб идти играть, простаивает у шкапа по целым часам над какою-нибудь книжкой. И таким образом Коля прочел кое-что, чего бы ему нельзя еще было давать читать в его возрасте. Впрочем в последнее время, хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известной черты, но начались шалости, испугавшие мать не на шутку, - правда, не безнравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные. Как раз в это лето, в июле месяце, во время вакаций, случилось так, что маменька с сынком отправились погостить на недельку в другой уезд, за семьдесят верст, к одной дальней родственнице, муж которой служил на станции железной дороги (той самой, ближайшей от нашего города станции, с которой Иван Федорович Карамазов месяц спустя отправился в Москву). Там Коля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой, между школьниками своей прогимназии. Но нашлись там как раз в то время и еще несколько мальчиков, с которыми он и сошелся: одни из них проживали на станции, другие по соседству, - всего молодого народа от двенадцати до пятнадцати лет сошлось человек шесть или семь, а из них двое случились и из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили, и вот на четвертый или на пятый день гостения на станции состоялось между глупою молодежью одно преневоозможное пари в два рубля, именно: Коля, почти изо всех младший, а потому несколько презираемый старшими, из самолюбия или из беспардонной отваги, предложил, что он, ночью, когда придет одиннадцатичасовой поезд, ляжет между рельсами ничком и пролежит недвижимо, пока поезд пронесется над ним на всех парах. Правда, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд конечно пронесется и не заденет лежащего, но однако же какowo пролежать! Коля стоял твердо, что пролежит. Над ним сначала смеялись, звали лгунишкой, фанфароном, но тем пуще его подзадорили. Главное, эти пятнадцатилетние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как "маленького", что было уже нестерпимо обидно. И вот решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что темная, а почти черная. В надлежащий час Коля лег между рельсами. Пятеро остальных, державших пари, с замиранием сердца, а наконец в страхе и с раскаянием, ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец загредел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы два красные фонаря, загрохотало приближающееся чудовище. "Беги, беги долой с рельсов!" - закричали Коле из кустов умиравшие от страха мальчишки, но было уже поздно: поезд наскочил и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле: он лежал недвижимо. Они стали его теребить, начали подымать. Он вдруг поднялся и молча сошел с насыпи. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал как без чувств, чтоб их испугать, но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как и признался потом сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом слава "отчаянного" за ним укрепилась навеки. Воротился он домой на станцию бледный как полотно. На другой день заболел слегка нервной лихорадкой, но духом был ужасно весел, рад и доволен. Происшествие огласилось не сейчас, а уже в нашем городе, проникло в прогимназию и достигло до ее начальства. Но тут маменька Коли

бросилась молить начальство за своего мальчика и кончила тем, что его отстоял и упросил за него уважаемый и влиятельный учитель Дарданелов, и дело оставили втуне, как не бывшее вовсе. Этот Дарданелов, человек холостой и не старый, был страстно и уже многолетне влюблен в госпожу Красоткину, и уже раз, назад тому с год, почтительнейше и замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку, но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику, хотя Дарданелов, по некоторым таинственным признакам, даже может быть имел бы некоторое право мечтать, что он не совсем противен прелестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдове. Сумасшедшая шалость Коли кажется пробила лед, и Дарданелову за его заступничество сделан был намек о надежде, правда отдаленный, но и сам Дарданелов был феноменом чистоты и деликатности, а потому с него и того было покамест довольно для полноты его счастья. Мальчика он любил, хотя считал бы унижительным пред ним заискивать, и относился к нему в классах строго и требовательно. Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии, уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником, обращался к Дарданелову сухо, и весь класс твердо верил, что во всемирной истории Коля так силен, что "собьет" самого Дарданелова. И действительно Коля задал ему раз вопрос: Кто основал Троию? на что Дарданелов отвечал лишь вообще про народы, их движения и переселения, про глубину времен, про баснословие, но на то, кто именно основал Троию, то есть какие именно лица, ответить не мог, и даже вопрос нашел почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в уверенности, что Дарданелов не знает, кто основал Троию. Коля же вычитал об основателях Трои у Смарагдова, хранившегося в шкапе с книгами, который остался после родителя. Кончилось тем, что всех даже мальчиков стало наконец интересоваться: Кто ж именно основал Троию, но Красоткин своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним незыблемо.

После случая на железной дороге, у Коли в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Федоровна (вдова Красоткина) узнала о подвиге сына, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней сделались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с пережками несколько дней, что испуганный уже серьезно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях пред образом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красоткина, при чем "мужественный" Коля сам расплакался как шестилетний мальчик от "чувств", и мать и сын во весь тот день бросались друг к другу в объятия и плакали сотрясаясь.

На другой день Коля проснулся попрежнему "бесчувственным", однако стал молчаливее, скромнее, строже, задумчивее. Правда, месяца чрез полтора он опять было попался в одной шалости, и имя его сделалось даже известным нашему мировому судье, но шалость была уже совсем в другом роде, даже смешная и глупенькая, да и не сам он, как оказалось, совершил ее, а только очутился в нее замешанным. Но об этом как-нибудь после. Мать продолжала трепетать и мучиться, а Дарданелов по мере тревог ее все более и более воспринимал надежду. Надо заметить, что Коля понимал и разгадывал с этой стороны Дарданелова и уж, разумеется, глубоко презирал его за его "чувства"; прежде даже имел неделикатность выказывать это презрение свое пред матерью, отдаленно намекая ей, что понимает, чего добивается Дарданелов. Но после случая на железной дороге он и на этот счет изменил свое поведение: намеков себе уже более не позволял, даже самых отдаленных, а о Дарданелове при матери стал отзываться почтительнее, что тотчас же с беспредельною благодарностью в сердце своем поняла чуткая Анна Федоровна, но зато при малейшем, самом нечаянном слове даже от постороннего какого-нибудь гостя о Дарданелове, если при этом находился Коля, вдруг вся вспыхивала от стыда как роза. Коля же в эти мгновения или смотрел нахмуренно в окно, или разглядывал, не просят ли у него сапоги каши, или свирепо звал "Перезвона", лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую с месяц вдруг откуда-то приобрел, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах, никому ее не показывая из товарищей. Тиранил же ужасно, обучая ее всяким штукам и наукам, и довел бедную собаку до того, что та выла без него, когда он отлучался в классы, а когда приходил, визжала от восторга, скакала как полоумная, служила, валилась на землю и притворялась мертвою и проч., словом, показывала все штуки, которым ее обучили, уже не по требованию, а единственно от пылкости своих восторженных чувств и благодарного сердца.

Кстати я и забыл упомянуть, что Коля Красоткин был тот самый мальчик, которого знакомый уже читателю мальчик Илюша, сын отставного штабс-капитана Снегирева, пырнул перочинным ножиком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники задразнили "мочалкой".

II. ДЕТВОРА.

Итак, в то морозное и сиверкое ноябрьское утро, мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже одиннадцать часов, а ему непременно надо было идти со двора "по одному весьма важному делу", а между тем он во всем доме оставался один и решительно как хранитель его, потому что так случилось, что все его старшие обитатели, по некоторому экстренному и оригинальному обстоятельству, отлучились со двора. В доме вдовы Красоткиной. Чрез сени от квартиры, которую занимала она сама, отдавалась еще одна и единственная в доме квартирка из двух маленьких комнат внаймы, и занимала ее докторша с двумя малолетними детьми. Эта докторша была одних лет с Анной Федоровной и большая ее приятельница, сам же доктор вот уже с год заехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как от него не было ни слуху, ни духу, так что если бы не дружба с г-жою Красоткиной, несколько смягчавшая горе оставленной докторши, то она решительно бы истекла от этого горя слезами. И вот надобно же было так случиться к довершению всех угнетений судьбы, что в эту же самую ночь, с субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребеночка. Как случилось, что никто этого не заметил заранее, было для всех почти чудом. Пораженная докторша рассудила, пока есть еще время, свезти Катерину в одно приспособленное к подобным случаям в нашем городке заведение у повивальной бабушки. Так как служанкою этой она очень дорожила, то немедленно и исполнила свой проект, отвезла ее и, сверх того, осталась там при ней. Затем уже утром понадобилось почему-то все дружеское участие и помощь самой г-жи Красоткиной, которая при этом случае могла кого-то о чем-то попросить и оказать какое-то покровительство. Таким образом, обе дамы были в отлучке, служанка же самой г-жи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базар, и Коля очутился таким образом на время хранителем и караульщиком "пузырей", то есть мальчика и девочки докторши, оставшихся одинешенькими. Караулить дом Коля не боялся, с ним к тому же был Перезвон, которому повелено было лежать ничком в передней под лавкой "без движений", и который именно поэтому каждый раз, как входил в переднюю расхаживавший по комнатам Коля, вздрагивал головой и давал два твердые и заискивающие удара хвостом по полу, но увы, призывного свиста не раздавалось. Коля грозно взглядывал на несчастного пса, и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но если что смущало Колю, то единственно "пузыри". На нечаянное приключение с Катериной он, разумеется, смотрел с самым глубоким презрением, но осиротевших пузырей он очень любил, и уже снес им какую-то детскую книжку. Настя, старшая девочка, восьми уже лет, умела читать, а младший пузырь, семилетний мальчик Костя очень любил слушать, когда Настя ему читает. Разумеется, Красоткин мог бы их занять интереснее, то есть поставить обоих рядом и начать с ними играть в солдаты, или прятаться по всему дому. Это он не раз уже делал прежде и не брезгал делать, так что даже в классе у них разнеслось было раз, что Красоткин у себя дома играет с маленькими жильцами своими в лошадки, прыгает за пристяжную и гнет голову, но Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с тринадцатилетними, действительно было бы позорно играть "в наш век" в лошадки, но что он делает это для "пузырей", потому что их любят, а в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета. Зато и обожали же его оба "пузыря". Но на сей раз было не до игрушек. Ему предстояло одно очень важное собственное дело, и на вид какое-то почти даже таинственное, между тем время уходило, а Агафья, - на которую можно бы было оставить детей, все еще не хотела возвратиться с базара. Он несколько раз уже переходил чрез сени, отворял дверь к докторше и озабоченно оглядывал "пузырей", которые, по его приказанию, сидели за книжкой, и каждый раз, как он отворял дверь, молча улыбались ему во весь

рот, ожидая, что вот он войдет и сделает что-нибудь прекрасное и забавное. Но Коля был в душевной тревоге и не входил. Наконец пробило одиннадцать, и он твердо и окончательно решил, что если через десять минут "проклятая" Агафья не воротится, то он уйдет со двора, ее не дождавшись, разумеется, взяв с "пузырей" слово, что они без него не струсят, не нашьалят и не будут от страха плакать. В этих мыслях он оделся в свое ватное зимнее пальтишко с меховым воротником из какого-то котика, навесил через плечо свою сумку и, несмотря на прежние неоднократные мольбы матери, чтоб он по "такому холоду", выходя со двора, всегда надевал калошки, только с презрением посмотрел на них, проходя через переднюю, и вышел в одних сапогах. Перезвон, завидя его одетым, начал было усиленно стучать хвостом по полу, нервно подергиваясь всем телом, и даже испустил было жалобный вой, но Коля, при виде такой страстной стремительности своего пса, заключил, что это вредит дисциплине, и хоть минуту, а выдержал его еще под лавкой, и, уже отворив только дверь в сени, вдруг свистнул его. Пес вскочил как сумасшедший, и бросился скакать пред ним от восторга. Перейдя сени, Коля отворил дверь к "пузырям". Оба попрежнему сидели за столиком, но уже не читали, а жарко о чем-то спорили. Эти детки часто друг с другом спорили о разных вызывающих житейских предметах, при чем Настя, как старшая, всегда одерживала верх; Костя же, если не соглашался с нею, то всегда почти шел апеллировать к Коле Красоткину, и уж как тот решал, так оно и оставалось в виде абсолютного приговора для всех сторон. На этот раз спор "пузырей" несколько заинтересовал Красоткина, и он остановился в дверях послушать. Детки видели, что он слушает, и тем еще с большим азартом продолжали свое препирание.

- Никогда, никогда я не поверю, - горячо лепетала Настя, - что маленьких деток повивальные бабушки находят в огороде между грядками с капустой. Теперь уж зима, и никаких грядок нет, и бабушка не могла принести Катерине дочку.

- Фью! - присвистнул про себя Коля.

- Или вот как: они приносят откуда-нибудь, но только тем, которые замуж выходят.

Костя пристально смотрел на Настю, глубокомысленно слушал и соображал.

- Настя, какая ты дура, - произнес он наконец твердо и не горячась, - какой же может быть у Катерины ребеночек, когда она не замужем?

Настя ужасно загорячилась.

- Ты ничего не понимаешь, - раздражительно оборвала она, - может у нее муж был, но только в тюрьме сидит, а она вот и родила.

- Да разве у нее муж в тюрьме сидит? - важно осведомился положительный Костя.

- Или вот что, - стремительно перебила Настя, совершенно бросив и забыв свою первую гипотезу: - у нее нет мужа, это ты прав, но она хочет выйти замуж, вот и стала думать, как выйдет замуж, и все думала, все думала, и до тех пор думала, что вот он у ней и стал не муж, а ребеночек.

- Ну разве так, - согласился совершенно побежденный Костя, - а ты этого раньше не сказала, так как же я мог знать.

- Ну, детвора, - произнес Коля, шагнув к ним в комнату, - опасный вы, я вижу, народ!

- И Перезвон с вами? - осклабился Костя и начал прищелкивать пальцами и звать Перезвона.

- Пузыри, я в затруднении, - начал важно Красоткин, - и вы должны мне помочь: Агафья конечно ногу сломала, потому что до сих пор не является, это решено и подписано, мне же необходимо со двора. Отпустите вы меня али нет?

Дети озабоченно переглянулись друг с другом, осклабившиеся лица их стали выражать беспокойство. Они впрочем еще не понимали вполне, чего от них добиваются.

- Шалить без меня не будете? Не полезете на шкаф, не сломаете ног? Не заплачете от страха одни?

На лицах детей выразилась страшная тоска.

- А я бы вам за то мог вещь одну показать, пушечку медную, из которой можно стрелять настоящим порохом.

Лица деток мгновенно прояснились.

- Покажите пушечку, - весь просиявший проговорил Костя. Красоткин запустил руку в свою сумку и, вынув из нее маленькую бронзовую пушечку, поставил ее на стол.

- То-то покажите! Смотри, на колесках, - прокатил он игрушку по столу, - и стрелять можно. Дробью зарядить и стрелять.

- И убьет?

- Всех убьет, только стоит навести, - и Красоткин растолковал, куда положить порох, куда вкатить дробинку, показал на дырочку в виде затравки и рассказал, что бывает откат. Дети слушали со страшным любопытством. Особенно поразило их воображение, что бывает откат.

- А у вас есть порох? - осведомилась Настя.

- Есть.

- Покажите и порох, - протянула она с просящей улыбкой. Красоткин опять слезил в сумку и вынул из нее маленький пузырек, в котором действительно было насыпано несколько настоящего пороха, а в свернутой бумажке оказалось несколько крупинок дроби. Он даже откупорил пузырек и высыпал немножко пороха на ладонь.

- Вот, только не было бы где огня, а то так и взорвет и нас всех перебьет, - предупредил для эффекта Красоткин.

Дети рассматривали порох с благоговейным страхом, еще усилившим наслаждение. Но Косте больше понравилась дробь.

- А дробь не горит? - осведомился он.

- Дробь не горит.

- Подарите мне немножко дроби, - проговорил он умоляющим голосом.

- Дроби немножко подарю, вот, бери, только маме своей до меня не показывай, пока я не приду обратно, а то подумает, что это порох, и так и умрет от страха, а вас выпорет.

- Мама нас никогда не сечет розгой, - тотчас же заметила Настя.

- Знаю, я только для красоты слога сказал. И маму вы никогда не обманывайте, но на этот раз - пока я приду. И так, пузыри, можно мне идти или нет? не заплачете без меня от страха?

- За-пла-чем, - протянул Костя, уже приготовляясь плакать.

- Заплачем, непременно заплачем! - подхватила пугливую скороговоркой и Настя.

- Ох дети, дети, как опасны ваши лета. Нечего делать, птенцы, придется с вами просидеть не знаю сколько. А время-то, время-то, ух!

- А прикажите Перезвону мертвым притвориться, - попросил Костя.

- Да уж нечего делать, придется прибегнуть и к Перезвону. Ici, Перезвон! - И Коля начал повелевать собаке, а та представлять все, что знала. Это была лохматая собака, величиной с обыкновенную дворняжку, какой-то серо-лиловой шерсти. Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения как мертвая. Во время этой последней штуки отворилась дверь, и Агафья, толстая служанка п-жи Красоткиной, рябая баба лет сорока, показалась на пороге, возвратясь с базара с кульком накупленной провизии в руке. Она стала и, держа в левой руке на отвесе кулек, принялась глядеть на собаку. Коля, как ни ждал Агафьи, представления не прервал и, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг.

- Вишь, пес! - проговорила назидательно Агафья.

- А ты чего, женский пол, опоздала? - спросил грозно Красоткин.

- Женский пол, ишь пупырь!

- Пупырь?

- И пупырь. Что тебе, что я опоздала, значит так надо, коли опоздала, - бормотала Агафья, принимаясь возиться около печки, но совсем не недовольным и не сердитым голосом, а напротив очень довольным, как будто радуясь случаю позубоскалить с веселым барченком.

- Слушай, легкомысленная старуха, - начал, вставая с дивана, Красоткин, - можешь ты мне поклясться всем, что есть святого в этом мире, и сверх того чем-нибудь еще, что будешь наблюдать за пузырями в мое отсутствие неустанно? Я ухожу со двора.

- А зачем я тебе клястись стану? - засмеялась Агафья, - и так присмотрю.

- Нет, не иначе, как поклявшись вечным спасением души твоей. Иначе не уйду.

- И не уходи. Мне како дело, на дворе мороз, сиди дома.

- Пузыри, - обратился Коля к деткам, - эта женщина останется с вами до моего прихода или до прихода вашей мамы, потому что и той давно бы воротиться надо. Сверх того, даст вам позавтракать. Дашь чего-нибудь им, Агафья?

- Это возможно.

- До свидания, птенцы, ухожу со спокойным сердцем. А ты, бабуся, - вполголоса и важно проговорил он, проходя мимо Агафьи, - надеюсь, не станешь им врать обычные ваши бабьи глупости про Катерину, пощадишь детский возраст. Ісі, Перезвон!

- И ну тебя к богу, - огрызнулась уже с сердцем Агафья. - Смешной! Выпороть самого-то, вот что, за такие слова.

III. ШКОЛЬНИК.

Но Коля уже не слушал. Наконец-то он мог уйти. Выйдя за ворота, он огляделся, передернул плечиками и проговорив: "мороз!" направился прямо по улице и потом направо по переулку к базарной площади. Не доходя одного дома до площади, он остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. Ему пришлось ждать не более минуты, из калитки вдруг выскочил к нему румянючий мальчик, лет одиннадцати, тоже одетый в теплое, чистенькое и даже щегольское пальтецо. Это был мальчик Смуров, состоявший в приготовительном классе (тогда как Коля Красоткин был уже двумя классами выше), сын зажиточного чиновника, и которому, кажется, не позволяли родители водиться с Красоткиным, как с известнейшим отчаянным шалуном, так что Смуров очевидно выскочил теперь украдкой. Этот Смуров, если не забыл читатель, был один из той группы мальчиков, которые два месяца тому назад кидали камнями через канаву в Илюшу, и который рассказывал тогда про Илюшу Алеше Карамазову.

- Я вас уже целый час жду, Красоткин, - с решительным видом проговорил Смуров, и мальчики зашагали к площади.

- Запоздал, - ответил Красоткин. - Есть обстоятельства. Тебя не выпорют, что ты со мной?

- Ну полноте, разве меня порют? И Перезвон с вами?

- И Перезвон!

- Вы и его туда?

- И его туда.

- Ах кабы Жучка!

- Нельзя Жучку. Жучка не существует. Жучка исчезла во мраке неизвестности.

- Ах, нельзя ли бы так, - приостановился вдруг Смуров, - ведь Илюша говорит, что Жучка тоже была лохматая и тоже такая же седая, дымчатая, как и Перезвон, - нельзя ли сказать, что это та самая Жучка и есть, он может быть и поверит?

- Школьник, гнушайся лжи, это раз; даже для доброго дела, два. А главное, надеюсь, ты там не объявлял ничего о моем приходе.

- Боже сохрани, я ведь понимаю же. Но Перезвоном его не утетишь, - вздохнул Смуров. - Знаешь что: отец этот, капитан, мочалка-то, говорил нам, что сегодня шеночка ему принесет, настоящего меделянского, с черным носом; он думает, что этим утешит Илюшу, только вряд ли?

- А каков он сам, Илюша-то?

- Ах, плох, плох! Я думаю, у него чахотка. Он весь в памяти, только так дышит-дышит, нехорошо он дышит. Намедни попросил, чтоб его поводили, обули его в сапожки, пошел было, да и валится. "Ах, говорит, я говорил тебе, папа, что это у меня дурные сапожки, прежние, в них и прежде было неловко ходить". Это он думал, что он от сапожек с ног валится, а он просто от слабости. Недели не проживет. Герценштубе ездит. Теперь они опять богаты, у них много денег.

- Шельмы.

- Кто шельмы?

- Доктора, и вся медицинская сволочь говоря вообще, и уж разумеется в частности. Я отрицаю медицину. Бесплезное учреждение. Я впрочем все это

исследую. Что это у вас там за сентиментальности однако завелись? Вы там всем классом, кажется, пребываете?

- Не всем, а так человек десять наших ходит туда, всегда, всякий день. Это ничего.

- Удивляет меня во всем этом роль Алексея Карамазова: брата его завтра или после завтра судят за такое преступление, а у него столько времени на сентиментальничанье с мальчишками!

- Совсем тут никакого нет сентиментальничанья. Сам же вот идешь теперь с Илюшей мириться.

- Мириться? Смешное выражение. Я впрочем никому не позволяю анализировать мои поступки.

- А как Илюша будет тебе рад! Он и не воображает, что ты придешь. Почему, почему ты так долго не хотел идти? - воскликнул вдруг с жаром Смуров.

- Милый мальчик, это мое дело, а не твое. Я иду сам по себе, потому что такова моя воля, а вас всех притащил туда Алексей Карамазов, значит разница. И почему ты знаешь, я может вовсе не мириться иду? Глупое выражение.

- Во все не Карамазов, совсем не он. Просто наши сами туда стали ходить, конечно сперва с Карамазовым. И ничего такого не было, никаких глупостей. Сначала один, потом другой. Отец был ужасно нам рад. Ты знаешь, он просто с ума сойдет, коль умрет Илюша. Он видит, что Илюша умрет. А нам-то как рад, что мы с Илюшей помирились. Илюша о тебе спрашивал, ничего больше не прибавил. Спросит и замолчит. А отец с ума сойдет или повесится. Он ведь и прежде держал себя как помешанный. Знаешь, он благородный человек, и тогда вышла ошибка. Все этот отцеубийца виноват, что избил его тогда.

- А все-таки Карамазов для меня загадка. Я мог бы и давно с ним познакомиться, но я в иных случаях люблю быть гордым. При том я составил о нем некоторое мнение, которое надо еще проверить и разъяснить.

Коля важно примолк; Смуров тоже. Смуров, разумеется, благоговел пред Колей Красоткиным и не смел и думать равняться с ним. Теперь же был ужасно заинтересован, потому что Коля объяснил, что идет "сам по себе", и была тут стало быть непременно какая-то загадка в том, что Коля вдруг вздумал теперь и именно сегодня идти. Они шли по базарной площади, на которой на этот раз стояло много приезжих возов и было, много пригнанной птицы. Городские бабы торговали под своими навесами бубликами, нитками и проч. Такие воскресные съезды наивно называются у нас в городке ярмарками, и таких ярмарок бывает много в году. Перезвон бежал в веселейшем настроении духа, уклоняясь беспрестанно направо и налево где-нибудь что-нибудь понюхать. Встречаясь с другими собачонками, с необыкновенною охотой с ними обнюхивался по всем собачьим правилам.

- Я люблю наблюдать реализм, Смуров, - заговорил вдруг Коля. - Заметил ты, как собаки встречаются и обнюхиваются? Тут какой-то общий у них закон природы.

- Да, какой-то смешной.

- То есть не смешной, это ты неправильно. В природе ничего нет смешного, как бы там ни казалось человеку с его предрассудками. Если бы собаки могли рассуждать и критиковать, то наверно бы нашли столько же для себя смешного, если не гораздо больше, в социальных отношениях между собою людей, их повелителей, - если не гораздо больше; это я повторяю потому, что я твердо уверен, что глупостей у нас гораздо больше. Это мысль Ракитина, мысль замечательная. Я социалист, Смуров.

- А что такое социалист? - спросил Смуров.

- Это коли все равны, у всех одно общее имя, нет браков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там все остальное. Ты еще не дорос до этого, тебе рано. Холодно однако.

- Да. Двенадцать градусов. Давеча отец смотрел на термометре.

- И заметил ты, Смуров, что в середине зимы, если градусов пятнадцать или даже восемнадцать, то кажется не так холодно, как, например, теперь, в начале зимы, когда вдруг нечаянно ударит мороз, как теперь, в двенадцать градусов, да еще когда снегу мало. Это значит люди еще не привыкли. У людей все привычка, во всем, даже в государственных и в политических отношениях. Привычка - главный двигатель. Какой смешной однако мужик.

Коля указал на рослого мужика в тулупе, с добродушной физиономией, который у своего воза похлопывал от холода ладонями в рукавицах. Длинная

русовая борода его вся заиндевелила от мороза.

- У мужика борода замерзла! - громко и задирчиво крикнул Коля, проходя мимо него.

- У многих замерзла, - спокойно и сентенциозно промолвил в ответ мужик.

- Не задирай его, - заметил Смуров.

- Ничего, не осердится, он хороший. Прощай, Матвей.

- Прощай.

- А ты разве Матвей?

- Матвей. А ты не знал?

- Не знал; я наугад сказал.

- Ишь ведь. В школьниках небось?

- В школьниках.

- Что ж тебя, порют?

- Не то чтобы, а так.

- Больно?

- Не без того.

- Эх жисть! - вздохнул мужик от всего сердца.

- Прощай, Матвей.

- Прощай. Парнишка ты милый, вот что.

Мальчики пошли дальше.

- Это хороший мужик, - заговорил Коля Смурову. - Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость.

- Зачем ты ему соврал, что у нас секут? - спросил Смуров.

- Надо же было его утешить!

- Чем это?

- Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя. По идее мужика школьника порют и должны пороть: что дескать за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить.

- Только не задирай пожалуйста, а то опять выйдет история, как тогда с этим гусем.

- А ты боишься?

- Не смейся, Коля, ей богу боюсь. Отец ужасно рассердится. Мне строго запрещено ходить с тобой.

- Не беспокойся, нынешний раз ничего не произойдет. Здравствуй, Наташа, - крикнул он одной из торговек под навесом.

- Какая я тебе Наташа, я Марья, - крикливо ответила торговка, далеко еще не старая женщина.

- Это хорошо, что Марья, прощай.

- Ах ты постреленок, от земли не видать, а туда же!

- Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье расскажешь, - замахал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней.

- А что мне тебе рассказывать в воскресенье? Сам привязался, а не я к тебе, озорник, - раскричалась Марья, - выпороть тебя, вот что, обидчик ты известный, вот что!

Между другими торговками, торговавшими на своих лотках рядом с Марьей, раздавался смех, как вдруг из-под аркады городских лавок выскочил ни с того, ни с сего, один раздраженный человек в роде купеческого приказчика, и не наш торговец, а из приезжих, в длиннополом синем кафтане, в фуражке с козырьком, еще молодой, в темнорусых кудрях и с длинным, бледным, рябоватым лицом. Он был в каком-то глупом волнении и тотчас принялся грозить Коле кулаком.

- Я тебя знаю, - восклицал он раздраженно, - я тебя знаю!

Коля пристально поглядел на него. Он что-то не мог припомнить, когда он с этим человеком мог иметь какую-нибудь схватку. Но мало ли у него было схваток на улицах, всех и припомнить было нельзя.

- Знаешь? - иронически спросил он его.

- Я тебя знаю! Я тебя знаю! - наладил как дурак мещанин.

- Тебе же лучше. Ну некогда мне, прощай!

- Чего озорничаешь? - закричал мещанин. - Ты опять озорничать? Я тебя знаю! Ты опять озорничать?

- Это, брат, не твое теперь дело, что я озорничаю, - произнес Коля, остановясь и продолжая его разглядывать.

- Как не мое?

- Так, не твое.

- А чье же? Чье же? Ну, чье же?

- Это, брат, теперь Трифона Никитича дело, а не твое.

- Какого такого Трифона Никитича? - с дурацким удивлением, хотя все так же горячася, уставился на Колю парень. Коля важно обмерил его взглядом.

- К Вознесенью ходил? - строго и настойчиво вдруг спросил он его.

- К какому Вознесенью? Зачем? Нет, не ходил, - опешил немного парень.

- Сабанеева знаешь? - еще настойчивее и еще строже продолжал Коля.

- Какого те Сабанеева? Нет, не знаю.

- Ну, и чорт с тобой после этого! - отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал дорогой, как будто и говорить презирая с таким олухом, который Сабанеева даже не знает.

- Стой ты, эй! Какого те Сабанеева? - опомнился парень, весь опять заволновавшись. - Это он чего такого говорил? - повернулся он вдруг к торговкам, глупо смотря на них, Бабы рассмеялись.

- Мудреный мальчишка, - проговорила одна.

- Какого, какого это он Сабанеева? - все неистово повторял парень, махая правой рукой.

- А это надоть быть Сабанеева, который у Кузьмичевых служил, вот как надоть быть, - догадалась вдруг одна баба. Парень дико на нее уставился.

- Кузь-ми-чева? - переговорила другая баба, - да какой он Трифон? Тот Кузьма, а не Трифон, а парнишка Трифоном Никитычем называл, стало не он.

- Это, вишь, не Трифон и не Сабанеев, это Чижов, - подхватила вдруг третья баба, доселе молчавшая и серьезно слушавшая, - Алексей Иванычем звать его. Чижов, Алексей Иванович.

- Это так и есть, что Чижов, - настойчиво подтвердила четвертая баба. Ошеломленный парень глядел то на ту, то на другую.

- Да зачем он спрашивал, спрашивал-то он зачем, люди добрые! - восклицал он уже почти в отчаянии: - "Сабанеева знаешь?" А чорт его знает, каков он есть таков Сабанеев?

- Бестолковый ты человек, говорят те не Сабанеев, а Чижов, Алексей Иванович Чижов, вот кто! - внушительно крикнула ему одна торговка.

- Какой Чижов? ну, какой? Говори, коли знаешь.

- А длинный, возгивый, летось на базаре сидел.

- А на кой ляд мне твое Чижова, люди добрые, а?

- А я почем знаю, на кой те ляд Чижова.

- А кто тебя знает, на что он тебе, - подхватила другая, - сам должен знать, на что его тебе надо, коли галдишь. Ведь он тебе говорил, а не нам, глупый ты человек. Аль вправду не знаешь?

- Кого?

- Чижова.

- А чорт его дери Чижова, с тобой вместе! Отколочу его, вот что! Смеялся он надо мной!

- Чижова-то отколотишь? Либо он тебя! дурак ты, вот что!

- Не Чижова, не Чижова, баба ты злая, вредная, мальчишку отколочу, вот что! Давайте его, давайте его сюда, смеялся он надо мной!

Бабы хохотали. А Коля шагал уже далеко с победоносным выражением в лице. Смуров шел подле, оглядываясь на кричащую вдали группу. Ему тоже было очень весело, хотя он все еще опасался как бы не попасть с Колей в историю.

- Про какого ты его спросил Сабанеева? - спросил он Колю, предчувствуя ответ.

- А почем я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества. Вот и еще стоит олух, вот этот мужик. Заметь себе, говорят: "Ничего нет глупее глупого француза", но и русская физиономия выдает себя. Ну не написано ль у этого на лице, что он дурак, вот у этого мужика, а?

- Оставь его, Коля, пройдем мимо.

- Ни за что не оставлю, я теперь поехал. Эй, здравствуй, мужик!

Дужий мужик, медленно проходивший мимо и уже должно быть выпивший, с круглым простоватым лицом и с бородой с проседью, поднял голову и посмотрел на парнишку.

- Ну, здравствуй, коли не шутишь, - неторопливо проговорил он в ответ.

- А коль шучу? - засмеялся Коля.

- А шутишь, так и шути, бог с тобой. Ничего, это можно. Это всегда возможно, чтоб пошутить.

- Виноват, брат, пошутил.

- Ну и бог те прости.

- Ты-то прощаешь ли?

- Очень прощаю. Ступай.

- Вишь ведь ты, да ты, пожалуй, мужик умный.

- Умней тебя, - неожиданно и попрежнему важно ответил мужик.

- Вряд ли, - опешил несколько Коля.

- Верно говорю.

- А пожалуй, что и так.

- То-то, брат.

- Прощай, мужик.

- Прощай.

- Мужики бывают разные, - заметил Коля Смурову после некоторого молчания. - Почем же я знал, что нарвусь на умника. Я всегда готов признать ум в народе.

Вдали на соборных часах пробило половину двенадцатого. Мальчики заспешили, и остальной довольно еще длинный путь до жилища штабс-капитана Снегирева прошли быстро и почти уже не разговаривая. За двадцать шагов до дома Коля остановился и велел Смурову пойти вперед и вызвать ему сюда Карамазова.

- Надо предварительно обнюхаться, - заметил он Смурову.

- Да зачем вызывать, - возразил было Смуров, - войди и так, тебе ужасно обрадуются. А то что же на морозе знакомиться?

- Это уж я знаю, зачем мне его надо сюда на мороз, - деспотически отрезал Коля (что ужасно любил делать с этими "маленькими"), и Смуров побежал исполнять приказание.

IV. ЖУЧКА.

Коля с важною миной в лице прислонился к забору и стал ожидать появления Алешы. Да, с ним ему давно уже хотелось встретиться. Он много наслышался о нем от мальчиков, но до сих пор всегда наружно выказывал презрительно равнодушный вид, когда ему о нем говорили, даже "критиковал" Алешу, выслушивая то, что о нем ему передавали. Но про себя очень, очень хотел познакомиться: что-то было во всех выслушанных им рассказах об Алеше симпатическое и влекущее. Таким образом теперешняя минута была важная; во-первых, надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость: "А то подумает, что мне тринадцать лет, и примет меня за такого же мальчишку, как и эти. И что ему эти мальчишки? Спрошу его, когда сойдуся. Скверно однако же то, что я такого маленького роста: Тузиков моложе меня, а на полголовы выше. Лицо у меня, впрочем, умное; я не хорош, я знаю, что я мерзок лицом, но лицо умное. Тоже надо не очень высказываться, а то сразу-то с объятиями, он и подумает... Тьфу какая будет мерзость, если подумает!.."

Так волновался Коля, изо всех сил стараясь принять самый независимый вид. Главное, его мучил маленький его рост, не столько "мерзкое" лицо, сколько рост. У него дома, в углу на стене, еще с прошлого года была сделана карандашом черточка, которою он отметил свой рост, и с тех пор каждые два месяца он с волнением подходил опять мериться: на сколько успел вырасти? Но уввы! Выростал он ужасно мало, и это приводило его порой просто в отчаяние. Что же до лица, то было оно вовсе не "мерзкое", напротив, довольно милостивое, беленькое, бледненькое, с веснушками. Серые, небольшие, но живые глазки смотрели смело и часто загорались чувством. Скулы были несколько широки, губы маленькие, не очень толстые, но очень красные; нос маленький и решительно вздернутый: "совсем курносый, совсем курносый!" бормотал про себя Коля, когда смотрелся в зеркало, и всегда отходил от зеркала с негодованием. "Да вряд ли и лицо умное?" подумывал он иногда, даже сомневаясь и в этом. Впрочем не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как ни язвительны были минуты пред зеркалом, но он быстро забывал о них и даже надолго, "весь отдаваясь идеям и действительной жизни",

как определял он сам свою деятельность.

Алеша появился скоро и спеша подошел к Коле; за несколько шагов еще тот разглядел, что у Алеши было какое-то совсем радостное лицо. "Неужели так рад мне?" с удовольствием подумал Коля. Здесь кстати заметим, что Алеша очень изменился с тех пор, как мы его оставили: он сбросил подрясник и носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Все это очень его скрасило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алеша вышел к нему в том, в чем сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил. Он прямо протянул Коле руку.

- Вот и вы наконец, как мы вас все ждали.

- Были причины, о которых сейчас узнаете. Во всяком случае рад познакомиться. Давно ждал случая и много слышал, - пробормотал, немного задыхаясь, Коля.

- Да мы с вами и без того бы познакомились, я сам о вас много слышал, но здесь-то, сюда-то вы запоздали.

- Скажите, как здесь?

- Илюша очень плох, он непременно умрет.

- Что вы! согласитесь, что медицина подлость, Карамазов, - с жаром воскликнул Коля.

- Илюша часто, очень часто поминал об вас, даже, знаете, во сне, в бреду. Видно, что вы ему очень, очень были дороги прежде... до того случая... с ножиком. Тут есть и еще причина... Скажите, это ваша собака?

- Моя. Перезвон.

- А не Жучка? - жалостно поглядел Алеша в глаза Коле. - Та уже так и пропала?

- Знаю, что вам хотелось бы всем Жучку, слышал все-с, - загадочно усмехнулся Коля. - Слушайте, Карамазов, я вам объясню все дело, я главное с тем и пришел, для этого вас и вызвал, чтобы вам предварительно объяснить весь пассаж, прежде чем мы войдем, - оживленно начал он. - Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в подготовительный класс: Ну, известно, наш подготовительный класс: мальчишки, детвор[ААСУТЕ]. Илюшу тотчас же начали задирают. Я двумя классами выше и, разумеется, смотрю издали со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерется, гордый, глазенки горят. Я люблю этаких. А они-то его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки на верх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это. Унижают. Нет, этого уж я не люблю, тотчас же заступился и экстрафеферу задал. Я ведь их бью, а они меня обожают, вы знаете ли это, Карамазов? - экспансивно похвастался Коля. - Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию. Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый, но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как бога, лезет мне подражать. В антрактах между классами сейчас ко мне, и мы вместе с ним ходим. По воскресеньям тоже. У нас в гимназии смеются, когда старший сходит на такую ногу с маленьким, но это предрассудок. Такова моя фантазия, и баста, не правда ли? Я его учу, развиваю. - почему, скажите, я не могу его развивать, если он мне нравится? Ведь вот вы же, Карамазов, сошлись со всеми этими птенцами, значит, хотите действовать на молодое поколение, развивать, быть полезным? И признаюсь, эта черта в вашем характере, которую я узнал по наслышке, всего более заинтересовала меня. Впрочем к делу: примечая, что в мальчике развивается какая-то чувствительность, сентиментальность, а я, знаете, решительный враг всяких телячьих нежностей, с самого моего рождения. И к тому же противоречия: горд, а мне предан рабски, - предан рабски, а вдруг засверкают глазенки и не хочет даже соглашаться со мной, спорит, на стену лезет. Я проводил иногда разные идеи: он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он лично против меня бунтует, потому что я на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот, чтоб его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково мое убеждение. Я имел в виду вышколить характер, выравнять, создать человека... ну и там... вы, разумеется, меня с полслова понимаете. Вдруг замечая, он день, другой, третий смущен, скорбит, но уж не о нежностях, а о чем-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Наступаю на него и узнаю штуку: каким-то он образом сошелся с

лакеем покойного отца вашего (который тогда еще был в живых) Смердяковым, а тот и научи его, дурачка, глупой шутке, т. е. зверской шутке, подлой шутке, - взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке, из таких, которые с голодуху кусок не жуя глотают, и посмотреть, что из этого выйдет. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой Жучке, о которой теперь такая история, одной дворовой собаке из такого двора, где ее просто не кормили, а она-то весь день на ветер лаает. (Любите вы этот глупый лай. Карамазов? я терпеть не могу.) Так и бросилась, проглотила и завизжала, завертелась и пустилась бежать, бежит и все визжит, и исчезла, - так мне описывал сам Илюша. Признается мне, а сам плачет-плачет, обнимает меня, сотрясается: "Бежит и визжит, бежит и визжит" - только это и повторяет, поразила его эта картина. Ну, вижу, угрызения совести. Я принял серьезно. Мне, главное, и за прежнее хотелось его просколотить, так что, признаюсь, я тут схитрил. притворился, что в таком негодовании, какого может и не было у меня вовсе; "Ты, говорю, сделал низкий поступок, ты подлец, я конечно не разглашу, но пока прерываю с тобой сношения. Дело это обдумаю, и дам тебе знать через Смурова (вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришел и который всегда мне был предан): буду ли продолжать с тобой впредь отношения или брошу тебя навеки как подлеца". Это страшно его поразило. Я, признаюсь, тогда же почувствовал, что может быть слишком строго отнесся, но что делать, такова была моя тогдашняя мысль. День спустя посылаю к нему Смурова и чрез него передаю, что я с ним больше "не говорю", то есть это так у нас называется, когда два товарища прерывают между собой сношения. Тайна в том, что я хотел его выдержать на фербанте всего только несколько дней, а там, видя раскаяние, опять протянуть ему руку. Это было твердое мое намерение. Но что же вы думаете: выслушал он Смурова, и вдруг у него засверкали глаза: "передай, закричал он, - от меня Красоткину, что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать, всем, всем!" "А, думаю, вольный душок завелся, его надо выкурить", и стал ему выказывать полное презрение, при всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом, помните, мочалка-то? Поймите, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят: "мочалка, мочалка". Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что его кажется очень больно тогда раз избили. Вот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов, а я как раз стою в десяти шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, чтоб я тогда смеялся, напротив, мне тогда очень, очень стало жалко его, и еще миг, и я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд: что ему показалось - не знаю, но он выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро, вот тут, у правой ноги. Я не двинулся, я, признаюсь, иногда бываю храбр, Карамазов, я только посмотрел с презрением, как бы говоря взглядом: "Не хочешь ли мол еще, за всю мою дружбу, так я к твоим услугам". Но он другой раз не пырнул, он не выдержал, он сам испугался, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать. Я, разумеется, не фискалил и приказал всем молчать, чтобы не дошло до начальства, даже матери сказал, только когда все зажило, да и ранка была пустая, царапина. Потом слышу, в тот же день он бросался камнями и вам палец укусил, - но понимаете, в каком он был состоянии! Ну что делать, я сделал глупо: когда он заболел, я не пошел его простить, то есть помириться, теперь раскаиваюсь. Но тут уж у меня явились особые цели. Ну вот и вся история... только, кажется, я сделал глупо...

- Ах, как это жаль, - воскликнул с волнением Алеша, - что я не знал ваших этих с ним отношений раньше, а то бы я сам давно уже пришел к вам вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни, он бредил вами. Я и не знал, как вы ему дороги! И неужели, неужели вы так и не отыскали эту Жучку? Отец и все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он, больной, в слезах, три раза при мне уж повторял отцу: "Это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил, это меня бог наказал": не собьешь его с этой мысли! И если бы только достали теперь эту Жучку и показали, что она не умерла, а живая, то кажется он бы воскрес от радости. Все мы на вас надеялись.

- Скажите, с какой же стати надеялись, что я отыщу Жучку, то-есть что именно я отыщу? - с необычайным любопытством спросил Коля, - почему именно

на меня рассчитывали, а не на другого?

- Какой-то слух был, что вы ее отыскиваете, и что когда отыщете ее, то приведете. Смуров что-то говорил в этом роде. Мы, главное, все стараемся уверить, что Жучка жива, что ее где-то видели. Мальчики ему живого зайчика откуда-то достали, только он посмотрел, чуть-чуть улыбнулся и попросил, чтобы выпустили его в поле. Так мы и сделали. Сию минуту отец воротился и ему щенка меделянского принес, тоже достал откуда-то, думал этим утешить, только хуже еще кажется вышло...

- Еще скажите, Карамазов: что такое этот отец? Я его знаю, но что он такое по вашему определению: шут, паяц?

- Ах нет, есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутство у них в роде злобной иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды от долговременной унижительной робости пред ними. Поверьте, Красоткин, что такое шутство чрезвычайно иногда трагично. У него все теперь, все на земле совокупилось в Илюше, и умри Илюша, он или с ума сойдет с горя, или лишит себя жизни. Я почти убежден в этом, когда теперь на него смотрю!

- Я вас понимаю, Карамазов, я вижу, вы знаете человека, - прибавил проникновенно Коля.

- А я, как увидел вас с собакой, так и подумал, что вы это привели ту самую Жучку.

- Подождите, Карамазов, может быть мы ее и отыщем, а эта - это Перезвон. Я впущу ее теперь в комнату и может быть развеселю Илюшу побольше, чем меделянским щенком. Подождите, Карамазов, вы кой-что сейчас узнаете. Ах, боже мой, что ж я вас держу! - вскричал вдруг стремительно Коля. - Вы в одном сюртучке на таком холоде, а я вас задерживаю; видите, видите, какой я эгоист! О, все мы эгоисты, Карамазов!

- Не беспокойтесь, правда, холодно, но я не простудлив. Пойдемте однако же. Кстати: как ваше имя, я знаю, что Коля, а дальше?

- Николай, Николай Иванов Красоткин, или как говорят по-казенному: сын Красоткин, - чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил:

- Я, разумеется, ненавижу мое имя Николай.

- Почему же?

- Тривиально, казенно...

- Вам тринадцатый год? - спросил Алеша.

- То-есть четырнадцатый, через две недели четырнадцать, весьма скоро. Признаюсь пред вами заранее в одной слабости, Карамазов, это уж так пред вами, для первого знакомства, чтобы вы сразу увидели всю мою натуру: я ненавижу, когда меня спрашивают про мои года, более чем ненавижу... и наконец... про меня например есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл - это действительность, но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а для детворы играл, потому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас всегда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас.

- А хоть бы и для своего удовольствия играли, что ж тут такого?

- Ну для себя... Не станете же вы в лошадки играть?

- А вы рассуждайте так, - улыбнулся Алеша: - в театр, например, ездят же взрослые, а в театре тоже представляют приключения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с войной, - так разве это не то же самое, в своем, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей, в рекреационное время, или там в разбойники, - это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры. Но это только естественно.

- Вы так думаете? Таково ваше убеждение? - пристально смотрел на негр Коля. - Знаете, вы довольно любопытную мысль сказали; я теперь приду домой и шевельну мозгами на этот счет. Признаюсь, я так и ждал, что от вас можно кой-чему поучиться. Я пришел у вас учиться, Карамазов, - проникновенным и экспансивным голосом заключил Коля.

- А я у вас, - улыбнулся Алеша, пожав ему руку. Коля был чрезвычайно доволен Алешей. Его поразило то, что с ним он в высшей степени на равной

ноге, и что тот говорит с ним как с "самым большим".

- Я вам сейчас один фортель покажу, Карамазов, тоже одно театральное представление, - нервно засмеялся он, - я с тем и пришел.

- Зайдем сначала налево к хозяевам, там все ваши свои пальто оставляют, потому что в комнате тесно и жарко.

- О, ведь я на мгновение, я войду и просижу в пальто. Перезвон останется здесь в сенях и умрет: "иси, Перезвон, куш и умри!" - видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку, и потом, когда надо будет, свистну: иси, Перезвон! и вы увидите, он тотчас же влетит как угорелый. Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в то мгновение дверь. Уж я распоряжусь, и вы увидите фортель...

V. У ИЛЮШИНОЙ ПОСТЕЛЬКИ.

В знакомой уже нам комнате, в которой обитало семейство известного нам отставного штабс-капитана Снегирева, было в эту минуту и душно и тесно от многочисленной набравшейся публики. Несколько мальчиков сидели в этот раз у Илюши, и хоть все они готовы были, как и Смуров, отрицать, что помирил и свел их с Илюшей Алеша, но это было так. Все искусство его в этом случае состояло в том, что свел он их с Илюшей, одного за другим, без "телячьих нежностей", а совсем как бы не нарочно и нечаянно. Илюше же это принесло огромное облегчение в его страданиях. Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он был очень тронут. Одного только Красоткина не доставало, и это лежало на его сердце страшным гнетом. Если было в горьких воспоминаниях Илюшечки нечто самое горьчайшее, то это именно весь этот эпизод с Красоткиным, бывшим единственным другом его и защитником, на которого он бросился тогда с ножиком. Так думал и умный мальчик Смуров (первый пришедший помириться с Илюшей). Но сам Красоткин, когда Смуров отдаленно сообщил ему, что Алеша хочет к нему придти "по одному делу", тотчас же оборвал и отрезал подход, поручив Смурову немедленно сообщить "Карамазову", что он сам знает, как поступать, что советов ни от кого не просит, и что, если пойдет к больному, то сам знает, когда пойти, потому что у него "свой расчет". Это было еще недели за две до этого воскресенья. Вот почему Алеша и не пошел к нему сам, как намеревался. Впрочем, он хоть и подождал, но однако же послал Смурова к Красоткину еще раз и еще раз. Но в оба эти раза Красоткин ответил уже самым нетерпеливым и резким отказом, передав Алеше, что, если тот придет за ним сам, то он за это никогда не пойдет к Илюше, и чтоб ему больше не надоедали. Даже до самого этого последнего дня сам Смуров не знал, что Коля решил отправиться к Илюше в это утро, и только накануне вечером, прощаясь со Смуровым, Коля вдруг резко объявил ему, чтоб он ждал его завтра утром дома, потому что пойдет вместе с ним к Снегиревым, но чтобы не смел однако же никого уведомлять о его прибытии, так как он хочет придти нечаянно. Смуров послушался. Мечта же о том, что он приведет пропавшую Жучку, явилась у Смурова на основании разброшенных мельком слов Красоткиным, что "ослы они все, коли не могут отыскать собаку, если только она жива". Когда же Смуров робко, выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился: "что я за осел, чтоб искать чужих собак по всему городу, когда у меня свой Перезвон? И можно ли мечтать, чтобы собака, проглотившая булавку, осталась жива? Телячьи нежности, больше ничего!"

Между тем Илюша уже недели две как почти не сходил с своей постельки, в углу, у образов. В классы же не ходил с самого того случая, когда встретился с Алешей и укусил ему палец. Впрочем, он с того же дня и захворал, хотя еще с месяц мог кое-как ходить изредка по комнате и в сенях, изредка вставая с постельки. Наконец совсем обессилел, так что без помощи отца не мог двигаться. Отец трепетал над ним, перестал даже совсем пить, почти обезумел от страха, что умрет его мальчик, и часто, особенно после того, как проведет бывало его по комнате под руку и уложит опять в постельку, - вдруг выбегал в сени, в темный угол, и, прислонившись лбом к стене, начинал рыдать каким-то залихватым, сотрясающимся плачем, давя свой голос, чтобы рыданий его не было слышно у Илюшечки.

Возвращаясь же в комнату, начинал обыкновенно чем-нибудь развлекать и утешать своего дорогого мальчика, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты, или представлял из себя разных смешных людей, которых ему удавалось встречать, даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец коверкался и представлял из себя шута. Мальчик хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сердца сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда, неотвязно, вспоминал о "мочалке" и о том "страшном дне". Ниночка, безногая, тихая и кроткая сестра Илюшечки, тоже не любила, когда отец коверкался (что же до Варвары Николаевны, то она давно уже отправилась в Петербург слушать курсы), зато полоумная маменька очень забавлялась и от всего сердца смеялась, когда ее супруг начнет бывало что-нибудь представлять или выделывать какие-нибудь смешные жесты. Этим только ее и можно было утешить, во все же остальное время она непрерывно брюзжала и плакалась, что теперь все ее забыли, что ее никто не уважает, что ее обижают и пр. и пр. Но в самые последние дни и она вдруг как бы вся переменялась. Она часто начала смотреть в уголок на Илюшу и стала задумываться. Стала гораздо молчаливее, притихла и, если принималась плакать, то тихо, чтобы не слышали. Штабс-капитан с горьким недоумением заметил эту в ней перемену. Посещения мальчиков ей сначала не понравились и только сердили ее, но потом веселые крики и рассказы детей стали развлекать и ее и до того под конец ей понравились, что, перестань ходить эти мальчики, она бы затосковала ужасно. Когда дети что рассказывали или начинали играть, она смеялась и хлопала в ладошки. Иных подзывала к себе и целовала. Мальчика Смурова полюбила особенно. Что же до штабс-капитана, то появление в его квартире детей, приходивших веселить Илюшу, наполнило душу его с самого начала восторженной радостью и даже надеждой, что Илюша перестанет теперь тосковать и может быть оттого скорее выздоровеет. Он ни одной минуты, до самого последнего времени, не сомневался, несмотря на весь свой страх за Илюшу, что его мальчик вдруг выздоровеет. Он встречал маленьких гостей с благоговением, ходил около них, услуживал, готов был их на себе возить, и даже впрямь начал было возить, но Илюше эти игры не понравились, и были оставлены. Стал для них покупать гостинцев, пряничков, орешков, устраивал чай, намазывал бутерброды. Надо заметить, что во все это время деньги у него не переводились. Тогдашние двести рублей от Катерины Ивановны он принял точь-в-точь по предсказанию Алеши. А потом Катерина Ивановна, разувшись подробнее об их обстоятельствах и о болезни Илюши, сама посетила их квартиру, познакомилась со всем семейством и даже сумела очаровать полоумную штабс-капитаншу. С тех пор рука ее не оскудевала, а сам штабс-капитан, подавленный ужасом при мысли, что умрет его мальчик, забыл свой прежний гонор и смиренно принимал подавание. Все это время доктор Герценштубе, по приглашению Катерины Ивановны, ездил постоянно и аккуратно через день к больному, но толку от его посещений выходило мало, а пачкал он его лекарствами ужасно. Но зато в этот день, т. е. в это воскресенье утром у штабс-капитана ждали одного нового доктора, приезжего из Москвы и считавшегося в Москве знаменитостью. Его нарочно выписала и пригласила из Москвы Катерина Ивановна за большие деньги, - не для Илюшечки, а для другой одной цели, о которой будет сказано ниже и в своем месте, но уж так как он прибыл, то и попросила его навестить и Илюшечку, о чем штабс-капитан был заранее предуведомлен. О прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел наконец этот мальчик, по котором так мучился его Илюшечка. В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и появился в комнате, все, штабс-капитан и мальчики, столпились около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося, но еще за неделю заказанного штабс-капитаном, чтобы развлечь и утешить Илюшечку, все тосковавшего об исчезнувшей и конечно уже погибшей Жучке. Но Илюша, уже слышавший и знавший еще за три дня, что ему подарят маленькую собачку и не простую, а настоящую меделянскую (что конечно было ужасно важно), хотя и показывал из тонкого и деликатного чувства, что рад подарку, но все, и отец и мальчики, ясно увидели, что новая собачка может быть только еще сильнее шевельнула в его сердечке воспоминание о несчастной им замученной Жучке. Щеночек лежал и копошился подле него, и он, болезненно улыбаясь, гладил его своею тоненькою, бледненькою, высохшею ручкой; даже видно было, что собачка ему понравилась, но... Жучки все же не было, все же это не Жучка, а вот если

бы Жучка и щеночек вместе, тогда бы было полное счастье!

- Красоткин! - крикнул вдруг один из мальчиков, первый завидевший вошедшего Колю. Произошло видимое волнение, мальчики расступились и стали по обе стороны постельки, так что вдруг открыли всего Илюшечку. Штабс-капитан стремительно бросился на встречу Коле.

- Пожалуйста, пожалуйста... дорогой гость! - залепетал он ему, - Илюшечка, господин Красоткин к тебе пожаловал...

Но Красоткин, наскоро подав ему руку, мигом выказал и чрезвычайное свое знание светских приличий. Он тотчас же и прежде всего обратился к сидевшей в своем кресле супруге штабс-капитана (которая как раз в ту минуту была ужасно как недовольна и брюзжала на то, что мальчики заслонили собою постельку Илюши и не дают ей поглядеть на новую собачку), и чрезвычайно вежливо шаркнул перед ней ножкой, а затем, повернувшись к Ниночке, отдал и ей, как даме, такой же поклон. Этот вежливый поступок произвел на больную даму необыкновенно приятное впечатление.

- Вот и видно сейчас хорошо воспитанного молодого человека. - громко произнесла она, разводя руками, - а то что прочие-то наши гости: один на другом приезжают.

- Как же, мамочка, один-то на другом, как это так? - хоть и ласково, но опасаясь немного за "мамочку", пролепетал штабс-капитан.

- А так и въезжают. Сядет в сенях один другому верхом на плечи, да в благородное семейство и въедет, сидя верхом. Какой же это гость?

- Да кто же, кто же, мамочка, так въезжал, кто же?

- Да вот этот мальчик на этом мальчике сегодня въехал, а вот тот на том...

Но Коля уже стоял у постельки Илюши. Больной видимо побледнел. Он приподнялся на кровати и пристально, пристально посмотрел на Колю. Тот не видал своего прежнего маленького друга уже месяца два, и вдруг остановился перед ним совсем пораженный: он и вообразить не мог, что увидит такое похudevшее и пожелтевшее личико, такие горящие в лихорадочном жару и как будто ужасно увеличившиеся глаза, такие худенькие ручки. С горестным удивлением всматривался он, что Илюша так глубоко и часто дышит и что у него так ссохлись губы. Он шагнул к нему, подал руку и, почти совсем потерявшись, проговорил:

- Ну что, старик... как поживаешь?

Но голос его пресекся, развязности не хватило, лицо как-то вдруг передернулось, и что-то задрожало около его губ. Илюша болезненно ему улыбался, все еще не в силах сказать слова. Коля вдруг поднял руку и провел для чего-то своею ладонью по волосам Илюши.

- Ни-че-го! - пролепетал он ему тихо, - не то ободряя его, не то сам не зная, зачем это сказал. С минутку опять помолчали.

- Что это у тебя новый щенок? - вдруг самым бесчувственным голосом спросил Коля.

- Да-а-а! - ответил Илюша длинным шепотом, задыхаясь.

- Черный нос, значит из злых, из цепных, - важно и твердо заметил Коля, как будто все дело было именно в щенке и в его черном носе. Но главное было в том, что он все еще изо всех сил старался побороть в себе чувство, чтобы не заплакать как "маленький", и все еще не мог побороть. - Подрастет, придется посадить на цепь, уж я знаю.

- Он огромный будет! - воскликнул один мальчик из толпы.

- Известно, медеянский, огромный, вот этакий, с теленка, - раздалось вдруг несколько голосков.

- С теленка, с настоящего теленка-с, - подскочил штабс-капитан, - я нарочно отыскал такого, самого-самого злющего, и родители его тоже огромные и самые злющие, вот этикие от полу ростом... Присядьте-с, вот здесь на кровати у Илюши, а не то здесь на лавку. Милости просим, гость дорогой, гость долго жданный... С Алексеем Федоровичем изволили прибыть-с?

Красоткин присел на постельке, в ногах у Илюши. Он хоть может быть, и приготовил дорогой с чего развязно начать разговор, но теперь решительно потерял нитку.

- Нет... я с Перезвоном... У меня такая собака теперь, Перезвон. Славянское имя. Там ждет... свистну и влетит. Я тоже с собакой, - оборотился он вдруг к Илюше, - помнишь, старик, Жучку? - вдруг огрел он его вопросом.

Личико Илюшечки перекошилось. Он страдальчески посмотрел на Колю.

Алеша, стоявший у дверей, нахмурился и кивнул было Коле украдкой, чтобы тот не заговаривал про Жучку, но тот не заметил или не захотел заметить.

- Где же... Жучка? - надорванным голосом спросил Илюша.

- Ну, брат, твоя Жучка - фью! Пропала твоя Жучка!

Илюша смолчал, но пристально-пристально посмотрел еще раз на Колю. Алеша, поймав взгляд Коли, изо всех сил опять закивал ему, но тот снова отвел глаза, сделал вид, что и теперь не заметил.

- Забежала куда-нибудь и пропала. Как не пропасть после такой закуски, - безжалостно резал Коля. а между тем сам как будто стал от чего-то задыхаться. - У меня зато Перезвон... Славянское имя... Я к тебе привел...

- Не на-до! - проговорил вдруг Илюшечка.

- Нет, нет, надо, непременно посмотри... Ты развлечешься, Я нарочно привел... такая же лохматая, как и та... Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку? - обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении.

- Не надо, не надо! - с горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его.

- Вы бы-с... - рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел, - вы бы-с... в другое бы время-с... - пролепетал он, но Коля неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смурову: "Смуров, отвори дверь!" и только что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату.

- Прыгай, Перезвон, служи! служи! - завопил Коля, вскочив с места, и собака, встав на задние лапы, вытянулась прямо перед постелькой Илюши. Произошло нечто никем неожиданное: Илюша вздрогнул и вдруг с силой двинулся весь вперед, нагнулся к Перезвону и, как бы замирая, смотрел на него:

- Это... Жучка! - прокричал он вдруг надтреснутым от страдания и счастья голосом,

- А ты думал кто? - звонким, счастливым голосом изо всей силы завопил Красоткин, и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше.

- Гляди, старик, видишь, глаз кривой и левое ухо надрезано, точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказал. Я его по этим приметам и разыскал! Тогда же разыскал, в скорости. Она ведь ничья была, она ведь была ничья! - пояснял он, быстро оборачиваясь к штабс-капитану, к супруге его, к Алеше и потом опять к Илюше, - она была у Федотовых на задворках, прижилась было там, но те ее не кормили, а она беглая, она забеглая из деревни... Я ее и разыскал... Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж конечно бы померла, ведь уж конечно! Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты и не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола, вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала, а ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту... нежнее, чем у человека, гораздо нежнее! - восклицал неистово Коля, с разгоревшимся и сияющим от восторга лицом.

Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев как полотно. И если бы только знал не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это может быть лишь один Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика.

- Жучка! Так это-то Жучка? - выкрикивал он блаженным голосом. - Илюшечка, ведь это Жучка, твоя Жучка! Маменька, ведь это Жучка! - Он чуть не плакал.

- А я-то и не догадался! - горестно воскликнул Смуров. - Ай да Красоткин, я говорил, что он найдет Жучку, вот и нашел!

- Вот и нашел! - радостно отозвался еще кто-то.

- Молодец Красоткин! - прозвенел третий голосок.

- Молодец, молодец! - закричали все мальчики и начали аплодировать.

- Да стойте, стойте, - силился всех перекричать Красоткин: - я вам расскажу, как это было, штука в том, как это было, а не в чем другом! Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал, и дом на замок, и никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал две недели назад, но я уверил его, что это Перезвон, и он не догадался, а я в антракте

научил Жучку всем наукам, вы посмотрите, посмотрите только какие он штуки знает! Для того и учил, чтоб уж привести к тебе, старик, обученного, гладкого: Вот, дескать, старик, какая твоя Жучка теперь! Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки, он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете, – говядинки, кусочек, ну неужели же у вас нет?

Штабс-капитан стремительно кинулся, через сени, в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье. Коля же, чтобы не терять драгоценного времени, отчаянно спеша, крикнул Перезвону: Умри! И тот вдруг завертелся, лег на спину и замер неподвижно всеми четырьмя своими лапками вверх. Мальчишки смеялись, Илюша смотрел с прежнею страдальческой своею улыбкой, но всех больше понравилось, что умер Перезвон, "маменьке". Она расхохоталась на собаку и принялась щелкать пальцами и звать:

– Перезвон, Перезвон!

– Ни за что не подымется, ни за что, – победоносно и справедливо гордясь, прокричал Коля, – хоть весь свет кричи, а вот я крикну, и в один миг вскочит! Ісі, Перезвон!

Собака вскочила и принялась прыгать, визжа от радости. Штабс-капитан вбежал с куском вареной говядины.

– Не горяча? – торопливо и деловито осведомился Коля, принимая кусок, – нет, не горяча, а то собаки не любят горячего. Смотрите же все, Илюшечка, смотри, да смотри же, смотри, старик, что же ты не смотришь? Я привел, а он не смотрит!

Новая штука состояла в том, чтобы неподвижно стоящей и протянувшей свой нос собаке положить на самый нос лакомый кусочек говядины. Несчастный пес, не шевелясь, должен был простоять с куском на носу сколько велит хозяин, не двинуться, не шевельнуться, хоть полчаса. Но Перезвона выдержали только самую маленькую минутку.

– Пиль! – крикнул Коля, и кусок в один миг перелетел с носу в рот Перезвона. Публика, разумеется, выразила восторженное удивление.

– И неужели, неужели вы из-за того только, чтоб обучить собаку, все время не приходили! – воскликнул с невольным укором Алеша.

– Именно для того, – прокричал простодушнейшим образом Коля. – Я хотел показать его во всем блеске!

– Перезвон! Перезвон! – защелкал вдруг своими худенькими пальчиками Илюша, маня собаку.

– Да чего тебе! Пусть он к тебе на постель сам вскочит. Ісі, Перезвон! – стукнул ладонью по постели Коля, и Перезвон как стрела влетел к Илюше. Тот стремительно обнял его голову обеими руками, а Перезвон мигом облизал ему за это щеку. Илюшечка прижался к нему, протянулся на постельке и спрятал от всех в его косматой шерсти свое лицо.

– Господи, господи! – восклицал штабс-капитан. Коля присел опять на постель к Илюше.

– Илюша, я тебе могу еще одну штуку показать. Я тебе пушечку принес. Помнишь, я тебе еще тогда говорил про эту пушечку, а ты сказал: "Ах, как бы и мне ее посмотреть!" Ну, вот я теперь и принес.

И Коля, торопясь, вытащил из своей сумки свою бронзовую пушечку. Торопился он потому, что уж сам был очень счастлив: в другое время так выждал бы, когда пройдет эффект, произведенный Перезвоном, но теперь поспешил, презирая всякую выдержку: "уж и так счастливы, так вот вам и еще счастья!" Сам уж он был очень упоен.

– Я эту штучку давно уже у чиновника Морозова наглядел, – для тебя, старик, для тебя. Она у него стояла даром, от брата ему досталась, я и выменял ему на книжку, из папина шкафа: Родственник Магомета или целительное дурачество. Сто лет книжке, забубенная, в Москве вышла, когда еще цензуры не было, а Морозов до этих штучек охотник. Еще поблагодарил...

Пушечку Коля держал в руке пред всеми, так что все могли видеть и наслаждаться, Илюша приподнялся и, продолжая правой рукой обнимать Перезвона, с восхищением разглядывал игрушку. Эффект дошел до высокой степени, когда Коля объявил, что у него есть и порох, и что можно сейчас же и выстрелить, "если это только не обеспокоит дам". "Маменька" немедленно попросила, чтоб ей дали поближе посмотреть на игрушку, что тотчас и было исполнено. Бронзовая пушечка на колесках ей ужасно понравилась, и она принялась ее катать на своих коленях. На просьбу о позволении выстрелить отвечала самым полным согласием, не понимая впрочем о чем ее спрашивают.

Коля показал порох и дробь. Штабс-капитан, как бывший военный человек, сам распорядился зарядом, всыпав самую маленькую порцию пороху, дробь же попросил отложить до другого раза. Пушку поставили на пол, дулом в пустое место, втиснули в затравку три порошинки и зажгли спичкой. Произошел самый блистательный выстрел. "Маменька" вздрогнула было, но тотчас же засмеялась от радости. Мальчики смотрели с молчаливым торжеством, но более всего блаженствовал, смотря на Илюшу, штабс-капитан. Коля поднял пушечку и немедленно подарил ее Илюше, вместе с дробью и с порохом.

- Это я для тебя, для тебя! Давно приготовил, - повторил он еще раз, в полноте счастья.

- Ах, подарите мне! Нет, подарите пушечку лучше мне! - вдруг точно маленькая начала просить маменька. Лицо ее изобразило горестное беспокойство от боязни, что ей не подарят. Коля смутился. Штабс-капитан беспокойно заволновался.

- Мамоchка, мамочка! - подскочил он к ней, пушечка твоя, твоя, но пусть она будет у Илюши, потому что ему подарили, но она все равно что твоя, Илюшечка всегда тебе даст поиграть, она у вас пусть будет общая, общая...

- Нет, не хочу, чтоб общая, нет, чтобы совсем моя была, а не Илюшина, - продолжала маменька, готовясь уже совсем заплакать.

- Мама, возьми себе, вот возьми себе! - крикнул вдруг Илюша. - Красоткин, можно мне ее маме подарить? - обратился он вдруг с молящим видом к Красоткину, как бы боясь, чтобы тот не обиделся, что он его подарок другому дарит.

- Совершенно возможно! - тотчас же согласился Красоткин и, взяв пушечку из рук Илюши, сам и передал ее с самым вежливым поклоном маменьке. Та даже расплакалась от умиления.

- Илюшечка, милый, вот кто мамочку свою любит! - умиленно воскликнула она и немедленно опять принялась катать пушку на своих коленях.

- Маменька, дай я тебе ручку поцелую, - подскочил к ней супруг и тотчас же исполнил намерение.

- И кто еще самый милый молодой человек, так вот этот добрый мальчик! - проговорила благодарная дама, указывая на Красоткина.

- А пороху я тебе, Илюша, теперь сколько угодно буду носить. Мы теперь сами порох делаем. Боровиков узнал состав: двадцать четыре части селитры, десять серы и шесть березового угля, все вместе столочь, влить воды, смешать в мягкость и протереть через барабанную шкуру - вот и порох.

- Мне Смуров про ваш порох уже говорил, а только папа говорит, что это не настоящий порох, - отозвался Илюша.

- Как не настоящий? - покраснел Коля, - у нас горит. Я впрочем не знаю...

- Нет-с, я ничего-с, - подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капитан. - Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется, но это ничего-с, можно и так-с.

- Не знаю, вы лучше знаете. Мы в помадной каменной банке зажгли, славно горел, весь сторел, самая маленькая сажа осталась. Но ведь это только мягкость, а если протереть через шкуру... А впрочем вы лучше знаете, я не знаю... А Булкина отец выдрал за наш порох, ты слышал? - обратился он вдруг к Илюше.

- Слышал, - ответил Илюша. Он с бесконечным интересом и наслаждением слушал Колю.

- Мы целую бутылку пороху заготовили, он под кроватью и держал. Отец увидал. Взорвать, говорит, может. Да и высек его тут же. Хотел в гимназию на меня жаловаться. Теперь со мной его не пускают, теперь со мной никого не пускают. Смурова тоже не пускают, у всех прославился, - говорят, что я "отчаянный", - презрительно усмехнулся Коля. - Это все с железной дороги здесь началось.

- Ах, мы слышали и про этот ваш пассаж! - воскликнул штабс-капитан, - как это вы там пролежали? И неужели вы так ничего совсем и не испугались, когда лежали под поездом. Страшно вам было-с?

Штабс-капитан ужасно лисил пред Колей.

- Н-не особенно! - небрежно отозвался Коля. - Репутацию мою пуше всего здесь этот проклятый гусь подкузнил, - повернулся он опять к Илюше. Но хоть он и корчил рассказывая небрежный вид, а все еще не мог совладать с собою и продолжал как бы сбиваться с тону.

- Ах, я и про гуся слышал! - засмеялся, весь сияя, Илюша; - мне рассказывали, да я не понял, неужто тебя у судьи судили?

- Самая безмозглая штука, самая ничтожная, из которой целого слона по обыкновению у нас сочинили, - начал развязно Коля. - Это я раз тут по площади шел, а как раз пригнали гусей. Я остановился и смотрю на гусей. Вдруг один здешний парень, Вишняков, он теперь у Плотниковых рассыльным служит, смотрит на меня, да и говорит: "Ты чего на гусей глядишь?" Я смотрю на него: глупая, круглая харя, парню двадцать лет, я, знаете, никогда не отвергаю народа. Я люблю с народом... Мы отстали от народа - это аксиома - вы, кажется, изволите смеяться, Карамазов?

- Нет, боже сохрани, я вас очень слушаю, - с самым простодушнейшим видом отозвался Алеша, и мнительный Коля мигом ободрился.

- Моя теория, Карамазов, ясна и проста, - опять радостна зашепел он тотчас же. - Я верю в народ и всегда рад отдать ему справедливость, но отнюдь не балую его, это sine qua... Да, ведь я про гуся. Вот обращаюсь я к этому дураку и отвечаю ему: "А вот думаю, о чем гусь думает". Глядит он на меня совершенно глупо: "А об чем, говорит, гусь думает?" - "А вот видишь, говорю, телега с овсом стоит. Из мешка овес сыплется, а гусь шею протянул под самое колесо и зерно клвет - видишь?" - "Это я очень вижу", говорит. "Ну так вот, говорю, если эту самую телегу чуточку теперь тронуть вперед - перережет гуся шею колесом или нет?" - "Бесспорно, говорит, перережет", а сам уж ухмыляется во весь рот, так весь и растаял. "Ну так пойдем, говорю, парень, давай". - "Давай", говорит. И недолго нам пришлось мастерить: Он этак неприметно около узды стал, а я сбоку, чтобы гуся направить. А мужик на ту пору заевался, говорил с кем-то, так что совсем мне и не пришлось направлять: прямо гусь сам собой так и вытянул шею за овсом, под телегу, под самое колесо. Я мигнул парню, он дернул и - к-крак, так и переехало гуся шею пополам! И вот надо ж так, что в ту ж секунду все мужики увидели нас, ну и загалдели разом: "Это ты нарочно!" - "Нет, не нарочно". - "Нет, нарочно!" Ну, галдят: "К мировому!" захватили и меня: "И ты тут, дескать, был, ты подсоблял, тебя весь базар знает!" А меня действительно почему-то весь базар знает, - прибавил самолюбиво Коля. - Потянулись мы все к мировому, несут и гуся. Смотрю, а парень мой струсил и заревел, право, ревет как баба. А гуртовщик кричит: "Этаким манером их, гусей, сколько угодно передавить можно!" Ну, разумеется, свидетели. Мировой мигом кончил: за гуся отдать гуртовщику рубль, а гуся пусть парень берет себе. Да впредь, чтобы таких шуток отнюдь не позволять себе. А парень все ревет как баба: "Это не я, говорит, это он меня наустил" - да на меня и показывает. Я отвечаю с полным хладнокровием, что я отнюдь не учил, что я только выразил основную мысль и говорил лишь в проекте. Мировой Нефедов усмехнулся, да и рассердился сейчас на себя за то, что усмехнулся: "Я вас, говорит мне, сейчас же вашему начальству аттестую, чтобы вы в такие проекты впредь не пускались, вместо того, чтобы за книгами сидеть и уроки ваши учить". Начальству-то он меня не аттестовал, это шуточки, но дело действительно разнеслось и достигло ушей начальства: уши-то ведь у нас длинные! Особенно поднялся классик Колбасников, да Дарданелов опять отстоял. А Колбасников зол теперь у нас на всех как зеленый осел. Ты, Илюша, слышал, он ведь женился, взял у Михайловых приданого тысячу рублей, а невеста рыловорот первой руки и последней степени. Третьеклассники тотчас же эпиграмму сочинили:

Поразила весть третьеклассников,

Что женился неряха Колбасников.

Ну и там дальше очень смешно, я тебе потом принесу. Я про Дарданелова ничего не говорю: человек с познаниями, с решительными познаниями. Этаких я уважаю, и вовсе не из-за того, что меня отстоял...

- Однако ж ты сбил его на том, кто основал Трюк! - ввернул вдруг Смуров, решительно гордясь в эту минуту Красоткиным. Очень уж ему понравился рассказ про гуся.

- Неужто так и сбили-с? - льстиво подхватил штабс-капитан; - это про то, кто основал Трюк-с? Это мы уже слышали, что сбили-с. Илюшенька мне тогда же и рассказал-с...

- Он, папа, все знает, лучше всех у нас знает! - подхватил и Илюшечка, - он ведь только прикидывается, что он такой, а он первый у нас ученик по всем предметам...

Илюша с беспредельным счастьем смотрел на Колю.

- Ну это о Трое вздор, пустяки. Я сам этот вопрос считаю пустым, - с горделивою скромностью отозвался Коля. Он уже успел вполне войти в тон, хотя впрочем был и в некотором беспокойстве: он чувствовал, что находится в большом возбуждении и что о гусе, например, рассказал слишком уж от всего сердца, а между тем Алеша молчал все время рассказа и был серьезен, и вот самолюбивому мальчику мало-по-малу начало уже скрести по сердцу: "не оттого ли де он молчит, что меня презирает, думая, что я его похвалы ищу? В таком случае, если он осмеливается это думать, то я..."

- Я считаю этот вопрос решительно пустым, - отрезал он еще раз горделиво.

- А я знаю, кто основал Трюю, - вдруг проговорил совсем неожиданно один доселе ничего почти еще не сказавший мальчик, молчаливый и видимо застенчивый, очень собою хорошенький, лет одиннадцати, по фамилии Карташов. Он сидел у самых дверей. Коля с удивлением и важностью поглядел на него. Дело в том, что вопрос: "Кто именно основал Трюю?" решительно обратился во всех классах в секрет, и чтобы проникнуть его, надо было прочесть у Смараглова. Но Смараглова ни у кого кроме Коли не было. И вот раз мальчик Карташов потихоньку, когда Коля отвернулся, поскорей развернул лежащего между его книгами Смараглова и прямо попал на то место, где говорилось об основателях Трои. Случилось это довольно уже давно, но он все как-то конфузился и не решался открыть публично, что и он знает, кто основал Трюю, опасаясь, чтобы не вышло чего-нибудь и чтобы не сконфузил его как-нибудь за это Коля. А теперь вдруг почему-то не утерпел и сказал. Да и давно ему хотелось.

- Ну, кто же основал? - надменно и свысока повернулся к нему Коля, уже по лицу угадав, что тот действительно знает, и, разумеется, тотчас же приготовившись ко всем последствиям. В общем настроении произошел что называется диссонанс.

- Трюю основали Тевкр, Дардан, Иллюс и Трос, - разом отчеканил мальчик и в один миг весь покраснел, так покраснел, что на него жалко стало смотреть. Но мальчики все на него глядели в упор, глядели целую минуту, и потом вдруг все эти глядящие в упор глаза разом повернулись к Коле. Тот с презрительным хладнокровием все еще продолжал обмеривать взглядом дерзкого мальчика:

- То есть как же это они основали? - удостоил он наконец проговорить, - да и что значит вообще основать город или государство? Что ж: они пришли и по кирпичу положили что ли?

Раздался смех. Винаватый мальчик из розового стал пунцовым. Он молчал, он готов был заплакать. Коля выдержал его так еще с минутку.

- Чтобы толковать о таких исторических событиях, как основание национальности, надо прежде всего понимать, что это значит, - строго отчеканил он в назидание. - Я впрочем не придаю всем этим бабьим сказкам важности, да и вообще всемирную историю не весьма уважаю, - прибавил он вдруг небрежно, обращаясь уже ко всем вообще.

- Это всемирную-то историю-с? - с каким-то вдруг испугом осведомился штабс-капитан.

- Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих, и только. Я уважаю одну математику и естественные, - сфорсил Коля и мельком глянул на Алешу: его только одного мнения он здесь и боялся. Но Алеша все молчал и был все попрежнему серьезен. Если бы сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось, но Алеша смолчал, а "молчание его могло быть презрительным", и Коля раздражился уже совсем.

- Опять эти классические теперь у нас языки: одно сумасшествие и ничего больше... Вы опять, кажется, не согласны со мной, Карамазов?

- Не согласен, - сдержанно улыбнулся Алеша.

- Классические языки, если хотите все мое о них мнение - это полицейская мера, вот для чего единственно они заведены, - мало-по-малу начал вдруг опять задыхаться Коля, - они заведены потому, что скучны, и потому, что оупляют способности. Было скучно, так вот как сделать, чтоб еще больше было скуки? Было бестолково, так как сделать, чтобы стало еще бестолковее? Вот и выдумали классические языки. Вот мое полное о них мнение и, надеюсь, что я никогда не изменю его, - резко закончил Коля. На обеих щеках его показалось по красной точке румянца.

- Это правда, - звонким и убежденным голосом согласился вдруг прилежно

слушавший Смулов.

- А сам первый по латинскому языку! - вдруг крикнул из толпы один мальчик.

- Да, папа, он сам говорит, а сам у нас первый по латинскому в классе, - отозвался и Илюша.

- Что ж такое? - счел нужным оборониться Коля, хотя ему очень приятна была и похвала. - Латынь я зубрю, потому что надо, потому что я обещался матери кончить курс, а по-моему, за что взялся, то уж делать хорошо, но в душе глубоко презираю классицизм и всю эту подлость... Не соглашаетесь, Карамазов?

- Ну зачем же "подлость"? - усмехнулся опять Алеша.

- Да помилуйте, ведь классики все переведены на все языки, стало быть вовсе не для изучения классиков понадобилась им латынь, а единственно для полицейских мер и для отупления способностей. Как же после того не подлость?

- Ну кто вас этому всему научил? - воскликнул удивленный наконец Алеша.

- Во-первых, я и сам могу понимать, без научения, а во-вторых, знайте, вот это же самое, что я вам сейчас толковал про переведенных классиков, говорил вслух всему третьему классу сам преподаватель Колбасников...

- Доктор приехал! - воскликнула вдруг все время молчавшая Ниночка.

Действительно к воротам дома подъехала принадлежащая г-же Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову бросился к воротам встречать его. "Маменька" подобралась и напустила на себя важности. Алеша подошел к Илюше и стал опрашивать его подушку. Ниночка, из своих кресел, с беспокойством следила за тем, как он опрашивает постельку. Мальчики торопливо стали прощаться, некоторые из них пообещались зайти вечером. Коля крикнул Перезвона, и тот соскочил с постели.

- Я не уйду, не уйду! - проговорил впопыхах Коля Илюше, я пережду в сенях и приду опять, когда уедет доктор, приду с Перезвоном.

Но уже доктор входил - важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными бакенбардами и с глянцевиито выбритым подбородком. Ступив через порог, он вдруг остановился, как бы опешив: ему верно показалось, что он не туда зашел: "что это? Где я?" пробормотал он, не скидая с плеч шубы и не снимая котиковой фуражки с котиковым же козырьком с своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешанное в углу на веревке белье сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся пред ним в три погибели.

- Вы здесь-с, здесь-с, - бормотал он подобострастно, - вы здесь-с, у меня-с, вам ко мне-с...

- Сне-ги-рев? - произнес важно и громко доктор. - Господин Снегирев - это вы?

- Это я-с!

- А!

Доктор еще раз брезгливо оглядел комнату и сбросил с себя шубу. Всем в глаза блеснул важный орден на шее. Штабс-капитан подхватил на лету шубу, а доктор снял фуражку.

- Где же пациент? - спросил он громко и настоятельно.

VI. РАННЕЕ РАЗВИТИЕ.

- Как вы думаете, что ему скажет доктор? - скороговоркой проговорил Коля; - какая отвратительная однако же харя, неправда ли? Терпеть не могу медицину!

- Илюша умрет. Это, мне кажется, уж наверно, - грустно ответил Алеша.

- Шельмы! Медицина шельма! Я рад однако, что узнал вас, Карамазов. Я давно хотел вас узнать. Жаль только, что мы так грустно встретились...

Коле очень бы хотелось что-то сказать еще горячее, еще экспансивнее, но как будто что-то его коробило. Алеша это заметил, улыбнулся и пожал ему руку.

- Я давно научился уважать в вас редкое существо, - пробормотал опять Коля, сбиваясь и путаясь. - Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но... это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит... С натурами как вы не бывает иначе.

- Что вы называете мистиком? От чего излечит? - удивился немного Алеша.

- Ну там бог и прочее.

- Как, да разве вы в бога не веруете?

- Напротив, я ничего не имею против бога. Конечно бог есть только гипотеза... но... я признаю, что он нужен, для порядка... для мирового порядка и так далее... и если б его не было, то надо бы его выдумать, - прибавил Коля, начиная краснеть. Ему вдруг вообразилось, что Алеша сейчас подумает, что он хочет выставить свои познания и показать какой он "большой". "А я вовсе не хочу выставлять пред ним мои познания", с негодованием подумал Коля. И ему вдруг стало ужасно досадно.

- Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания, - отрезал он, - можно ведь и не веруя в бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в бога, а любил человечество? (Опять, опять! подумал он про себя.)

- Вольтер в бога верил, но кажется мало, и, кажется, мало любил и человечество, - тихо, сдержанно и совершенно натурально произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам, или даже со старшим летами человеком. Колю именно поразила эта как бы неуверенность Алеши в свое мнение о Вольтере и что он как будто именно ему, маленькому Коле, отдаст этот вопрос на решение.

- А вы разве читали Вольтера? - заключил Алеша.

- Нет, не то чтобы читал... Я впрочем Кандида читал, в русском переводе... в старом, уродливом переводе, смешном... (Опять, опять!)

- И поняли?

- О да, все... то есть... почему же вы думаете, что я бы не понял? Там конечно много сальностей... Я конечно в состоянии понять, что это роман философский, и написан, чтобы провести идею... - запутался уже совсем Коля. - Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист, - вдруг оборвал он ни с того ни с сего.

- Социалист? - засмеялся Алеша, - да когда это вы успели? Ведь вам еще только тринадцать лет, кажется?

Колю скрючило.

- Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать, - так и вспыхнул он, - а во-вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета? Дело в том каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?

- Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите, - скромно и спокойно ответил Алеша, но Коля горячо его прервал.

- Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?

- Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-нибудь научил! - воскликнул Алеша.

- Помилуйте, зачем же непременно прочел? И никто ровно не научил. Я и сам могу... И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и может быть играл бы видную роль... Это даже непременно.

- Ну где, ну где вы этого нахватались! С каким это дураком вы связались? - воскликнул Алеша.

- Помилуйте, правды не скроешь. Я конечно, по одному случаю, часто говорю с господином Ракитиным, но... Это еще старик Белинский тоже, говорят, говорил.

- Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.

- Если не написал, то, говорят, говорил. Я это слышал от одного... впрочем чорт...

- А Белинского вы читали?

- Видите ли... нет... я не совсем читал, но... место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал.

- Как не пошла с Онегиным? Да разве вы это уж... понимаете?

- Помилуйте, вы, кажется, принимаете меня за мальчика Смурова, - раздражительно осклабился Коля. - Впрочем пожалуйста не думайте, что я уж такой революционер. Я очень часто не согласен с господином Ракитиным. Если я

о Татьяне, то я вовсе не за эманципацию женщин. Я признаю, что женщина есть существо подчиненное и должна слушаться. *Les femmes tricotent*, как сказал Наполеон, – усмехнулся почему-то Коля, – и по крайней мере в этом я совершенно разделяю убеждение этого псевдо-великого человека. Я тоже например считаю, что бежать в Америку из отечества – низость, хуже низости – глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности. Так я и отвечал.

– Как отвечали? Кому? Разве вас кто-нибудь уже приглашал в Америку?

– Признаюсь, меня подбивали, но я отверг. Это, разумеется, между нами, Карамазов, слышите, никому ни слова. Это я вам только. Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего Отделения и брать уроки у Цепного Моста,

Будешь помнить здание

У Цепного Моста!

Помните? Великолепно! Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли вы, что я вам все наврал? (А что, если он узнает, что у меня в отцовском шкафу всего только и есть один этот номер Колокола, а больше я из этого ничего не читал? – мельком, но с содроганием подумал Коля.)

– Ох, нет, я не смеюсь и вовсе не думаю, что вы мне нагнали. Вот то-то и есть, что этого не думаю, потому что все это, увы, сущая" правда! Ну скажите, а Пушкина-то вы читали, Онегина-то... Вот вы сейчас говорили о Татьяне?

– Нет, еще не читал, но хочу прочесть. Я без предрассудков, Карамазов. Я хочу выслушать и ту и другую сторону. Зачем вы спросили?

– Так.

– Скажите, Карамазов, вы ужасно меня презираете? – отрезал вдруг Коля и весь вытянулся пред Алешей, как бы став в позицию. – Сделайте одолжение, без обиняков.

– Презираю вас? – с удивлением посмотрел на него Алеша. – Да за что же? Мне только грустно, что прелестная натура как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим грубым вздором.

– Об моей натуре не заботьтесь, – не без самодовольства перебил Коля, – а что я мнителен, то это так. Глупо мнителен, грубо мнителен. Вы сейчас усмехнулись, мне и показалось, что вы как будто...

– Ах, я усмехнулся совсем другому. Видите, чему я усмехнулся: я недавно прочел один отзыв одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи: "Покажите вы – он пишет – русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленную". Никаких знаний и беззаветное самомнение – вот что хотел сказать немец про русского школьника.

– Ах, да ведь это совершенно верно! – захохотал вдруг Коля, – верниссимо, точь-в-точь! Браво, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как вы думаете? Самомнение – это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства пред авторитетами... Но все-таки немец хорошо сказал! Браво, немец! Хотя все-таки немцев надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить...

– За что же душить-то? – улыбнулся Алеша.

– Ну я соврал может быть, соглашаюсь. Я иногда ужасный ребенок, и когда рад чему, то не удерживаюсь и готов наврать вздору. Слушайте, мы с вами однако же здесь болтаем о пустяках, а этот доктор там что-то долго застрял. Впрочем, он может там и "мамашу" осмолит и эту Ниночку безногую. Знаете, эта Ниночка мне понравилась. Она вдруг мне прошептала, когда я выходил: "Зачем вы не приходили раньше?" И таким голосом, с укором! Мне кажется, она ужасно добрая и жалкая.

– Да, да! Вот вы будете ходить, вы увидите, что это за существо. Вам очень полезно узнавать вот такие существа, чтоб уметь ценить и еще многое другое, что узнаете именно из знакомства с этими существами, – с жаром заметил Алеша. – Это лучше всего вас переделает.

– О, как я жалею и браню всего себя, что не приходил раньше! – с горьким чувством воскликнул Коля.

– Да, очень жаль. Вы видели сами, какое радостное вы произвели впечатление на бедного малютку! И как он убивался, вас ожидая!

- Не говорите мне! Вы меня растравляете. А впрочем мне поделом: я не приходил из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов!

- Нет, вы прелестная натура, хотя и извращенная, и я слишком понимаю, почему вы могли иметь такое влияние на этого благородного и болезненно-восприимчивого мальчика! - горячо ответил Алеша.

- И это вы говорите мне! - вскричал Коля, - а я, представьте, я думал, - я уже несколько раз, вот теперь как я здесь, думал, что вы меня презираете! Если б вы только знали, как я дорожу вашим мнением!

- Но неужели вы вправду так мнительны? В таких летах! Ну представьте же себе, я именно подумал там в комнате, глядя на вас, когда вы рассказывали, что вы должны быть очень мнительны.

- Уж и подумали? Какой однако же у вас глаз, видите, видите! Бьюсь об заклад, что это было на том месте, когда я про гуся рассказывал. Мне именно в этом месте вообразилось, что вы меня глубоко презираете за то, что я спешу выставиться молодцом, и я даже вдруг возненавидел вас за это и начал нести ахинею. Потом мне вообразилось (это уже сейчас здесь) на том месте, когда я говорил: "Если бы не было бога, то его надо выдумать", что я слишком тороплюсь выставить мое образование, тем более, что эту фразу я в книге прочел. Но клянусь вам, я торопился выставить не от тщеславия, а так, не знаю отчего, от радости, ей богу как будто от радости... хотя это глубоко-постыдная черта, когда человек всем лезет на шею от радости. Я это знаю. Но я зато убежден теперь, что вы меня не презираете, а все это я сам выдумал. О, Карамазов, я глубоко несчастен. Я воображаю иногда бог знает что, что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов тогда уничтожить весь порядок вещей.

- И мучаете окружающих, - улыбнулся Алеша.

- И мучаю окружающих, особенно мать. Карамазов, скажите, я очень теперь смешон?

- Да не думайте же про это, не думайте об этом совсем! - воскликнул Алеша. - Да и что такое смешон? Мало ли сколько раз бывает или кажется смешным человек? При том же нынче почти все люди со способностями ужасно боятся быть смешными и тем несчастны. Меня только удивляет, что вы так рано стали ощущать это, хотя впрочем я давно уже замечаю это и не на вас одних. Нынче даже почти дети начали уж этим страдать. Это почти сумасшествие. В это самолюбие воплотился чорт и залез во все поколение, именно чорт, - прибавил Алеша, вовсе не усмехнувшись, как подумал было глядевший в упор на него Коля. - Вы, как и все, - заключил Алеша, - то есть как очень многие, только не надо быть таким как все, вот что.

- Даже несмотря на то, что все такие?

- Да, несмотря на то, что все такие. Один вы и будьте не такой. Вы и в самом деле не такой, как все: вы вот теперь не постыдились же признаться в дурном и даже в смешном. А нынче кто в этом сознается? Никто, да и потребность даже перестали находить в самоосуждении. Будьте же не такой как все; хотя бы только вы один оставались не такой, а все-таки будьте не такой.

- Великолепно! Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. О, как я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встречи с вами! Неужели и вы обо мне тоже думали? Давеча вы говорили, что вы обо мне тоже думали?

- Да, я слышал об вас и об вас тоже думал... и если отчасти и самолюбие заставило вас теперь это спросить, то это ничего.

- Знаете, Карамазов, наше объяснение похоже на объяснение в любви, - каким-то расслабленным и стыдливым голосом проговорил Коля. - Это не смешно, не смешно?

- Совсем не смешно, да хоть бы и смешно, так это ничего, потому что хорошо, - светло улыбнулся Алеша.

- А знаете, Карамазов, согласитесь, что и вам самим теперь немного со мною стыдно... Я вижу по глазам, - как-то хитро, но и с каким-то почти счастьем усмехнулся Коля.

- Чего же это стыдно?

- А зачем вы покраснели?

- Да это вы так сделали, что я покраснел! - засмеялся Алеша, и действительно весь покраснел. - Ну да, немного стыдно, бог знает отчего, не знаю отчего... - бормотал он, почти даже сконфузившись.

- О, как я вас люблю и ценю в эту минуту, именно за то, что и вам чего-то стыдно со мной! Потому что и вы точно я! - в решительном восторге воскликнул Коля. Щеки его пылали, глаза блеснули.

- Послушайте, Коля, вы между прочим будете и очень несчастный человек в жизни, - сказал вдруг отчего-то Алеша.

- Знаю, знаю. Как вы это все знаете наперед! - тотчас же подтвердил Коля.

- Но в целом все-таки благословите жизнь.

- Именно! ура! Вы пророк! О, мы сойдемся, Карамазов. Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. А мы не ровня, нет не ровня, вы выше! Но мы сойдемся. Знаете, я весь последний месяц говорил себе: "Или мы разом с ним сойдемся друзьями навеки, или с первого же разу разойдемся врагами до гроба!"

- И говоря так, уж конечно любили меня! - весело смеялся Алеша.

- Любил, ужасно любил, любил и мечтал об вас! И как это вы знаете все наперед? Ба, вот и доктор. Господи, что-то скажет, посмотрите какое у него лицо!

VII. ИЛЮША.

Доктор выходил из избы опять уже закутанный в шубу и с фуражкой на голове. Лицо его было почти сердитое и брезгливое, как будто он все боялся обо что-то запачкаться. Мельком окинул он глазами сени и при этом строго глянул на Алешу и Колю. Алеша махнул из дверей кучеру, и карета, привезшая доктора, подъехала к выходным дверям. Штабс-капитан стремительно выскочил вслед за доктором и, согнувшись, почти извиваясь пред ним, остановил его для последнего слова. Лицо бедняка было убитое, взгляд испуганный:

- Ваше превосходительство, ваше превосходительство... неужели?... - начал было он, и не договорил, а лишь всплеснул руками в отчаянии, хотя все еще с последнею мольбой смотря на доктора, точно в самом деле от теперешнего слова доктора мог измениться приговор над бедным мальчиком.

- Что делать! Я не бог, - небрежным хотя и привычно внушительным голосом ответил доктор.

- Доктор... Ваше превосходительство... и скоро это, скоро?

- При-го-товь-тесь ко всему, - отчеканил, ударяя по каждому слогу, доктор и, склонив взор, сам приготовился было шагнуть за порог к карете.

- Ваше превосходительство, ради Христа! - испуганно остановил его еще раз штабс-капитан, - ваше превосходительство!.. так разве ничего, неужели ничего, совсем ничего теперь не спасет?..

- Не от меня теперь за-ви-сит, - нетерпеливо проговорил доктор, - и однако же, гм, - приостановился он вдруг, - если б вы, например, могли... на-пра-вить... вашего пациента... сейчас и ни мало не медля (слова "сейчас и ни мало не медля" доктор произнес не то что строго, а почти гневно, так что штабс-капитан даже вздрогнул) в Си-ра-ку-зы, то... вследствие новых бла-го-при-ятных кли-ма-ти-ческих условий... могло бы может быть про-и-зойти... .

- В Сиракузы! - вскричал штабс-капитан, как бы ничего еще не понимая.

- Сиракузы - это в Сицилии, - отрезал вдруг громко Коля, для пояснения. Доктор поглядел на него.

- В Сицилию! Батюшка, ваше превосходительство, - потерялся штабс-капитан, - да ведь вы видели! - обвел он обеими руками кругом, указывая на свою обстановку, - а маменька-то, а семейство-то?

- Н-нет, семейство не в Сицилию, а семейство ваше на Кавказ, раннюю весной... дочь вашу на Кавказ, а супругу... продержав курс вод тоже на Кав-ка-зе в виду ее ревматизмов... немедленно после того на-пра-вить в Париж, в лечебницу доктора пси-хи-атра Ле-пель-летье, я бы мог вам дать к нему записку, и тогда... могло бы может быть произойти... .

- Доктор, доктор! Да ведь вы видите! - размахнул вдруг опять руками штабс-капитан, указывая в отчаянии на голые бревенчатые стены сеней.

- А, это уж не мое дело, - усмехнулся доктор, - я лишь сказал то, что могла сказать на-у-ка на ваш вопрос о последних средствах, а остальное... к

сожалению моему...

- Не беспокойтесь, лекарь, моя собака вас не укусит, - громко отрезал Коля, заметив несколько беспокойный взгляд доктора на Перезвона, ставшего на пороге. Гневная нотка прозвенела в голосе Коли. Слово же "лекарь" вместо доктора он сказал нарочно и, как сам объявил потом, "для оскорбления сказал".

- Что та-ко-е? - вскинул головой доктор, удивленно уставившись на Колю.

- Ка-кой это? - обратился он вдруг к Алеше, будто спрашивая у того отчета.

- Это хозяин Перезвона, лекарь, не беспокойтесь о моей личности, - отчеканил опять Коля.

- Звон? - переговорил доктор, не поняв что такое Перезвон.

- Да не знает, где он. Прощайте, лекарь, увидимся в Сиракузах.

- Кто эт-то? Кто, кто? - вдруг закипятился ужасно доктор.

- Это здешний школьник, доктор, он шалун, не обращайтесь внимания, - нахмурившись и скороговоркой проговорил Алеша. - Коля, молчите! - крикнул он Красоткину. - Не надо обращать внимания, доктор, - повторил он уже несколько нетерпеливее.

- Выс-сечь, выс-сечь надо, выс-сечь! - затопал было ногами слишком уже почему-то взбесившийся доктор.

- А знаете, лекарь, ведь Перезвон-то у меня пожалуй что и кусается! - проговорил Коля задрожавшим голосом, побледнев и сверкнув глазами. - Ісі, Перезвон!

- Коля, если вы скажете еще одно только слово, то я с вами разорву на веки, - властно крикнул Алеша.

- Лекарь, есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину, это вот этот человек (Коля указал на Алешу); ему повинуюсь, прощайте!

Он сорвался с места и, отворив дверь, быстро прошел в комнату. Перезвон бросился за ним. Доктор постоял было еще секунд пять, как бы в столбняке, смотря на Алешу, потом вдруг плюнул и быстро пошел к карете, громко повторяя: "Этта, этта, этта, я не знаю, что этта!" Штабс-капитан бросился его подсаживать. Алеша прошел в комнату вслед за Колей. Тот стоял уже у постельки Илюши. Илюша держал его за руку и звал папу. Через минуту воротился и штабс-капитан.

- Папа, папа, поди сюда... мы... - пролепетал было Илюша в чрезвычайном возбуждении, но, видимо, не в силах продолжать, вдруг бросил свои обе исхудалые ручки вперед и крепко, как только мог, обнял их обоих разом, и Колю и папу, соединив их в одно объятие и сам к ним прижавшись. Штабс-капитан вдруг весь так и затрясся от безмолвных рыданий, а у Коли задрожали губы и подбородок.

- Папа, папа! Как мне жалко тебя, папа! - горько простонал Илюша.

- Илюшечка... голубчик... доктор сказал... будешь здоров... будем счастливы... доктор... - заговорил было штабс-капитан.

- Ах, папа! Я ведь знаю, что тебе новый доктор про меня сказал... Я ведь видел! - воскликнул Илюша и опять крепко, изо всей силы прижал их обоих к себе, спрятав на плече у папы свое лицо.

- Папа, не плачь... а как я умру, то возьми ты хорошего мальчика, другого... сам выбери из них из всех, хорошего, назови его Илюшей и люби его вместо меня...

- Молчи, старик, выздоровеешь! - точно осердившись, крикнул вдруг Красоткин.

- А меня, папа, меня не забывай никогда, - продолжал Илюша, - ходи ко мне на могилку... да вот что, папа, похорони ты меня у нашего большого камня, к которому мы с тобой гулять ходили, и ходи ко мне туда с Красоткинъм, вечером... И Перезвон... А я буду вас ждать... Папа, папа!

Его голос пресекся, все трое стояли обнявшись и уже молчали. Плакала тихо на своем кресле и Ниночка, и вдруг, увидав всех плачущими, залилась слезами и мамаша.

- Илюшечка! Илюшечка! - восклицала она. Красоткин вдруг высвободился из объятий Илюши:

- Прощай, старик, меня ждет мать к обеду, - проговорил он скороговоркой... - Как жаль, что я ее не предупредил! Очень будет беспокоиться... Но после обеда я тотчас к тебе, на весь день, на весь вечер, и столько тебе расскажу, столько расскажу! И Перезвона приведу, а теперь с

собой уведу, потому что он без меня выть начнет и тебе мешать будет; до свиданья!

И он выбежал в сени. Ему не хотелось расплакаться, но в сенях он-таки заплакал. В этом состоянии нашел его Алеша.

- Коля, вы должны непременно сдержать слово и придти, а то он будет в страшном горе, - настойчиво проговорил Алеша.

- Непременно! О, как я клянусь тебе, что не приходил раньше, - плача и уже не конфузясь, что плачет, пробормотал Коля. В эту минуту вдруг словно выскочил из комнаты штабс-капитан и тотчас затворил за собою дверь. Лицо его было исступленное, губы дрожали. Он стал перед обоими молодыми людьми и вскинул вверх обе руки:

- Не хочу хорошего мальчика! не хочу другого мальчика! - прошептал он диким шепотом, скрежеща зубами, - еще забуду тебе, Иерусалиме, да прильпнет...

Он не договорил, как бы захлебнувшись, и опустился в бессилии перед деревянной лавкой на колени. Стиснув обоими кулаками свою голову, он начал рыдать, как-то нелепо взвизгивая, изо всей силы крепясь однако, чтобы не услышали его взвизгов в избе. Коля выскочил на улицу.

- Прощайте, Карамазов! Сами-то придете? - резко и сердито крикнул он Алеше.

- Вечером непременно буду.

- Что он это такое про Иерусалим... Это что еще такое?

- Это из Библии: "Аще забуду тебе, Иерусалиме", - то есть если забуду все, что есть самого у меня драгоценного, если променяю на что, то да поразит...

- Понимаю, довольно! Сами-то приходите! Ici, Перезвон! - совсем уже свирепо прокричал он собаке и большими, скорыми шагами зашагал домой.

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ.

БРАТ ИВАН ФЕДОРОВИЧ

I. У ГРУШЕНЬКИ.

Алеша направился к Соборной площади, в дом купчихи Морозовой, ко Грушеньке. Та еще рано утром присылала к нему Феню с настоятельной просьбой зайти к ней. Опросив Феню, Алеша узнал, что барыня в какой-то большой и особенной тревоге еще со вчерашнего дня. Во все эти два месяца после ареста Мити, Алеша часто заходил в дом Морозовой и по собственному побуждению, и по поручениям Мити. Дня три после ареста Мити Грушенька сильно заболела и хворала чуть не пять недель. Одну неделю из этих пяти пролежала без памяти. Она сильно изменилась в лице, похудела и пожелтела, хотя вот уже почти две недели, как могла выходить со двора. Но на взгляд Алеши лицо ее стало как бы еще привлекательнее, и он любил, входя к ней, встречать ее взгляд. Что-то как бы укрепилось в ее взгляде твердое и осмысленное. Сказывался некоторый переворот духовный, являлась какая-то неизменная, смиренная, но благая и бесповоротная решимость. Между бровями на лбу появилась небольшая вертикальная морщинка, придававшая милому лицу ее вид сосредоточенной в себе задумчивости, почти даже суровой на первый взгляд. Препятствием ветренности не осталось и следа. Странно было для Алеши и то, что, несмотря на все несчастье, постигшее бедную женщину, невесту жениха, арестованного по страшному преступлению, почти в тот самый миг, когда она стала его невестой, несмотря потом на болезнь и на угрожающее впереди почти неминуемое решение суда, Грушенька все-таки не потеряла прежней своей молодой веселости. В гордых прежде глазах ее засияла теперь какая-то тихость, хотя... хотя впрочем глаза эти изредка опять-таки пламенели некоторым зловещим огоньком,

когда ее посещала одна прежняя забота, не только не заглохнувшая, но даже и увеличившаяся в ее сердце. Предмет этой заботы был все тот же: Катерина Ивановна, о которой Грушенька, когда еще лежала больная, поминала даже в бреду. Алеша понимал, что она страшно ревнует к ней Митю, арестанта Митю, несмотря на то, что Катерина Ивановна ни разу не посетила того в заключении, хотя бы и могла это сделать, когда угодно. Все это обратилось для Алеши в некоторую трудную задачу, ибо Грушенька только одному ему доверяла свое сердце и беспрерывно просила у него советов; он же иногда совсем ничего не в силах был ей сказать.

Озабоченно вступил он в ее квартиру. Она была уже дома; с полчаса как воротилась от Мити, и уже по тому быстрому движению, с которым она вскочила с кресел из-за стола к нему на встречу, он заключил, что ждала она его с большим нетерпением. На столе лежали карты и была сдана игра в дурачки. На кожаном диване с другой стороны стола была постлана постель, и на ней полулежал, в халате и в бумажном колпаке, Максимов, видимо больной и ослабевший, хотя и сладко улыбающийся. Этот бездомный старичок, как воротился тогда, еще месяца два тому, с Грушенькой из Мокрого, так и остался у ней и при ней с тех пор неотлучно. Приехав тогда с ней в дождь и слякоть, он, промокший и испуганный, сел на диван и устался на нее молча, с робкою просущею улыбкой. Грушенька, бывшая в страшном горе и уже в начинавшейся лихорадке, почти забывшая о нем в первые полчаса по приезде за разными хлопотами, – вдруг как-то пристально посмотрела на него: он жалко и потерянно хихикнул ей в глаза. Она кликнула Феню и велела дать ему покушать. Весь этот день он просидел на своем месте почти не шелохнувшись; когда же стемнело и заперли ставни, Феня спросила барыню:

– Что ж, барыня, разве они ночевать останутся?

– Да, постели ему на диване, – ответила Грушенька.

Опросив его подробнее, Грушенька узнала от него, что действительно ему как раз теперь некуда деться совсем, и что "господин Калганов, благодетель мой, прямо мне заявили-с, что более меня уж не примут, и пять рублей подарили". – "Ну, бог с тобой, оставайся уж", решила в тоске Грушенька, сострадательно ему улыбнувшись. Старика передернуло от ее улыбки, и губы его задрожали от благодарного плача. Так с тех пор и остался у ней скитающийся приживальщик. Даже в болезни ее он не ушел из дома. Феня и ее мать, кухарка Грушеньки, его не протнали, а продолжали его кормить и стлать ему постель на диване. Впоследствии Грушенька даже привыкла к нему и, приходя от Мити (к которому, чуть оправившись, тотчас же стала ходить, не успев даже хорошенько выздороветь), чтоб убить тоску, садилась и начинала разговаривать с "Максимушкой" о всяких пустяках, только чтобы не думать о своем горе. Оказалось, что старичок умел иногда кое-что и порассказать, так что стал ей наконец даже и необходим. Кроме Алеши, заходившего однако не каждый день, и всегда не надолго, Грушенька никого почти и не принимала. Старик же ее, купец, лежал в это время уже страшно больной, "отходил", как говорили в городе, и действительно умер всего неделю спустя после суда над Митей. За три недели до смерти, почувствовав близкий финал, он кликнул к себе наконец на верх сыновей своих, с их женами и детьми, и повелел им уже более не отходить от себя. Грушеньку же с этой самой минуты строго приказал слугам не принимать вовсе, а коли придет, то говорить ей: "Приказывает дескать вам долго в веселии жить, а их совсем позабыть". Грушенька однако ж посылала почти каждый день справляться об его здоровье.

– Наконец-то пришел! – крикнула она, бросив карты и радостно здороваясь с Алешей, – а Максимушка так пугал, что пожалуй уж и не придешь. Ах, как тебя нужно! Садись к столу; ну что тебе, кофею?

– А пожалуй, – сказал Алеша, подсаживаясь к столу, – очень проголодался.

– То-то; Феня, Феня, кофею! – крикнула Грушенька, – он у меня уж давно кипит, тебя ждет, да пирожков принеси, да чтобы горячих. Нет, постой, Алеша, у меня с этими пирогами сегодня гром вышел. Понесла я их к нему в острог, а он, веришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так совсем на пол кинул и растоптал. Я и сказала: "сторожу оставляю; коли не съешь до вечера, значит, тебя злость эхидная кормит!" с тем и ушла. Опять ведь поссорились, веришь тому. Что ни приду, так и поссоримся.

Грушенька проговорила все это залпом, в волнении. Максимов, тотчас же оробев, улыбался, потупив глазки.

- Этот-то раз за что же поссорились? - спросил Алеша.

- Да уж совсем и не ожидала! Представь себе, к "прежнему" приревновал: "Зачем дескать ты его содержишь. Ты его, значит, содержать начала?" Все ревнует, все меня ревнует! И спит и ест ревнует. К Кузьме даже раз на прошлой неделе приревновал.

- Да ведь он же знал про "прежнего"-то?

- Ну вот поди. С самого начала до самого сегодня знал, а сегодня вдруг встал и начал ругать. Срамно только сказать, что говорил. Дурак! Ракитка к нему пришел, как я вышла. Может Ракитка-то его и уськает, а? как ты думаешь? - прибавила она как бы рассеянно.

- Любит он тебя, вот что, очень любит. А теперь как раз и раздражен.

- Еще бы не раздражен, завтра судят. И шла с тем, чтоб об завтрашнем ему мое слово сказать, потому, Алеша, страшно мне даже и подумать, что завтра будет! Ты вот говоришь, он раздражен, да я-то как раздражена. А он об поляке! Экой дурак! вот к Максимушке небось не ревнует.

- Меня супруга моя очень тоже ревновала-с, - вставил свое словцо Максимов.

- Ну уж тебя-то, - рассмеялась нехотя Грушенька, - к кому тебя и ревновать-то?

- К горничным девушкам-с.

- Э, молчи, Максимушка, не до смеху мне теперь, даже злость берет. На пирожки-то глаз не пяль, не дам, тебе вредно, и бальзамчику тоже не дам. Вот с ним тоже возись; точно у меня дом богадельный, право, - рассмеялась она.

- Я ваших благодензий не стою-с, я ничтожен-с, - проговорил слезящимся голоском Максимов. - Лучше бы вы расточали благоденствия ваши тем, которые нужнее меня-с.

- Эх, всякий нужен, Максимушка, и почему узнать, кто кого нужней. Хоть бы и не было этого поляка вовсе, Алеша, тоже ведь разболеться сегодня вздумал. Была и у него. Так вот нарочно же и ему пошлю пирогов, я не посылала, а Митя обвинил, что посылаю, так вот нарочно же теперь пошлю, нарочно! Ах, вот и Феня с письмом! Ну, так и есть, опять от поляков, опять денег просят!

Пан Муссялович действительно прислал чрезвычайно длинное и витиеватое по своему обыкновению письмо, в котором просил ссудить его тремя рублями. К письму была приложена расписка в получении с обязательством уплатить в течение трех месяцев; под распиской подписался и пан Врублевский. Таких писем и все с такими же расписками Грушенька уже много получила от своего "прежнего". Началось это с самого выздоровления Грушеньки, недели две назад. Она знала однако, что оба пана и во время болезни ее приходили наведываться о ее здоровье. Первое письмо, полученное Грушенькой, было длинное, на почтовом листе большого формата, запечатанное большою фамильною печатью и страшно темное и витиеватое, так что Грушенька прочла только половину и бросила, ровно ничего не поняв. Да и не до писем ей тогда было. За этим первым письмом последовало на другой день второе, в котором пан Муссялович просил ссудить его двумя тысячами рублей на самый короткий срок. Грушенька и это письмо оставила без ответа. Затем последовал уже целый ряд писем, по письму в день, все так же важных и витиеватых, но в которых сумма, просимая займы, постепенно спускаясь, дошла до ста рублей, до двадцати пяти, до десяти рублей, и наконец вдруг Грушенька получила письмо, в котором оба пана просили у ней один только рубль и приложили расписку, на которой оба и подписались. Тогда Грушеньке стало вдруг жалко, и она, в сумерки, сбегала сама к пану. Нашла она обоих поляков в страшной бедности, почти в нищете, без кушанья, без дров, без папирос, задолжавших, хозяйке. Двести рублей, выигранные в Мокром у Мити, куда-то быстро исчезли. Удивило однако же Грушеньку, что встретили ее оба пана с заносчивою важностью и независимостью, с величайшим этикетом, с раздутыми речами. Грушенька только рассмеялась и дала своему "прежнему" десять рублей. Тогда же, смеясь, рассказала об этом Мите, и тот вовсе не приревновал. Но с тех пор паны ухватились за Грушеньку и каждый день ее бомбардировали письмами с просьбой о деньгах, а та каждый раз посылала понемножку. И вот вдруг сегодня Митя вздумал жестоко приревновать.

- Я, дура, к нему тоже забежала, всего только на минутку, когда к Мите шла, потому разболелся тоже и он, пан-то мой прежний, - начала опять Грушенька, суетливо и торопясь, - смеюсь я это и рассказываю Мите-то:

представь, говорю, поляк-то мой на гитаре прежние песни мне вздумал петь, думает, что я расчувствуюсь и за него пойду. А Митя-то как вскочит с ругательствами... Так вот нет же, пошлю панам пирогов! Феня, что они там девчонку эту прислали? Вот, отдай ей три рубля, да с десяток пирожков в бумагу им уверни и вели снести, а ты, Алеша, непременно Расскажи Мите, что я им пирогов послала.

- Ни за что не Расскажу, - проговорил улыбнувшись Алеша.

- Эх, ты думаешь, что он мучается; ведь он это нарочно приревновал, а ему самому все равно, - горько проговорила Грушенька.

- Как так нарочно? - спросил Алеша.

- Глупый ты, Алешенька, вот что, ничего ты тут не понимаешь при всем уме, вот что. Мне не то обидно, что он меня, такую, приревновал, а то стало бы мне обидно, коли бы вовсе не ревновал. Я такова. Я за ревность не обижусь, у меня у самой сердце жестокое, я сама приревную. Только мне то обидно, что он меня вовсе не любит, и теперь нарочно приревновал, вот что. Слепая я, что ли, не вижу? Он мне об той, об Катьке, вдруг сейчас и говорит: такая-де она и сякая, доктора из Москвы на суд для меня выписала, чтобы спасти меня выписала, адвоката самого первого, самого ученого тоже выписала. Значит, ее любит, коли мне в глаза начал хвалить, бесстыжие его глаза! Предо мной сам виноват, так вот ко мне и привязался, чтобы меня прежде себя виноватой сделать, да на меня на одну и свалить: "ты дескать прежде меня с поляком была, так вот мне с Катькой и позволительно это стало". Вот оно что! На меня на одну всю вину свалить хочет. Нарочно он привязался, нарочно, говорю тебе, только я...

Грушенька не договорила, что она сделает, закрыла глаза платком и ужасно разрыдалась.

- Он Катерину Ивановну не любит, - сказал твердо Алеша.

- Ну любит не любит, это я сама скоро узнаю, - с грозною ноткой в голосе проговорила Грушенька, отнимая от глаз платок. Лицо ее исказилось. Алеша с горестью увидел, как вдруг, из кроткого и тихо-веселого лицо ее стало угрюмым и злым.

- Об этих глупостях полно! - отрезала она вдруг, - не затем вовсе я и звала тебя. Алеша, голубчик, завтра-то, завтра-то что будет? Вот ведь, что меня мучит! Одну только меня и мучит! Смотрю на всех, никто-то об том не думает, никому-то до этого и дела нет никакого. Думаешь ли хоть ты об этом? Завтра ведь судят! Расскажи ты мне, как его там будут судить? Ведь это лакей, лакей убил, лакей! Господи! неужто ж его за лакея осудят, и никто-то за него не заступится? Ведь и не потревожили лакея-то вовсе, а?

- Его строго опрашивали, - заметил Алеша задумчиво, - но все заключили, что не он. Теперь он очень больной лежит. С тех пор болен, с той падучей. В самом деле болен, - прибавил Алеша.

- Господи, да сходил бы ты к этому адвокату сам и рассказал бы дело с глазу на глаз. Ведь из Петербурга за три тысячи, говорят, выписали.

- Это мы втроем дали три тысячи, я, брат Иван и Катерина Ивановна, а доктора из Москвы выписала за две тысячи уж она сама. Адвокат Фетюкович больше бы взял, да дело это получило огласку по всей России, во всех газетах и журналах о нем говорят, Фетюкович и согласился больше для славы приехать, потому что слишком уж знаменитое дело стало. Я его вчера видел.

- Ну и что ж? говорил ему? - вскинулась торопливо Грушенька.

- Он выслушал и ничего не сказал. Сказал, что у него уже составилось определенное мнение. Но обещал мои слова взять в соображение.

- Как это в соображение! Ах они мошенники! Погубят они его! Ну, а доктора-то, доктора зачем та выписала?

- Как эксперта. Хотят вывести, что брат сумасшедший и убил в помешательстве, себя не помня, - тихо улыбнулся Алеша, - только брат не согласится на это.

- Ах, да ведь это правда, если б он убил! - воскликнула Грушенька. - Помешанный он был тогда, совсем помешанный, и это я, я, подлая, в том виновата! Только ведь он же не убил, не убил! И все-то на него, что он убил, весь город. Даже Феня, и та так показала, что выходит, будто он убил. А в лавке-то, а этот чиновник, а прежде в трактире слышали! Все, все против него, так и гаждят.

- Да, показания ужасно умножились, - угрюмо заметил Алеша.

- А Григорий-то, Григорий-то Васильич, ведь стоит на своем, что дверь

была отперта, ломит на своем, что видел, не собьешь его, я к нему бегала, сама с ним говорила. Ругается еще!

- Да, это может быть самое сильное показание против брата, - проговорил Алеша.

- А про то, что Митя помешанный, так он и теперь точно таков, - с каким-то особенно озабоченным и таинственным видом начала вдруг Грушенька. - Знаешь, Алешенька, давно я хотела тебе про это сказать: хожу к нему каждый день и просто дивлюсь. Скажи ты мне, как ты думаешь: об чем это он теперь начал все говорить? заговорит, заговорит, - ничего понимать не могу, думаю, это он об чем умном, ну я глупая, не понять мне, думаю; только стал он мне вдруг говорить про дите, то-есть про дитяню какого-то, "зачем, дескать, бедно дите?" "За дите-то это я теперь и в Сибирь пойду, я не убил, но мне надо в Сибирь пойти!" Что это такое, какое такое дите - ничегошеньки не поняла. Только расплакалась, как он говорил, потому очень уж он хорошо это говорил, сам плачет, и я заплакала, он меня вдруг и поцеловал и рукой перекрестил. Что это такое, Алеша, расскажи ты мне, какое это "дите"?

- Это к нему Ракитин почему-то повадился ходить, - улыбнулся Алеша, - впрочем... это не от Ракитина. Я у него вчера не был, сегодня буду.

- Нет, это не Ракитка, это его брат Иван Федорович смущает, это он к нему ходит, вот что... - проговорила Грушенька и вдруг как бы осеклась. Алеша уставился на нее как пораженный.

- Как ходит? Да разве он ходил к нему? Митя мне сам говорил, что Иван ни разу не приходил.

- Ну... ну, вот я какая! проболталась! - воскликнула Грушенька в смущении, вся вдруг зарумянившись. - Стой, Алеша, молчи, так и быть, коль уж проболталась, всю правду скажу: он у него два раза был, первый раз только что он тогда приехал - тогда же ведь он сейчас из Москвы и прискакал, я еще и слезь не успела, а другой раз приходил неделю назад. Мите-то он не велел об том тебе сказывать, отнюдь не велел, да и никому не велел сказывать, потаенно приходил.

Алеша сидел в глубокой задумчивости и что-то соображал. Известие видимо его поразило.

- Брат Иван об Митином деле со мной не говорит, - проговорил он медленно, - да и вообще со мною он во все эти два месяца очень мало говорил, а когда я приходил к нему, то всегда бывал недоволен, что я пришел, так что я три недели к нему уже не хожу. Гм... Если он был неделю назад, то... за эту неделю в Мите действительно произошла какая-то перемена...

- Перемена, перемена! - быстро подхватила Грушенька. - У них секрет, у них был секрет! Митя мне сам сказал, что секрет и, знаешь, такой секрет, что Митя и успокоиться не может. А ведь прежде был веселый, да он и теперь веселый, только, знаешь, когда начнет этак головой мотать, да по комнате шагать, а вот этим правым пальцем себе тут на виске волосы теребить, то уж я и знаю, что у него что-то беспокойное на душе... я уж знаю!.. А то был веселый, да и сегодня веселый!

- А ты сказала: раздражен?

- Да он и раздражен, да веселый. Он и все раздражен, да на минутку, а там веселый, а потом вдруг опять раздражен. И знаешь, Алеша, все я на него дивлюсь: впереди такой страх, а он даже иной раз таким пустякам хохочет, точно сам-то дитя.

- И это правда, что он мне не велел говорить про Ивана? так и сказал: не говори?

- Так и сказал: не говори. Тебя-то он, главное, и боится, Митя-то. Потому тут секрет, сам сказал, что секрет... Алеша, голубчик, сходи, выведай: какой это такой у них секрет, да и приди мне сказать, - вскинулась и взмолилась вдруг Грушенька, - пореши ты меня бедную, чтоб уж знала я мою участь проклятую! С тем и звала тебя.

- Ты думаешь, что это про тебя что-нибудь? Так ведь тогда бы он не сказал при тебе про секрет.

- Не знаю. Может мне-то он и хочет сказать, да не смеет. Предупреждает. Секрет дескать есть, а какой секрет - не сказал.

- Ты сама-то что же думаешь?

- А что думаю? Конец мне пришел, вот что думаю. Конец мне они все трое приготовили, потому что тут Катька. Все это Катька, от нее и идет. "Такая она и сякая", значит это я не такая. Это он вперед говорит, вперед меня

предупреждает. Бросить он меня замыслил, вот и весь тут секрет! Втроем это и придумали, – Митька, Катька, да Иван Федорович. Алеша, хотела я тебя спросить давно: неделю назад он мне, вдруг и открывает, что Иван влюблен в Катьку, потому что часто к той ходит. Правду он это мне сказал или нет? Говори по совести, режь меня.

– Я тебе не солгу. Иван в Катерину Ивановну не влюблен, так я думаю.

– Ну, так и я тогда же подумала! Лжет он мне, бесстыжий, вот что! И приревновал он теперь меня, чтобы потом на меня свалить. Ведь он дурак, ведь он не умеет концов хоронить, откровенный он ведь такой... Только я ж ему, я ж ему! "Ты, говорит, веришь, что я убил" – это мне-то он говорит, мне-то, это меня-то он тем попрекнул! Бог с ним! Ну, стой, плохо этой Катьке будет от меня на суде! Я там одно такое словечко скажу... Я там уж все скажу!

И опять она горько заплакала.

– Вот что я тебе могу твердо объявить, Грушенька, – сказал, вставая с места, Алеша, – первое то, что он тебя любит, любит более всех на свете, и одну тебя, в этом ты мне верь. Я знаю. Уж я знаю. Второе то скажу тебе, что я секрета выпытывать от него не хочу, а если сам мне скажет сегодня, то прямо скажу ему, что тебе обещался сказать. Тогда приду к тебе сегодня же и скажу. Только... кажется мне... нет тут Катерины Ивановны и в помине, а это про другое про что-нибудь этот секрет. И это наверно так. И не похоже совсем, чтобы про Катерину Ивановну, так мне сдается. А пока прощай!

Алеша пожал ей руку. Грушенька все еще плакала. Он видел, что она его утешениям очень мало поверила, но и то уж было ей хорошо, что хоть горе сорвала, высказалась. Жалко ему было оставлять ее в таком состоянии, но он спешил. Предстояло ему еще много дела.

II. БОЛЬНАЯ НОЖКА.

Первое из этих дел было в доме г-жи Хохлаковой, и он поспешил туда, чтобы покончить там поскорее и не опоздать к Мите. Г-жа Хохлакова уже три недели как прихварывала: у ней отчего-то вспухла нога, и она хоть не лежала в постели, но все равно, днем, в привлекательном, но пристойном дезабилье полулежала у себя в будуаре на кушетке. Алеша как-то раз заметил про себя с невинною усмешкой, что г-жа Хохлакова, несмотря на болезнь свою, стала почти щеголять: явились какие-то наколочки, бантики, распашеночки, и он смекал почему это так, хотя и гнал эти мысли как праздные. В последние два месяца г-жу Хохлакову стал посещать, между прочими ее гостями, молодой человек Перхотин. Алеша не заходил уже дня четыре, и, войдя в дом, поспешил было прямо пройти к Лизе, ибо у ней и было его дело, так как Лиза еще вчера прислала к нему девушку с настоятельной просьбой немедленно к ней придти "по очень важному обстоятельству", что, по некоторым причинам, заинтересовало Алешу. Но пока девушка ходила к Лизе докладывать, г-жа Хохлакова уже узнала от кого-то о его прибытии и немедленно прислала попросить его к себе "на одну только минутку". Алеша рассудил, что лучше уж удовлетворить сперва просьбу мамаши, ибо та будет поминутно посылать к Лизе, пока он будет у той сидеть. Г-жа Хохлакова лежала на кушетке, как-то особенно празднично одетая и видимо в чрезвычайном нервическом возбуждении. Алешу встретила криками восторга.

– Век [AACUTE], век [AACUTE], целые век [AACUTE] не видала вас! Целую неделю, помилуйте, ах, впрочем вы были всего четыре дня назад, в среду. Вы к Лизе, я уверена, что вы хотели пройти к ней прямо на цыпочках, чтоб я не слыхала. Милый, милый Алексей, Федорович, если бы вы знали, как она меня беспокоит! Но это потом. Это хоть и самое главное, но это потом. Милый Алексей Федорович, я вам доверяю мою Лизу вполне. После смерти старца Зосимы – упокой господи его душу! (она перекрестилась), после него я смотрю на вас как на схимника, хотя вы и премило носите ваш новый костюм. Где это вы достали здесь такого портного? Но нет, нет, это не главное, это потом. Простите, что я вас называю иногда Алешей, я старуха, мне все позволено, – кокетливо улыбнулась она, – но это тоже потом. Главное, мне бы не забыть про главное. – Пожалуста, напомните мне сами, чуть я заговорюсь, а вы скажите: "а главное?" Ах, почему я знаю, что теперь главное! – С тех пор как Лизе

взяла у вас назад свое обещание, - свое детское обещание, Алексей Федорович, - выйти за вас замуж, то вы конечно поняли, что все это была лишь детская игривая фантазия больной девочки, долго просидевшей в креслах, - слава богу, она теперь уже ходит. Этот новый доктор, которого Катя выписала из Москвы для этого несчастного вашего брата, которого завтра... Ну что об завтрашнем! Я умираю от одной мысли об завтрашнем! Главное же от любопытства... Одним словом, этот доктор вчера был у нас и видел Lise... Я ему пятьдесят рублей за визит заплатила. Но это все не то, опять не то... Видите, я уж совсем теперь сбилась. Я тороплюсь. Почему я тороплюсь? Я не знаю. Я ужасно перестаю теперь знать. Для меня все смешалось в какой-то комок. Я боюсь, что вы возьмете и выпрыгнете от меня от скуки, и я вас только и видела. Ах, боже мой! что же мы сидим, и во-первых, - кофе, Юлия, Глафира, кофе!

Алеша поспешно поблагодарил и объявил, что он сейчас только пил кофе.

- У кого?

- У Аграфены Александровны.

- Это... это у этой женщины! Ах, это она всех погубила, а впрочем я не знаю, говорят, она стала святая, хотя и поздно. Лучше бы прежде, когда надо было, а теперь что ж, какая же польза? Молчите, молчите. Алексей Федорович, потому что я столько хочу сказать, что, кажется, так ничего и не скажу. Этот ужасный процесс... я непременно поеду, я готовлюсь, меня внесут в креслах, и при том я могу сидеть, со мной будут люди, и вы знаете, ведь я в свидетелях. Как я буду говорить, как я буду говорить! Я не знаю, что я буду говорить. Надо ведь присягу принять, ведь так, так?

- Так, но не думаю, чтобы вам можно было явиться.

- Я могу сидеть; ах, вы меня сбиваете! Этот процесс, этот дикий поступок, и потом все идет в Сибирь, другие женятся, и все это быстро, быстро, и все меняется, и наконец ничего, все старики и в гроб смотрят. Ну и пусть, я устала. Эта Катя - *cette charmante personne*, она разбила все мои надежды: теперь она пойдет за одним вашим братом в Сибирь, а другой ваш брат поедет за ней и будет жить в соседнем городе, и все будут мучить друг друга. Меня это с ума сводит, а главное эта огласка: во всех газетах в Петербурге и в Москве миллион раз писали. Ах да, представьте себе, и про меня написали, что я была "милым другом" вашего брата, я не хочу проговорить гадкое слово, представьте себе, ну представьте себе!

- Этого быть не может! Где же и как написали?

- Сейчас покажу. Вчера получила - вчера и прочла. Вот здесь в газете Слухи, в петербургской. Эти Слухи стали издаваться с нынешнего года, я ужасно люблю слухи, и подписалась, и вот себе на голову: вот они какие оказались слухи. Вот здесь, вот в этом месте, читайте.

И она протянула Алеше газетный листок, лежавший у ней под подушкой.

Она не то что была расстроена, она была как-то вся разбита и действительно может быть у ней все в голове свернулось в комок. Газетное известие было весьма характерное и, конечно, должно было на нее очень щекоотливо подействовать, но она, к своему счастью может быть, не способна была в сию минуту сосредоточиться на одном пункте, а потому чрез минуту могла забыть даже и о газете и перескочить совсем на другое. Про то же, что повсеместно по всей России уже прошла слава об ужасном процессе, Алеша знал давно и, боже, какие дикие известия и корреспонденции успел он прочесть за эти два месяца, среди других верных известий, о своем брате, о Карамазовых вообще и даже о себе самом. В одной газете даже сказано было, что он от страху после преступления брата посхимился и затворился; в другой это опровергали и писали, напротив, что он вместе со старцем своим Зосимой взломали монастырский ящик и "утекли из монастыря". Теперешнее же известие в газете Слухи озаглавлено было: "Из Скотопригоньевска (увы, так называется наш городок, я долго скрывал его имя), к процессу Карамазова". Оно было коротенькое, и о г-же Хохлаковой прямо ничего не упоминалось, да и вообще все имена были скрыты. Извещалось лишь, что преступник, которого с таким треском собираются теперь судить, отставной армейский капитан, нахального пошиба, лентяй и крепостник, то и дело занимался амурами и особенно влиял на некоторых "скучающих в одиночестве дам". Одна де такая дама из "скучающих вдовиц", молодящаяся, хотя уже имеющая взрослую дочь, до того им прельстилась, что всего только за два часа до преступления предлагала ему три тысячи рублей с тем, чтоб он тотчас же бежал с нею на золотые прииски. Но злодей предпочел де лучше убить отца и ограбить его именно на три же

тысячи, рассчитывая сделать это безнаказанно, чем тащиться в Сибирь с сорокалетними прелестями своей скучающей дамы. Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнравственности отцеубийства и бывшего крепостного права. Прочтя с любопытством. Алеша свернул листок и передал его обратно г-же Хохлаковой.

- Ну как же не я? - залепетала она опять, - ведь это я, я почти за час предлагала ему золотые прииски и вдруг "сорокалетние прелести"! Да разве я затем? Это он нарочно! Прости ему вечный судья за сорокалетние прелести, как и я прощаю, но ведь это... ведь это знаете кто? Это ваш друг Раkitин.

- Может быть, - сказал Алеша, - хотя я ничего не слышал.

- Он, он, а не может быть! Ведь я его выгнала... Ведь вы знаете всю эту историю?

- Я знаю, что вы его пригласили не посещать вас впредь, но за что именно - этого я... от вас по крайней мере не слышал.

- А стало быть от него слышали! Что ж он бранит меня, очень бранит?

- Да, он бранит, но ведь он всех бранит. Но за что вы ему отказали - я и от него не слышал. Да и вообще я очень редко с ним теперь встречаюсь. Мы не друзья.

- Ну, так я вам это все открою и, нечего делать, покажусь, потому что тут есть одна черта, в которой я может быть сама виновата. Только маленькая, маленькая черточка, самая маленькая, так что может быть ее и нет вовсе. Видите, голубчик мой (г-жа Хохлакова вдруг приняла какой-то игривый вид, и на устах ее замелькала милая, хотя и загадочная улыбочка), видите, я подозреваю... вы меня простите, Алеша, я вам как мать... о, нет, нет, напротив, я к вам теперь как к моему отцу... потому что мать тут совсем не идет... Ну, все равно как к старцу Зосиме на исповеди, и это самое верное, это очень подходит: назвала же я вас давеча схимником, - ну так вот этот бедный молодой человек, ваш друг Раkitин (о, боже, я просто на него не могу сердиться! Я сержусь и злюсь, но не очень), одним словом, этот легкомысленный молодой человек, вдруг, представьте себе, кажется, вздумал в меня влюбиться. Я это потом, потом только вдруг заметила, но вначале, т. е. с месяц назад, он стал бывать у меня чаще, почти каждый день, хотя и прежде мы были знакомы. Я ничего не знаю... и вот вдруг меня как бы озарило, и я начинаю, к удивлению, примечать. Вы знаете, я уже два месяца тому начала принимать этого скромного, милого и достойного молодого человека, Петра Ильича Перхотина, который здесь служит. Вы столько раз его встречали сами. И не правда ли, он достойный, серьезный. Приходит он в три дня раз, а не каждый день (хотя пусть бы и каждый день), и всегда так хороша одет, и вообще я люблю молодежь, Алеша, талантливую, скромную, вот как вы, а у него почти государственный ум, он так мило говорит, и я непременно, непременно буду просить за него. Это будущий дипломат. Он в тот ужасный день меня почти от смерти спас, придя ко мне ночью. Ну, а ваш друг Раkitин приходит всегда в таких сапогах и протянет их по ковру... одним словом, он начал мне даже что-то намекать, а вдруг один раз, уходя, пожал мне ужасно крепко руку. Только что он мне пожал руку, как вдруг у меня разболелась нога. Он и прежде встречал у меня Петра Ильича, и, верите ли, все шпынует его, все шпынует, так и мычит на него за что-то. Я только смотрю на них обоих, как они сойдутся, а внутри смеюсь. Вот вдруг я сижу одна, т. е. нет, я тогда уж лежала, вдруг я лежу одна, Михаил Иванович и приходит и, представьте, приносит свои стишки, самые коротенькие, на мою больную ногу, т. е. описал в стихах мою больную ногу, Пойдите, как это:

Эта ножка, эта ножка

Разболелася немножко...

или как там, - вот никак не могу стихов запомнить, - у меня тут лежат, - ну я вам потом покажу, только прелесть, прелесть, и, знаете, не об одной только ножке, а и нравоучительное, с прелестной идеей, только я ее забыла, одним словом, прямо в альбом. Ну, я, разумеется, поблагодарила, и он был видима польщен. Не успела поблагодарить, как вдруг входит и Петр Ильич, а Михаил Иванович вдруг насупилася как ночь. Я уж вижу, что Петр Ильич ему в чем-то помешал, потому что Михаил Иванович непременно что-то хотел сказать сейчас после стихов, я уж предчувствовала, а Петр Ильич и вошел. Я вдруг Петру Ильичу стихи и показываю, да и не говорю кто сочинил. Но я уверена, я уверена, что он сейчас догадался, хотя и до сих пор не признается, а говорит, что не догадался; но это он нарочно. Петр Ильич тотчас захохотал и

начал критиковать: - дрянные, говорит, стишенки, какой-нибудь семинарист написал, - да, знаете, с таким азартом, с таким азартом! Тут ваш друг вместо того, чтобы рассмеяться, вдруг совсем и взбесился... Господи, я думала, они подерутся: "Это я, говорит, написал. Я, говорит, написал в шутку, потому что считаю за низость писать стихи... Только стихи мои хороши. Вашему Пушкину за женские ножки монумент хотят ставить, а у меня с направлением, а вы сами, говорит, крепостник; вы, говорит, никакой гуманности не имеете, вы никаких теперешних просвещенных чувств не чувствуете, вас не коснулось развитие, вы, говорит. чиновник и взятки берете!" Тут уж я начала кричать и молить их. А Петр Ильич, вы знаете, такой не робкий, и вдруг принял самый благородный тон: смотрит на него насмешливо, слушает и извиняется: "я, говорит, не знал. Если б я знал, я бы не сказал, я бы, говорит, похвалил... Поэты, говорит, все так раздражительны"... Одним словом, такие насмешки под видом самого благородного тона. Это он мне сам потом объяснил, что это все были насмешки, а я думала он и в самом деле. Только вдруг я лежу, как вот теперь пред вами, и думаю: будет или не будет благородно, если я Михаила Ивановича вдруг прогоню за то, что неприлично кричит у меня в доме на моего гостя? И вот верите ли: лежу, закрыла глаза и думаю: будет или не будет благородно, и не могу решить, и мучаюсь, мучаюсь, и сердце бьется: крикнуть аль не крикнуть? Один голос говорит: кричи, а другой говорит: нет, не кричи! Только что этот другой голос сказал, я вдруг и закричала и вдруг упала в обморок. Ну, тут, разумеется, шум. Я вдруг встаю и говорю Михаилу Ивановичу: мне горько вам объявить, но я не желаю вас более принимать в моем доме. Так и выгнала. Ах, Алексей Федорович! я сама знаю, что скверно сделала, я все лгала, я вовсе на него не сердилась, но мне вдруг, главное вдруг, показалось, что это будет так хорошо, эта сцена... Только верите ли, эта сцена все-таки была натуральна, потому что я даже расплакалась, и несколько дней потом плакала, а потом вдруг после обеда все и позабыла. Вот он и перестал ходить уже две недели, я и думаю: да неужто ж он совсем не придет? Это еще вчера, а вдруг к вечеру приходят эти Слухи. Прочла и ахнула, ну кто же написал, это он написал, пришел тогда домой, сел - и написал; послал - и напечатали. Ведь это две недели как было. Только, Алеша, ужас я что говорю, а вовсе не говорю об чем надо? Ах, само говорится!

- Мне сегодня ужасно как нужно поспеть во-время к брату, - пролепетал было Алеша.

- Именно, именно! Вы мне все напомнили! Послушайте, что такое афект?

- Какой афект? - удивился Алеша.

- Судебный афект. Такой афект, за который все прощают. Что бы вы ни сделали - вас сейчас простят.

- Да вы про что это?

- А вот про что: эта Катя... Ах это милое, милое существо, только я никак не знаю, в кого она влюблена. Недавно сидела у меня, и я ничего не могла выпытать. Тем более, что сама начинает со мною теперь так поверхностно, одним словом, все об моем здоровье и ничего больше, и даже такой тон принимает, а я и сказала себе: ну и пусть, ну и бог с вами... Ах да, ну так вот этот афект: этот доктор и приехал. Вы знаете, что приехал доктор? Ну как вам не знать, который узнает сумасшедших, вы же и выписали, то есть не вы, а Катя. Все Катя! ну так видите: Сидит человек совсем не сумасшедший, только вдруг у него афект. Он и помнит себя и знает что делает, а между тем он в афекте. Ну так вот и с Дмитрием Федоровичем наверно был афект. Это как новые суды открыли, так сейчас и узнали про афект. Это благодеяние новых судов. Доктор этот был и расспрашивает меня про тот вечер, ну про золотые прииски: каков дескать он тогда был? Как же не в афекте: пришел и кричит: денег, денег, три тысячи, давайте три тысячи, а потом пошел и вдруг убил. Не хочу, говорит, не хочу убивать, и вдруг убил. Вот за это-то самое его и простят, что противился, а убил.

- Да ведь он же не убил, - немного резко прервал Алеша. Беспокойство и нетерпение одолевали его все больше и больше.

- Знаю, это убил тот старик Григорий...

- Как Григорий? - вскричал Алеша.

- Он, он, это Григорий. Дмитрий Федорович как ударил его, так он лежал, а потом встал, видит дверь отворена, пошел и убил Федора Павловича.

- Да зачем, зачем?

- А получил аффект. Как Дмитрий Федорович ударил его по голове, он очнулся и получил аффект, пошел и убил. А что он говорит сам, что не убил, так этого он может и не помнить. Только видите ли: Лучше, гораздо лучше будет, если Дмитрий Федорович убил. Да это так и было, хоть я и говорю, что Григорий, но это наверно Дмитрий Федорович, и это гораздо, гораздо лучше! Ах, не потому лучше, что сын отца убил, я не хвалю, дети, напротив, должны почитать родителей, а только все-таки лучше, если это он, потому что вам тогда и плакать нечего, так как он убил себя не помня, или лучше сказать, все помня, но не зная, как это с ним сделалось. Нет, пусть они его простят; это так гуманно, и чтобы видели благодеяние новых судов, а я-то и не знала, а говорят, это уже давно, и как я вчера узнала, то меня это так поразило, что я тотчас же хотела за вами послать; и потом, коли его простят, то прямо его из суда ко мне обедать, а я созову знакомых, и мы выпьем за новые суды. Я не думаю, чтоб он был опасен, притом я позову очень много гостей, так что его можно всегда вывести, если он что-нибудь, а потом он может где-нибудь в другом городе быть мировым судьей или чем-нибудь, потому что те, которые сами перенесли несчастье, всех лучше судят. А главное, кто ж теперь не в аффекте, вы, я, все в аффекте, и сколько примеров: сидит человек, поет романс, вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил кого попало, а за тем ему все прощают. Я это недавно читала, и все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, все подтверждают. Помилуйте, у меня Lise в аффекте, я еще вчера от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффект. Ох, Lise меня так огорчает! Я думаю, она совсем помешалась. Зачем она вас позвала? Она вас позвала, или вы сами к ней пришли?

- Да, она звала, и я пойду сейчас к ней, - встал было решительно Алеша.

- Ах милый, милый Алексей Федорович, тут-то может быть и самое главное, - вскрикнула г-жа Хохлакова, вдруг заплакав. - Бог видит, что я вам искренно доверяю Lise, и это ничего, что она вас тайком от матери позвала. Но Ивану Федоровичу, вашему брату, простите меня, я не могу доверить дочь мою с такою легкостью, хотя и продолжаю считать его за самого рыцарского молодого человека. А представьте, он вдруг и был у Lise, а я этого ничего и не знала.

- Как? Что? Когда? - ужасно удивился Алеша. Он уж не садился и слушал стоя.

- Я вам расскажу, я для этого-то может быть вас и позвала, потому что я уж и не знаю, для чего вас позвала. Вот что: Иван Федорович был у меня всего два раза по возвращении своем из Москвы, первый раз пришел как знакомый сделать визит, а в другой раз, это уже недавно, Катя у меня сидела, он и зашел, узнав что она у меня. Я, разумеется, и не претендовала на его частые визиты, зная, сколько у него теперь и без того хлопот, vous comprenez, cette affaire et la mort terrible de votre papa, только вдруг узнаю, что он был опять, только не у меня, а у Lise, это уже дней шесть тому, пришел, просидел пять минут и ушел. А узнала я про это целых три дня спустя от Глафиры, так что это меня вдруг фразировало. Тотчас призываю Lise, а она смеется: он, дескать, думал, что вы спите, и зашел ко мне спросить о вашем здоровье. Конечно, оно так и было. Только Lise, Lise, о боже, как она меня огорчает! Вообразите, вдруг с ней в одну ночь - это четыре дня тому, сейчас после того, как вы в последний раз были и ушли - вдруг с ней ночью припадок, крик, визг, истерика! Отчего у меня никогда не бывает истерики? Затем на другой день припадок, а потом и на третий день, и вчера, и вот вчера этот аффект. А она мне вдруг кричит: "Я ненавижу Ивана Федоровича, я требую, чтобы вы его не принимали, чтобы вы ему отказали от дома!" Я обомлела при такой неожиданности и возражаю ей: с какой же стати буду я отказывать такому достойному молодому человеку и притом с такими познаниями и с таким несчастьем, потому что все-таки все эти истории - ведь это несчастье, а не счастье, не правда ли? Она вдруг расхохоталась над моими словами и так, знаете, оскорбительно. Ну я рада, думаю, что рассмешила ее, и припадки теперь пройдут, тем более, что я сама хотела отказать Ивану Федоровичу за странные визиты без моего согласия и потребовать объяснения. Только вдруг сегодня утром Лиза проснулась и рассердилась на Юлию и, представьте, ударила ее рукой по лицу. Но ведь это монструозно, я с моими девушками на вы. И вдруг чрез час она обнимает и целует у Юлии ноги. Ко мне же прислала сказать, что не придет ко мне вовсе и впредь никогда не хочет ходить, а

когда я сама к ней потащила, то бросилась меня целовать и плакать и целуя так и выпихнула вон, ни слова не говоря, так что я так ничего и не узнала. Теперь, милый Алексей Федорович, на вас все мои надежды и, конечно, судьба всей моей жизни в ваших руках. Я вас просто прошу пойти к Лизе, разузнать у ней все, как вы только один умеете это сделать, и придти рассказать мне, мне, матери, потому что, вы понимаете, я умру, я просто умру, если все это будет продолжаться, или убегу из дома. Я больше не могу, у меня есть терпение, но я могу его лишиться, и тогда... и тогда будут ужасы. Ах, боже мой, наконец-то Петр Ильич! - вскрикнула, вся вдруг просияв г-жа Хохлакова, завидя входящего Петра Ильича Перхотина. - Опоздали, опоздали! Ну что, садитесь, говорите, решайте судьбу, ну что ж этот адвокат? Куда же вы, Алексей Федорович?

- Я к Лизе.

- Ах, да! Так вы не забудете, не забудете, о чем я вас просила? Тут судьба, судьба!

- Конечно не забуду, если только можно... но я так опоздал, - пробормотал, поскорее ретируясь, Алеша.

- Нет наверно, наверно заходите, а не "если можно", иначе я умру! - прокричала вслед ему г-жа Хохлакова, но Алеша уже вышел из комнаты.

III. БЕСЕНОК.

Войдя к Лизе, он застал ее полулежачею в ее прежнем кресле, в котором ее возили, когда она еще не могла ходить. Она не тронулась к нему навстречу, но зоркий, острый ее взгляд так и впился в него. Взгляд был несколько воспаленный, лицо бледно-желтое. Алеша изумился тому, как она изменилась в три дня, даже похудела. Она не протянула ему руки. Он сам притронулся к ее тонким, длинным пальчикам, неподвижно лежавшим на ее платье, затем молча сел против нее.

- Я знаю, что вы спешите в острог, - резко проговорила Лиза, - а вас два часа задержала мама, сейчас вам про меня и про Юлию рассказала.

- Почему вы узнали? - спросил Алеша.

- Я подслушивала. Чего вы на меня уставились? Хочу подслушивать и подслушиваю, ничего тут нет дурного. Прощенья не прошу.

- Вы чем-то расстроены?

- Напротив, очень рада. Только что сейчас рассуждала опять, в тридцатый раз: как хорошо, что я вам отказала и не буду вашей женой. Вы в мужа не годитесь: я за вас выйду, и вдруг дам вам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас, вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ принесете. И сорок лет вам придет, и вы все так же будете мои такие записки носить.

Она вдруг засмеялась.

- В вас что-то злобное и в то же время что-то простодушное, - улыбнулся ей Алеша.

- Простодушное это то, что я вас не стыжусь. Мало того, что не стыжусь, да и не хочу стыдиться, именно пред вами, именно вас. Алеша, почему я вас не уважаю? Я вас очень люблю, но я вас не уважаю. Если б уважала, ведь не говорила бы не стыдись, ведь так?

- Так.

- А верите вы, что я вас не стыжусь?

- Нет, не верю.

Лиза опять нервно засмеялась; говорила она скоро, быстро.

- Я вашему брату Дмитрию Федоровичу конфет в острог послала. Алеша, знаете, какой вы хорошенький! Я вас ужасно буду любить за то, что вы так скоро позволили мне вас не любить.

- Вы для чего меня сегодня звали, Лизе?

- Мне хотелось вам сообщить одно мое желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, а потом истерзал, обманул, ушел и уехал. Я не хочу быть счастливою!

- Полюбили беспорядок?

- Ах, я хочу беспорядка. Я все хочу зажечь дом. Я воображаю как это я

подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он-то горит. А я знаю да молчу. Ах, глупости! И как скучно!

Она с отвращением махнула ручкой.

- Богато живете, - тихо проговорил Алеша.

- Лучше что ль бедной-то быть?

- Лучше.

- Это вам ваш монах покойный наговорил. Это неправда. Пусть я богата, а все бедные, я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам. Ах, не говорите, не говорите ничего (замахала она ручкой, хотя Алеша и рта не открывал), вы мне уж прежде все это говорили, я все наизусть знаю. Скучно. Если я буду бедная, я кого-нибудь убью, - да и богата если буду может быть убью, - что сидеть-то! А знаете, я хочу жать, рожь жать. Я за вас выйду, а вы станьте мужиком, настоящим мужиком, у нас жеребеночек, хотите? Вы Калганова знаете?

- Знаю.

- Он все ходит и мечтает. Он говорит: зачем взаправду жить, лучше мечтать. Намечтать можно самое веселое, а жить скука. А ведь сам скоро женится, он уж и мне объяснялся в любви. Вы умеете кубари спускать?

- Умею.

- Вот это он как кубарь: завертеть его и спустить и стегать, стегать, стегать кнутиком: выйду за него замуж, всю жизнь буду спускать. Вам не стыдно со мной сидеть?

- Нет.

- Вы ужасно сердитесь, что я не про святое говорю. Я не хочу быть святою. Что сделают на том свете за самый большой грех? Вам это должно быть в точности известно.

- Бог осудит, - пристально вглядывался в нее Алеша.

- Вот так я и хочу. Я бы пришла, а меня бы и осудили, а я бы вдруг всем им и засмеялась в глаза. Я ужасно хочу зажечь дом, Алеша, наш дом, вы мне все не верите?

- Почему же? Есть даже дети, лет по двенадцати, которым очень хочется зажечь что-нибудь, и они зажигают. Это в роде болезни,

- Неправда, неправда, пусть есть дети, но я не про то.

- Вы злое принимаете за доброе: это минутный кризис, в этом ваша прежняя болезнь может быть виновата.

- А вы-таки меня презираете! Я просто не хочу делать доброе, я хочу делать злое, а никакой тут болезни нет.

- Зачем делать злое?

- А чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю надеть ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно, Алеша?

- Так. Потребность раздавить что-нибудь хорошее, али вот, как вы говорили, зажечь. Это тоже бывает.

- Я ведь не то что говорила, я ведь и сделаю.

- Верю.

- Ах как я вас люблю за то, что вы говорите: верю. И ведь вы вовсе, вовсе не лжете. А может быть вы думаете, что я вам все это нарочно, чтобы вас дразнить?

- Нет, не думаю... хотя может быть и есть немного этой потребности.

- Немного есть. Никогда пред вами не солгу, - проговорила она со сверкнувшими каким-то огоньком глазами.

Алешу всего более поражала ее серьезность: ни тени смешливости и шутливости не было теперь в ее лице, хотя прежде веселость и шутливость не покидали ее в самые "серьезные" ее минуты.

- Есть минуты, когда люди любят преступление, - задумчиво проговорил Алеша.

- Да, да! Вы мою мысль сказали, любят, все любят, и всегда любят, а не то что "минуты". Знаете, в этом все как будто когда-то условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про себя все его любят.

- А вы все попрежнему дурные книги читаете?

- Читаю. Мама читает и под подушку прячет, а я краду.

- Как вам не совестно разрушать себя?

- Я хочу себя разрушать. Тут есть один мальчик, он под рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец! Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что он отца убил.

- Любят, что отца убил?

- Любят, все любят! Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят. Я первая люблю.

- В ваших словах про всех есть несколько правды, - проговорил тихо Алеша.

- Ах, какие у вас мысли! - взвизгнула в восторге Лиза, - это у монаха-то! Вы не поверите, как я вас уважаю, Алеша, за то, что вы никогда не лжете. Ах, я вам один мой смешной сон расскажу: мне иногда во сне снятся черти, будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать бога бранить, вот и начну бранить, а они-то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь - а они все назад. Ужасно весело, дух замирает.

- И у меня бывал этот самый сон, - вдруг сказал Алеша.

- Неужто? - вскрикнула Лиза в удивлении. - Послушайте, Алеша, не смейтесь, это ужасно важно: разве можно, чтоб у двух разных был один и тот же сон?

- Верно можно.

- Алеша, говорю вам, это ужасно важно, - в каком-то чрезмерном уже удивлении продолжала Лиза. - Не сон важен, а то, что вы могли видеть этот же самый сон как и я. Вы никогда мне не лжете, не лгите и теперь: это правда? Вы не смеетесь?

- Правда.

Лиза была чем-то ужасно поражена и на полминутку примолкла.

- Алеша, ходите ко мне, ходите ко мне чаще, - проговорила она вдруг молящим голосом.

- Я всегда, всю жизнь буду к вам приходить, - твердо ответил Алеша.

- Я ведь одному вам говорю, - начала опять Лиза. - Я себе одной говорю, да еще вам. Вам одному в целом мире. И вам охотнее, чем самой себе говорю. И вас совсем не стыжусь. Алеша, почему я вас совсем не стыжусь, совсем? Алеша, правда ли, что жида на Пасху детей крадут и режут?

- Не знаю.

- Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо!

- Хорошо?

- Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?

Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо ее вдруг исказилось, глаза загорелись.

- Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит и стонет (ведь четырехлетние мальчики понимают), а у меня все эта мысль про компот не отстает. Утром я послала письмо к одному человеку, чтобы непременно пришел ко мне. Он пришел, а я ему вдруг рассказала про мальчика и про компот, все рассказала, все, и сказала, что "это хорошо". Он вдруг засмеялся и сказал, что это в самом деле хорошо. Затем встал и ушел. Всего пять минут сидел. Презирал он меня, презирал? Говорите, говорите, Алеша, презирал он меня или нет? - выпрямилась она на кушетке, засверкав глазами.

- Скажите, - проговорил в волнении Алеша, - вы сами его позвали, этого человека?

- Сама.

- Письмо ему послали?

- Письмо.

- Собственно про это спросить, про ребенка?
- Нет, совсем не про это, совсем. А как он вошел, я сейчас про это и спросила. Он ответил, засмеялся, встал и ушел.
- Этот человек честно с вами поступил, - тихо проговорил Алеша.
- А меня презирал? Смеялся?
- Нет, потому что он сам, может, верит ананасному компоту. Он тоже очень теперь болен. Lise.
- Да, верит! - засверкала глазами Лиза.
- Он никого не презирает, - продолжал Алеша. - Он только никому не верит. Коль не верит, то конечно и презирает.
- Стало быть и меня? меня?
- И вас.
- Это хорошо, - как-то проскрежетала Лиза. - Когда он вышел и засмеялся, я почувствовала, что в презрении быть хорошо. И мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в презрении быть хорошо...

И она как-то злобно и воспаленно засмеялась Алеше в глаза.

- Знаете, Алеша, знаете, я бы хотела... Алеша, спасите меня! - вскопчила она вдруг с кушетки, бросилась к нему и крепко обхватила его руками. - Спасите меня, - почти простонала она. - Разве я кому-нибудь в мире скажу, что вам говорила? А ведь я правду, правду, правду говорила! Я убью себя, потому что мне все гадко! Я не хочу жить, потому что мне все гадко! Мне все гадко, все гадко! Алеша, зачем вы меня совсем, совсем не любите! - закончила она в иступлении.

- Нет, люблю! - горячо ответил Алеша.

- А будете обо мне плакать, будете?

- Буду.

- Не за то, что я вашей женой не захотела быть, а просто обо мне плакать, просто?

- Буду.

- Спасибо! Мне только ваших слез надо. А все остальные пусть казнят меня и раздавят ногой, все, все, не исключая никого. Потому что я не люблю никого. Слышите, ни-ко-го! Напротив, ненавижу! Ступайте, Алеша, вам пора к брату! - оторвалась она от него вдруг.

- Как же вы останетесь? - почти в испуге проговорил Алеша.

- Ступайте к брату, острог запрут, ступайте, вот ваша шляпа! Поцелуйте Митю, ступайте, ступайте!

И она с силой почти выпихнула Алешу в двери. Тот смотрел с горестным недоумением, как вдруг почувствовал в своей правой руке письмо, маленькое письмецо, твердо сложенное и запечатанное. Он взглянул и мгновенно прочел адрес: Ивану Федоровичу Карамазову. Он быстро поглядел на Лизу. Лицо ее сделалось почти грозно.

- Передайте, непременно передайте! - иступленно, вся сотрясаясь, приказывала она, - сегодня, сейчас! Иначе я отравлюсь! Я вас затем и звала!

И быстро захлопнула дверь. Щелкнула щеколда. Алеша положил письмо в карман и пошел прямо на лестницу, не заходя к госпоже Хохлаковой, даже забыв о ней. А Лиза, только что удалился Алеша, тотчас же отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в щель свой палец и, захлопнув дверь, изо всей силы придавила его. Секунд через десять, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села, вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на выдавившуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро, быстро шептала про себя:

- Подлая, подлая, подлая, подлая!

IV. ГИМН И СЕКРЕТ.

Было уже совсем поздно (да и велик ли ноябрьский день), когда Алеша позвонил у ворот острога. Начинало даже смеркаться. Но Алеша знал, что его пропустят к Мите беспрепятственно. Все это у нас, в нашем городке, как и везде. Сначала, конечно, по заключении всего предварительного следствия, доступ к Мите для свидания с родственниками и с некоторыми другими лицами все же был обставлен некоторыми необходимыми формальностями, но впоследствии

формальности не то что ослабели, но для иных лиц по крайней мере, приходивших к Мите, как-то сами собой установились некоторые исключения. До того что иной раз даже и свидания с заключенным в назначенной для того комнате происходили почти между четырех глаз. Впрочем таких лиц было очень немного: всего только Грушенька, Алеша и Ракин. Но к Грушеньке очень благоволил сам исправник Михаил Макарович. У старика лежал на сердце его окрик на нее в Мокром. Потом, узнав всю суть, он изменил совсем о ней свои мысли. И странное дело: хотя был твердо убежден в преступлении Мити, но со времени заключения его все как-то более и более смотрел на него мягче: "с хорошею может быть душой был человек, а вот пропал как швед, от пьянства и беспорядка!" Прежний ужас сменился в сердце его какою-то жалостью. Что же до Алеши, то исправник очень любил его и давно уже был с ним знаком, а Ракин, повадившийся впоследствии приходиться очень часто к заключенному, был одним из самых близких знакомых "исправничьих барышень", как он называл их, и ежедневно терся в их доме. У смотрителя же острога, благодушного старика, хотя и крепкого служаки, он давал в доме уроки. Алеша же опять-таки был особенный и стародавний знакомый и смотрителя, любившего говорить с ним вообще о "премудрости". Ивана Федоровича, например, смотритель не то что уважал, а даже боялся, главное, его суждений, хотя сам был большим философом, разумеется, "своим умом дойдя". Но к Алеше в нем была какая-то непобедимая симпатия. В последний год старик как раз засел за апокрифические евангелия и поминутно сообщал о своих впечатлениях своему молодому другу. Прежде даже заходил к нему в монастырь и толковал с ним и с иеромонахами по целым часам. Словом, Алеше, если бы даже он и запоздал в острог, стоило пройти к смотрителю, и дело всегда улаживалось. К тому же к Алеше все до последнего сторожа в остроге привыкли. Караул же конечно не стеснял, было бы лишь дозволение начальства. Митя из своей каморки, когда вызывали его, сходил всегда вниз в место, назначенное для свиданий. Войдя в комнату, Алеша как раз столкнулся с Ракиным, уже уходившим от Мити. Оба они громко говорили. Митя, провожая его, чему-то очень смеялся, а Ракин как будто ворчал. Ракин, особенно в последнее время, не любил встречаться с Алешей, почти не говорил с ним, даже и раскланивался с натугой. Завидя теперь входящего Алешу, он особенно нахмурил брови и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием своего большого теплого с меховым воротником пальто. Потом тотчас же принялся искать свой зонтик.

- Своего бы не забыть чего, - пробормотал он единственно, чтобы что-нибудь сказать.

- Ты чужого-то чего не забудь! - сострил Митя и тотчас же сам расхохотался своей остроте. Ракин мигом вспылел.

- Ты это своим Карамазовым рекомандуй, крепостничье ваше отродье, а не Ракину! - крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости.

- Чего ты? Я пошутил! - вскрикнул Митя, - фу, чорт! Вот они все таковы, - обратился он к Алеше, кивая на быстро уходившего Ракина, - то все сидел, смеялся и весел был, а тут вдруг и вскипел! Тебе даже и головой не кивнул, совсем что ли вы рассорились? Что ты так поздно? Я тебя не то что ждал, а жаждал все утро. Ну да ничего! Наверстаем.

- Что он к тебе так часто повадился? Подружился ты с ним что ли? - спросил Алеша, кивая тоже на дверь, в которую убрался Ракин.

- С Михаилом-то подружился? Нет, не то чтоб. Да и чего, свинья! Считает, что я... подлец. Шутки тоже не понимают - вот что в них главное. Никогда не поймут шутки. Да и сухо у них в душе, плоско и сухо, точно как я тогда к острогу подъезжал и на острожные стены смотрел. Но умный человек, умный. Ну, Алексей, пропала теперь моя голова!

Он сел на скамейку и посадил с собою рядом Алешу.

- Да, завтра суд. Что ж, неужели же ты так совсем не надеешься, брат? - с робким чувством проговорил Алеша.

- Ты это про что? - как-то неопределенно глянул на него Митя, - ах, ты про суд! Ну, чорт! Мы до сих пор все с тобой о пустяках говорили, вот все про этот суд, а я об самом главном с тобой молчал. Да, завтра суд, только я не про суд сказал, что пропала моя голова. Голова не пропала, а то, что в голове сидело, то пропало. Что ты на меня с такою критикой в лице смотришь?

- Про что ты это, Митя?

- Идеи, идеи, вот что! Эфика. Это что такое эфика?

- Эфика? - удивился Алеша.

- Да, наука что ли какая?

- Да, есть такая наука... только... я, признаюсь, не могу тебе объяснить какая наука.

- Ракитин знает. Много знает Ракитин, чорт его дери! В монахи не пойдет. В Петербург собирается. Там, говорит, в отделение критики, но с благородством направления. Что ж, может пользу принести и карьере устроить. Ух, карьере они мастера! Чорт с эфикой! Я-то пропал, Алексей, я-то, божий ты человек! Я тебя больше всех люблю. Сотрясается у меня сердце на тебя, вот что. Какой там был Карл Бернар?

- Карл Бернар? - удивился опять Алеша.

- Нет, не Карл, постой соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия что ли?

- Это должно быть ученый один, - ответил Алеша, - только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю.

- Ну и чорт его дери, и я не знаю, - обругался Митя. - Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!

- Да что с тобой? - настойчиво спросил Алеша.

- Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: "дескать, нельзя было ему не убить, заеден средой" и проч., объяснял мне. С оттенком социализма, говорит, будет. Ну и чорт его дери, с оттенком, так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидим тебя тоже не жалуется. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень однако. Я ему сейчас вот говорил: "Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учился, а не философ, ты смерд". Смеется, злобно так. А я ему: де мыслибус non est disputandum, хороша острота? По крайней мере и я в классицизм вступил, - захохотал вдруг Митя.

- Отчего ты пропал-то? Вот ты сейчас сказал? - перебил Алеша.

- Отчего пропал? Гм! В сущности... если все целое взять - бога жалко, вот от чего !

- Как бога жалко?

- Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы... (ну чорт их возьми!) есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат... то есть видишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент, - чорт его дери момент, - а образ, то есть предмет, али происшествие, ну там чорт дери - вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... А все-таки бога жалко!

- Ну и то хорошо, - сказал Алеша.

- Что бога-то жалко! Химия, брат, химия! Нечего делать, ваше преподобие, подвиньтесь немножко, химия идет! А не любит бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. "Что же, будешь это проводить в отделении критики?" спрашиваю. - "Ну явно-то не дадут", говорит, смеется. - "Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без бога-то и без будущей жизни? Ведь это стало быть теперь все позволено, все можно делать?" - "А ты и не знал?" говорит. Смеется. - "Умному, говорит, человеку все можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты, говорит, убил и влопался, и в тюрьме гниешь!" Это он мне-то говорит. Свинья естественная! Я этаких прежде вон вышвыривал, ну а теперь слушаю. Много ведь и дельного говорит. Умно тоже пишет. Он мне с неделю назад статью одну начал читать, я там три строки тогда нарочно выписал, вот постой, вот здесь.

Митя, спеша, вынул из жилетного кармана бумажку и прочел:

"Чтоб разрешить этот вопрос, необходимо прежде всего поставить свою личность в разрез со своею действительностью."

- Понимаешь или нет?

- Нет, не понимаю, - сказал Алеша.

Он с любопытством приглядывался к Мите и слушал его.

- И я не понимаю. Темно и неясно, зато умно. "Все, говорит, так теперь пишут, потому что такая уж среда"... Среды боятся. Стихи тоже пишет, подлец, Хохлаковой ножку воспел, ха-ха-ха!

- Я слышал, - сказал Алеша.

- Слышал? А стишонки слышал?

- Нет.

- У меня они есть, вот, я прочту. Ты не знаешь, я тебе не рассказывал, тут целая история. Шельма! Три недели назад меня дразнить вздумал: "Ты, вот, говорит, влопался как дурак, из-за трех тысяч, а я полтораста их тяпну, на вдовице одной женюсь и каменный дом в Петербурге куплю". И рассказал мне, что строит куры Хохлаковой, а та и смолоду умна не была, а в сорок-то лет и совсем ума решилась. "Да чувствительна, говорит, уж очень, вот я ее на том и добыю. Женюсь, в Петербург ее отвезу, а там газету издавать начну". И такая у него скверная сладострастная слюна на губах, - не на Хохлакову слюна, а на полтораста эти тысяч. И уверил меня, уверил; все ко мне ходит, каждый день: поддается, говорит. Радостью сиял. А тут вдруг его и выгнали: Перхотин Петр Ильич взял верх, молодец! То есть так бы и расцеловал эту дурищу за то, что его прогнала! Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. "В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу, для оболъщения, значит, для полезного дела. Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу". У них ведь всякой мерзости гражданское оправдание есть! "А все-таки, говорит, лучше твоего Пушкина написал, потому что и в шутовской стишок сумел гражданскую скорбь всучить". Это что про Пушкина-то - я понимаю. Что же, если в самом деле способный был человек, а только ножки описывал! Да ведь гордился-то стишонками как! Самолюбие-то у них, самолюбие! "На выздоровление больной ножки моего предмета" - это он такое заглавие придумал, - резвый человек!

Уж какая ж эта ножка,
Ножка, вспухшая немножко!
Доктора к ней ездят, лечат
И бинтуют и калечат.

Не по ножкам я тоскую, -
Пусть их Пушкин воспевает:
По головке я тоскую,
Что идей не понимает.

Понимала уж немножко,
Да вот ножка помешала!
Пусть же вылечится ножка,
Чтоб головка понимала.

Свинья, чистая свинья, а игриво у мерзавца вышло! И действительно "гражданскую"-то всучил. А как рассердился, когда его выгнали. Скрежетал!

- Он уже отмстил, - сказал Алеша. - Он про Хохлакову корреспонденцию написал.

И Алеша рассказал ему наскоро о корреспонденции в газете Слухи.

- Это он, он! - подтвердил Митя нахмурившись, - это он! Эти корреспонденции... я ведь знаю... т. е. сколько низостей было уже написано, про Грушу например!.. И про ту тоже, про Катю... Гм!

Он озабочено прошелся по комнате.

- Брат, мне нельзя долго оставаться, - сказал помолчав Алеша. - Завтра ужасный, великий день для тебя: божий суд над тобой совершится... и вот я удивляюсь, ходишь ты и вместо дела говоришь бог знает о чем...

- Нет, не удивляйся, - горячо перебил Митя. - Что же мне о смердящем этом псе говорить, что ли? Об убийце? Довольно мы с тобой об этом переговорили. Не хочу больше о смердящем, сыне Смердящей! Его бог убьет, вот увидишь, молчи!

Он в волнении подошел к Алеше и вдруг поцеловал его. Глаза его загорелись.

- Ракитин этого не поймет, - начал он весь как бы в каком-то восторге, - а ты, ты все поймешь. Оттого и жаждал тебя. Видишь, я давно хотел тебе многое здесь в этих облезлых стенах выразить, но молчал о главнейшем: время как будто все еще не приходило. Дождался теперь последнего срока, чтобы тебе душу вылить. Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека

ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, – не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землей, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце, и сойтись с ним, потому что и там можно жить и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда приснилось "дите" в такую минуту? "Отчего бедно дите?" Это пророчество мне было в ту минуту! За "дите" и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех "дите", потому что есть малые дети и большие дети. Все – "дите". За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти. Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю! Мне это здесь все пришло... вот в этих облезлых стенах. А их ведь много, их там сотни, подземных-то, с молотками в руках. О, да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а богу быть, ибо бог дает радость, это его привилегия, великая... Господи, ист[ААСУТЕ]й человек в молитве! Как я буду там под землей без бога? Врет Ракидин: если бога с земли изгонят, мы под землей его сретим! Каторжному без бога быть невозможно, невозможнее даже, чем не каторжному! И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость! Люблю его!

Митя, произнося свою дикую речь, почти задышался. Он побледнел, губы его вздрагивали, из глаз катились слезы,

– Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землей! – начал он опять. – Ты не поверишь, Алексей, как я теперь жить хочу, какая жажда существовать и сознавать, именно в этих облезлых стенах, во мне зародилась! Ракидин этого не понимает, ему бы только дом выстроить да жильцов пустить, но я ждал тебя. Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно. Теперь не боюсь, прежде боялся. Знаешь, я может быть не буду и отвечать на суде... И кажется столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысячи мук – я есмь, в пытке корчусь – но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце – это уже вся жизнь. Алеша, херувим ты мой, меня убивают разные философии, чорт их дер! Брат Иван...

– Что брат Иван? – перебил было Алеша, но Митя не расслышал.

– Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких не имел, но все во мне это таилось. Именно может оттого, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и бесился. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтоб их усмирить, сдавить. Брат Иван не Ракидин, он таит идею. Брат Иван сфинкс, и молчит, все молчит. А меня бог мучит. Одно только это и мучит. А что как его нет? Что если прав Ракидин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоеет? Ракидин смеется. Ракидин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну это сморчек сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракидину: "ты, говорит он мне сегодня, о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше, али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями". Я ему на это и отмочил: "А ты, говорю, без бога-то сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку". Рассердился. Ибо что такое добродетель? – отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая – вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная? Вопрос коварный! Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого. Я удивляюсь теперь только тому, как люди там живут и об этом ничего не думают. Суета! У Ивана бога нет. У него идея. Не в моих размерах. Но он молчит. Я думаю, он масон. Я его спрашивал – молчит. В руднике у него хотел водицы испить – молчит. Один только раз одно словечко сказал.

– Что сказал? – поспешно поднял Алеша.

- Я ему говорю: стало быть, все позволено, коли так? - Он нахмурился: "Федор Павлович, говорит, папенька наш, был поросенок, но мыслил он правильно". Вот ведь что отмочил. Только всего и сказал. Это уже почище Ракитина.

- Да, - горько подтвердил Алеша. - Когда он у тебя был?

- Об этом после, теперь другое. Я об Иване не говорил тебе до сих пор почти ничего. Откладывал до конца. Когда эта штука моя здесь кончится и скажут приговор, тогда тебе кое-что расскажу, все расскажу. Страшное тут дело одно... А ты будешь мне судья в этом деле. А теперь и не начинай об этом, теперь молчок. Вот ты говоришь об завтрашнем, о суде, а веришь ли, я ничего не знаю.

- Ты с этим адвокатом говорил?

- Что адвокат! Я ему про все говорил. Мягкая шельма, столичная. Бернар! Только не верит мне ни на сломанный грош. Верит, что я убил, вообрази себе, - уж я вижу. "Зачем же, спрашиваю, в таком случае вы меня защищать приехали?" Наплевать на них. Тоже доктора выписали, сумасшедшим хотят меня показать. Не позволю! Катерина Ивановна "свой долг" до конца исполнить хочет. С натуги! (Митя горько усмехнулся.) Кошка! Жестокое сердце! А ведь она знает, что я про нее сказал тогда в Мокром, что она: "великого гнева" женщина! Передали. Да, показания умножились как песок морской! Григорий стоит на своем. Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. Это - мысль Ракитина. Григорий мне враг. Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. Говорю это про Катерину Ивановну. Боюсь, ох, боюсь, что она на суде расскажет про земной поклон после четырех-то тысяч пятаков! До конца оплатит, последний кадант. Не хочу ее жертвы! Устыдят они меня на суде! Как-то вытерплю. Сходи к ней, Алеша, попроси ее, чтобы не говорила этого на суде. Аль нельзя? Да чорт, все равно, вытерплю! А ее не жаль. Сама желает. Поделом вору мука. Я, Алексей, свою речь скажу. (Он опять горько усмехнулся.) Только... только Груша-то, Груша-то, господи! Она-то за что такую муку на себя теперь примет? - воскликнул он вдруг со слезами. - Убивает меня Груша, мысль о ней убивает меня, убивает! Она давеча была у меня...

- Она мне рассказывала. Она очень была сегодня тобою огорчена.

- Знаю. Чорт меня дери за характер. Приревновал! Отпуская раскаялся, целовал ее. Прощенья не попросил.

- Почему не попросил? - воскликнул Алеша.

Митя вдруг почти весело рассмеялся.

- Боже тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за вину свою прощения просить! У любимой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват! Потому женщина - это, брат, чорт знает что такое, уж в них-то я по крайней мере знаю толк! Ну попробуй пред ней сознаться в вине, "виноват дескать, прости, извини": тут-то и пойдет град попреков! Ни за что не простит прямо и просто, а унизит тебя до тряпки, вычитает, чего даже не было, все возьмет, ничего не забудет, своего прибавит, и тогда уж только простит. И это еще лучшая, лучшая из них! Последние поскребки выскребет и все тебе на голову сложит - такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых жить-то нам невозможно! Видишь, голубчик, я откровенно и просто скажу: всякий порядочный человек должен быть под башмаком хоть у какой-нибудь женщины. Таково мое убеждение; не убеждение, а чувство. Мужчина должен быть великодушен, и мужчину это не замарают. Героя даже не замарают, Цезаря не замарают! Ну, а прощения все-таки не проси, никогда и ни за что. Помни правило: преподал тебе его брат твой Митя, от женщин погибший. Нет, уж я лучше без прощения Груше чем-нибудь заслужу. Благоговею я пред ней, Алексей, благоговею! Не видит только она этого, нет, все ей мало любви. И томит она меня, любовью томит. Что прежде! прежде меня только изгибы inferнальные томили, а теперь я всю ее душу в свою душу принял и через нее сам человеком стал! Повенчают ли нас? А без того я умру от ревности. Так и снится что-нибудь каждый день... Что она тебе обо мне говорила?

Алеша повторил все давешние речи Грушеньки. Митя выслушал подробно, многое переспросил, и остался доволен.

- Так не сердится, что ревную, - воскликнул он. - Прямо женщина! "У меня у самой жестокое сердце". Ух, люблю таких, жестоких-то, хотя и не терплю, когда меня ревнуют, не терплю! Драться будем. Но любить - любить ее

буду бесконечно. Повенчают ли нас? Каторжных разве венчают? Вопрос. А без нее я жить не могу...

Митя нахмуренно прошелся по комнате. В комнате становилось почти темно. Он вдруг стал страшно озабочен.

- Так секрет, говорит, секрет? У меня дескать втроем против нее заговор, и "Катя" дескать замешана? Нет, брат, Грушенька, это не то. Ты тут маху дала, своего глупенького женского маху! Алеша, голубчик, эх куда ни шло! Открою я тебе наш секрет!

Он оглянулся во все стороны, быстро вплоть подошел к стоявшему пред ним Алеше и зашептал ему с таинственным видом, хотя по настоящему их никто не мог слышать: старик сторож дремал в углу на лавке, а до караульных солдат ни слова не долетало.

- Я тебе всю нашу тайну открою! - зашептал спеша Митя. - Хотел потом открыть, потому что без тебя разве могу на что решиться? Ты у меня все. Я хоть и говорю, что Иван над нами высший, но ты у меня херувим. Только твое решение решит. Может ты-то и есть высший человек, а не Иван. Видишь, тут дело совести, дело высшей совести, - тайна столь важная, что я справиться сам не смогу и все отложил до тебя. А все-таки теперь рано решать, потому надо ждать приговора: приговор выйдет, тогда ты и решишь судьбу. Теперь не решай; я тебе сейчас скажу, ты услышишь, но не решай. Стой и молчи. Я тебе не все открою. Я тебе только идею скажу, без подробностей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движения, согласен? А впрочем, господи, куда я дену глаза твои? Боюсь, глаза твои скажут решение, хотя бы ты и молчал. Ух, боюсь! Алеша, слушай: брат Иван мне предлагает бежать. Подробностей не говорю: все предупреждено, все может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с Грушей. Ведь я без Груши жить не могу! Ну как ее ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без Груши что я там под землей с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком! А с другой стороны, совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание - отверг указание, был путь очищения - поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке "при добрых наклонностях" можно больше пользы принести, чем под землей. Ну, а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суэта! Да и мошенничества тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятия убежал! Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто, для других это глупости, бред, вот все то, что, я тебе про гимн говорил. Скажут, с ума сошел, аль дурак. А я не сошел с ума, да и не дурак. Понимает про гимн и Иван, ух, понимает, только на это не отвечает, молчит. Гимну не верит. Не говори, не говори: я ведь вижу, как ты смотришь: Ты уж решил! Не решай, пощади меня, я без Груши жить не могу, подожди суда!

Митя кончил как исступленный. Он держал Алешу обеими руками за плечи и так и впился в его глаза своим жаждущим, воспаленным взглядом.

- Каторжных разве венчают? - повторил он в третий раз, молящим голосом. Алеша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был потрясен.

- Скажи мне одно, - проговорил он: - Иван очень настаивает, и кто это выдумал первый?

- Он, он выдумал, он настаивает! Он ко мне все не ходил, и вдруг пришел неделю назад и прямо с этого начал. Страшно настаивает. Не просит, а велит. В послушании не сомневается, хотя я ему все мое сердце как тебе вывернул и про гимн говорил. Он мне рассказал, как и устроит, все сведения собрал, но это потом. До истерики хочет. Главное деньги: десять тысяч, говорит, тебе на побег, а двадцать тысяч на Америку, а на десять тысяч, говорит, мы великолепный побег устроим.

- И мне отнюдь не велел передавать? - переспросил снова Алеша.

- Отнюдь, никому, а главное тебе: тебе ни за что! Боится верно, что ты как совесть предо мной станешь. Не говори ему, что я тебе передал. Ух, не говори!

- Ты прав, - решил Алеша, - решить невозможно раньше приговора суда. После суда сам и решишь; тогда сам в себе нового человека найдешь, он и решит.

- Нового человека, аль Бернара, тот и решит по-Бернаровски! Потому, кажется, я и сам Бернар презренный! - горько осклабился Митя.

- Но неужели, неужели, брат, ты так уж совсем не надеешься оправдаться? Митя судорожно вскинул вверх плечами и отрицательно покачал головой.

- Алеша, голубчик, тебе пора! - вдруг заспешил он. - Смотритель закричал на дворе, сейчас сюда будет. Нам поздно, беспорядок. Обними меня поскорей, поцелуй, перекрести меня, голубчик, перекрести на завтрашний крест...

Они обнялись и поцеловались.

- А Иван-то, - проговорил вдруг Митя, - бежать-то предложил, а сам ведь верит, что я убил!

Грустная усмешка выдавилась на его губах.

- Ты спрашивал его: верит он или нет? - спросил Алеша.

- Нет, не спрашивал. Хотел спросить, да не смог, силы не хватило. Да все равно, я ведь по глазам вижу. Ну прощай!

Еще раз поцеловались наскоро, и Алеша уже было вышел, как вдруг Митя кликнул его опять:

- Становись предо мной, вот так.

И он опять крепко схватил Алешу обеими руками за плечи. Лицо его стало вдруг совсем бледно, так что почти в темноте это было страшно заметно. Губы перекошились, взгляд впился в Алешу.

- Алеша, говори мне полную правду, как пред господом богом: веришь ты, что я убил, или не веришь? Ты-то, сам-то ты, веришь или нет? Полную правду, не лги! - крикнул он ему исступленно.

Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его, он слышал это, как бы прошло что-то острое.

- Полно, что ты... - пролепетал было он как потерянный.

- Всю правду, всю, не лги! - повторил Митя.

- Ни единой минуты не верил, что ты убийца, - вдруг вырвалось дрожащим голосом из груди Алеши, и он поднял правую руку вверх, как бы призывая бога в свидетели своих слов. Блаженство озарило мгновенно все лицо Мити.

- Спасибо тебе! - выговорил он протяжно, точно испуская вздох после обморока. - Теперь ты меня возродил... Веришь ли: до сих пор боялся спросить тебя, это тебя-то, тебя! Ну иди, иди! Укрепил ты меня на завтра, благослови тебя бог! Ну, ступай, люби Ивана! - вырвалось последним словом у Мити.

Алеша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алеше - все это вдруг раскрыло пред Алешей такую бездну безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде. Глубокое, бесконечное сострадание вдруг охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его страшно болело. "Люби Ивана!" вспомнились ему вдруг сейчасные слова Мити. Да он и шел к Ивану. Ему еще утром страшно надо было видеть Ивана. Не менее как Митя его мучил Иван, а теперь, после свидания с братом, более чем когда-нибудь.

V. НЕ ТЫ, НЕ ТЫ!

По дороге к Ивану пришлось ему проходить мимо дома, в котором квартировала Катерина Ивановна. В окнах был свет. Он вдруг остановился и решил войти. Катерину Ивановну он не видал уже более недели. Но ему теперь пришло на ум, что Иван может быть сейчас у ней, особенно накануне такого дня. Позвонив и войдя на лестницу, тускло освещенную китайским фонарем, он увидал спускавшегося сверху человека, в котором, поравнявшись, узнал брата. Тот стало быть выходил уже от Катерины Ивановны.

- Ах, это только ты, - сказал сухо Иван Федорович. - Ну прощай. Ты к ней?

- Да.

- Не советую, она "в волнении", и ты еще пуще ее расстроишь.

- Нет, нет! - прокричал вдруг голос сверху из отворившейся мигом двери.

- Алексей Федорович, вы от него?

- Да, я был у него.

- Мне что-нибудь прислал сказать? Войдите, Алеша, и вы, Иван Федорович, непременно, непременно воротитесь. Слы-ши-те!

В голосе Кати зазвучала такая повелительная нотка, что Иван Федорович, помедлив одно мгновение, решился однако же подняться опять, вместе с Алешей.

- Подслушивала! - раздражительно прошептал он про себя. но Алеша

расслышал.

- Позвольте мне остаться в пальто, - проговорил Иван Федорович, вступая в залу. - Я и не сяду. Я более одной минуты не останусь.

- Садитесь, Алексей Федорович, - проговорила Катерина Ивановна, сама оставаясь стоя. Она изменилась мало за это время, но темные глаза ее сверкали зловещим огнем. Алеша помнил потом, что она показалась ему чрезвычайно хороша собой в ту минуту.

- Что ж он велел передать?

- Только одно, - сказал Алеша, прямо смотря ей в лицо: - чтобы вы щадили себя и не показывали ничего на суде о том (он несколько замялся)... что было между вами... во время самого первого вашего знакомства... в том городе...

- А, это про земной поклон за те деньги! - подхватила она, горько рассмеявшись. - Что ж, он за себя или за меня боится - а? Он сказал, чтоб я щадила - кого же? Его или себя? Говорите, Алексей Федорович.

Алеша всматривался пристально, стараясь понять ее.

- И себя, и его, - проговорил он тихо.

- То-то, - как-то злобно отчеканила она и вдруг покраснела.

- Вы не знаете еще меня, Алексей Федорович, - грозно сказала она, - да и я еще не знаю себя. Может быть вы захотите меня растоптать ногами после завтрашнего допроса.

- Вы покажете честно, - сказал Алеша, - только этого и надо.

- Женщина часто бесчестна, - проскрежетала она. - Я еще час тому думала, что мне страшно дотронуться до этого изверга... как до гада... и вот нет, он все еще для меня человек! Да убил ли он? Он ли убил? - воскликнула она вдруг истерически, быстро обращаясь к Ивану Федоровичу. Алеша мигом понял, что этот самый вопрос она уже задавала Ивану Федоровичу, может всего за минуту пред его приходом, и не в первый раз, а в сотый, и что кончили они ссорой.

- Я была у Смердякова... Это ты, ты убедил меня, что он отцеубийца. Я только тебе и поверила! - продолжала она, все обращаясь к Ивану Федоровичу. Тот, как бы с натуги, усмехнулся. Алеша вздрогнул, услышав это ты. Он и подозревать не мог таких отношений.

- Ну, однако довольно, - отрезал Иван. - Я пойду. Приду завтра. - И тотчас же повернувшись, вышел из комнаты и прошел прямо на лестницу. Катерина Ивановна вдруг с каким-то повелительным жестом схватила Алешу за обе руки.

- Ступайте за ним! Догоните его! Не оставляйте его одного ни минуты, - быстро зашептала она. - Он помешанный. Вы не знаете, что он помешался? У него горячка, нервная горячка! Мне доктор говорил, идите, бегите за ним...

Алеша вскочил и бросился за Иваном Федоровичем. Тот не успел отойти и пятидесяти шагов.

- Чего тебе? - вдруг обернулся он к Алеше, видя, что тот его догоняет: - велела тебе бежать за мной, потому что я сумасшедший. Знаю наизусть, - раздражительно прибавил он.

- Она, разумеется, ошибается, но она права, что ты болен, - сказал Алеша. - Я сейчас смотрел у ней на твое лицо: у тебя очень больное лицо, очень, Иван!

Иван шел не останавливаясь. Алеша за ним.

- А ты знаешь, Алексей Федорович, как сходят с ума? - спросил Иван совсем вдруг тихим, совсем уже не раздражительным голосом, в котором внезапно послышалось самое простодушное любопытство.

- Нет, не знаю; полагаю, что много разных видов сумасшествия.

- А над самим собой можно наблюдать, что сходишь с ума?

- Я думаю, нельзя ясно следить за собой в таком случае, - с удивлением отвечал Алеша. Иван на полминутки примолк.

- Если ты хочешь со мной о чем говорить, то перемени пожалуйста тему, - сказал он вдруг.

- А вот, чтобы не забыть, к тебе письмо, - робко проговорил Алеша и, вынув из кармана, протянул к нему письмо Лизы. Они как раз подошли к фонарю. Иван тотчас же узнал руку.

- А, это от того бесенка! - рассмеялся он злобно и, не распечатав конверта, вдруг разорвал его на несколько кусков и бросил на ветер. Ключья разлетелись.

- Шестнадцать лет еще нет, кажется, и уж предлагается! - презрительно проговорил он, опять зашагав по улице.

- Как предлагается? - воскликнул Алеша.

- Известно, как развратные женщины предлагаются.

- Что ты, Иван, что ты? - горестно и горячо заступился Алеша. - Это ребенок, ты обижаешь ребенка! Она больна, она сама очень больна, она тоже может быть с ума сходит... Я не мог тебе не передать ее письма... Я, напротив, от тебя хотел что услышать... чтобы спасти ее.

- Нечего тебе от меня слышать. Коль она ребенок, то я ей не нянька. Молчи, Алексей. Не продолжай. Я об этом даже не думаю.

Помолчали опять с минуту.

- Она теперь всю ночь молить божию мать будет, чтоб указала ей, как завтра на суде поступить, - резко и злобно заговорил он вдруг опять.

- Ты... ты об Катерине Ивановне?

- Да. Спасительницей или губительницей Митеньки ей явиться? О том молить будет, чтоб озарило ее душу. Сама еще, видите ли, не знает, приготовиться не успела. Тоже меня за няньку принимает, хочет, чтоб я ее убаюкал!

- Катерина Ивановна любит тебя, брат, - с грустным чувством проговорил Алеша.

- Может быть. Только я до нее не охотник.

- Она страдает. Зачем же ты ей говоришь... иногда... такие слова, что она надеется? - с робким упреком продолжал Алеша: - ведь я знаю, что ты ей подавал надежду, прости, что я так говорю, - прибавил он.

- Не могу я тут поступить как надо, разорвать и ей прямо сказать! - раздражительно произнес Иван. - Надо подождать, пока скажут приговор убийце. Если я разорву с ней теперь, она из мщения ко мне завтра же погубит этого негодяя на суде, потому что его ненавидит и знает, что ненавидит. Тут все ложь, ложь на лжи! Теперь же, пока я с ней не разорвал, она все еще надеется и не станет губить этого изверга, зная, как я хочу вытащить его из беды. И когда только придет этот проклятый приговор!

Слова "убийца" и "изверг" больно отозвались в сердце Алеши.

- Да чем таким она может погубить брата? - спросил он, вдумываясь в слова Ивана. - Что она может показать такого, что прямо могло бы сгубить Митю?

- Ты этого еще не знаешь. У нее в руках один документ есть, собственноручный, Митенькин, математически доказывающий, что он убил Федора Павловича.

- Этого быть не может! - воскликнул Алеша.

- Как не может? Я сам читал.

- Такого документа быть не может! - с жаром повторил Алеша, - не может быть, потому что убийца не он. Не он убил отца, не он!

Иван Федорович вдруг остановился.

- Кто же убийца по-вашему, - как-то холодно повидимому спросил он, и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.

- Ты сам знаешь кто, - тихо и проникновенно проговорил Алеша.

- Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об Смердякове?

Алеша вдруг почувствовал, что весь дрожит.

- Ты сам знаешь кто, - бессильно вырвалось у него. Он задыхался.

- Да кто, кто? - уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла.

- Я одно только знаю, - все так же почти шепотом проговорил Алеша: - Убил отца не ты.

- "Не ты!" Что такое не ты? - остолбенел Иван.

- Не ты убил отца, не ты! - твердо повторил Алеша. С полминуты длилось молчание.

- Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь? - бледно и искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у фонаря.

- Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты.

- Когда я говорил?.. Я в Москве был... Когда я говорил? - совсем потерянно пролепетал Иван.

- Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные

два месяца, – попережнему тихо и раздельно продолжал Алеша. Но говорил он уже как бы вне себя. как бы не своею волей, повинясь какому-то непреодолимому велению. – Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня бог послал тебе это сказать.

– Оба замолчали. Целую длинную минуту протянулось это молчание. Оба стояли и все смотрели друг другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь затрясся и крепко схватил Алешу за плечо.

– Ты был у меня! – скрежещущим шепотом проговорил он. – Ты был у меня ночью, когда он приходил... Признавайся... ты его видел, видел?

– Про кого ты говоришь... про Митю? – в недоумении спросил Алеша.

– Не про него, к чорту изверга! – исступленно завопил Иван. – Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? Как ты узнал, говори!

– Кто он? Я не знаю, про кого ты говоришь, – пролепетал Алеша уже в испуге.

– Нет, ты знаешь... иначе как же бы ты... не может быть, чтобы ты не знал...

Но вдруг он как бы сдержал себя. Он стоял и как бы что-то обдумывал. Странная усмешка кривила его губы.

– Брат, – дрожащим голосом начал опять Алеша, – я сказал тебе это потому, что ты моему слову поверишь, я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал: не ты! Слышишь, на всю жизнь. И это бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня...

Но Иван Федорович повидимому совсем уже успел овладеть собой.

– Алексей Федорович, – проговорил он с холодною усмешкой, – я пророков и эпилептиков не терплю; посланников божиих особенно, вы это слишком знаете. С сей минуты я с вами разрываю и, кажется, навсегда. Прошу сей же час. на этом же перекрестке, меня оставить. Да вам и в квартиру по этому проулку дорога. Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня! Слышите?

Он повернулся и, твердо шагая, пошел прямо не оборачиваясь.

– Брат, – крикнул ему вслед Алеша, – если что-нибудь сегодня с тобой случится, подумай прежде всего обо мне!..

Но Иван не ответил. Алеша стоял на перекрестке у фонаря, пока Иван не скрылся совсем во мраке. Тогда он повернул и медленно направился к себе по переулку. И он, и Иван Федорович квартировали особо, на разных квартирах: ни один из них не захотел жить в опустевшем доме Федора Павловича. Алеша нанимал меблированную комнату в семействе одних мещан; Иван же Федорович жил довольно от него далеко и занимал просторное и довольно комфортное помещение во флигеле одного хорошего дома, принадлежавшего одной небедной вдове-чиновнице. Но прислуживала ему в целом флигеле всего только одна древняя, совсем глухая старушонка, вся в ревматизмах, ложившаяся в шесть часов вечера и встававшая в шесть часов утра. Иван Федорович стал до странности в эти два месяца нетребователен и очень любил оставаться совсем один. Даже комнату, которую занимал, он сам убирал, а в остальные комнаты своего помещения даже и заходил редко. Дойдя до ворот своего дома и, уже взявшись за ручку звонка, он остановился. Он почувствовал, что весь еще дрожит злобною дрожью. Вдруг он бросил звонок, плюнул, повернул назад и быстро пошел опять совсем на другой, противоположный конец города, версты за две от своей квартиры, в один крошечный, скосившийся бревенчатый домик, в котором квартировала Марья Кондратьевна, бывшая соседка Федора Павловича, приходившая к Федору Павловичу на кухню за супом, и которой Смердяков пел тогда свои песни и играл на гитаре. Прежний домик свой она продала и теперь проживала с матерью почти в избе, а больной, почти умирающий Смердяков, с самой смерти Федора Павловича поселился у них. Вот к нему-то и направился теперь Иван Федорович, влекомый одним внезапным и непобедимым соображением.

VI. ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ СО СМЕРДЯКОВЫМ.

Это уже в третий раз шел Иван Федорович говорить со Смердяковым по возвращении своем из Москвы. В первый раз после катастрофы он видел его и говорил с ним сейчас же в первый день своего приезда, затем посетил его еще

раз две недели спустя. Но после этого второго раза свидания свои со Смердяковым прекратил, так что теперь слишком месяц как он уже не видал его и почти ничего не слышал о нем. Воротился же тогда Иван Федорович из Москвы уже на пятый только день после смерти родителя, так что не застал и гроба его: погребение совершилось как раз накануне его приезда. Причина замедления Ивана Федоровича заключалась в том, что Алеша, не зная в точности его московского адреса, прибегнул, для посылки телеграммы, к Катерине Ивановне, а та, тоже в неведении настоящего адреса, телеграфировала к своей сестре и тетке, рассчитывая, что Иван Федорович сейчас же по прибытии в Москву к ним зайдет. Но он к ним зашел лишь на четвертый день по приезде и, прочтя телеграмму, тотчас же, конечно, сломя голову полетел к нам. У нас первого встретил Алешу, но, переговорив с ним, был очень изумлен, что тот даже и подозревать не хочет Митю, а прямо указывает на Смердякова как на убийцу, что было в разрез всем другим мнениям в нашем городе. Повидав затем исправника, прокурора, узнав подробности обвинения и ареста, он еще более удивился на Алешу и приписал его мнение лишь возбужденному до последней степени братскому чувству и состраданию его к Мите, которого Алеша, как и знал это Иван, очень любил. Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу: он его решительно не любил и много-много что чувствовал к нему иногда сострадание, но и то смешанное с большим презрением, доходившим до гадливости. Митя весь, даже всю свою фигуру, был ему крайне не симпатичен. На любовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием. С подсудимым Митей он однако же увиделся тоже в первый день своего прибытия, и это свидание не только не ослабило в нем убеждения в его виновности, а даже усилило его. Брата он нашел тогда в беспокойстве, в болезненном волнении. Митя был многоречив, но рассеян и раскидчив, говорил очень резко, обвинял Смердякова и страшно путался. Более всего говорил все про те же три тысячи, которые "украл" у него покойник. "Деньги мои, они были мои, - твердил Митя; - если б я даже украл их, то был бы прав". Все улики, стоявшие против него, почти не оспаривал, и если толковал факты в свою пользу, то опять-таки очень сбивчиво и нелепо, - вообще как будто даже и не желая оправдываться вовсе пред Иваном или кем-нибудь, напротив сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бранился и кипятился. Над свидетельством Григория об отворенной двери лишь презрительно смеялся и уверял, что это "чорт отворил". Но никаких связных объяснений этому факту не мог представить. Он даже успел оскорбить в это первое свидание Ивана Федоровича, резко сказав ему, что не тем его подозревать и допрашивать, которые сами утверждают, что "все позволено". Вообще на этот раз с Иваном Федоровичем был очень недружелюбен. Сейчас после этого свидания с Митей, Иван Федорович и направился тогда к Смердякову.

Еще в вагоне, летя из Москвы, он все думал про Смердякова и про последний свой разговор с ним вечером накануне отъезда. Многие смущало его, многое казалось подозрительным. Но давая свои показания судебному следователю, Иван Федорович до времени умолчал о том разговоре. Все отложил до свидания со Смердяковым. Тот находился тогда в городской больнице. Доктор Герценштубе и встретившийся Ивану Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Федоровича твердо отвечали, что падучая болезнь Смердякова несомненна, и даже удивились вопросу: "Не притворялся ли он в день катастрофы?" Они дали ему понять, что припадок этот был даже необыкновенный, продолжался и повторялся несколько дней, так что жизнь пациента была в решительной опасности, и что только теперь, после принятых мер, можно уже сказать утвердительно, что больной останется в живых, хотя очень возможно (прибавил доктор Герценштубе), что рассудок его останется отчасти расстроен, "если не на всю жизнь, то на довольно продолжительное время". На нетерпеливый спрос Ивана Федоровича, что, "стало быть он теперь сумасшедший?" ему ответили, что "этого в полном смысле еще нет, но что замечаются некоторые ненормальности". Иван Федорович положил сам узнать, какие это ненормальности. В больнице его тотчас же допустили к свиданию. Смердяков находился в отдельном помещении и лежал на койке. Тут же подле него была еще койка, которую занимал один ослабленный городской мещанин, весь распухший от водяной, видимо готовый завтра или послезавтра умереть; разговору он помешать не мог. Смердяков ослабился неверчиво, завидев Ивана Федоровича, и в первое мгновение как будто даже сробел. Так по крайней мере мелькнуло у Ивана Федоровича. Но это было лишь мгновение, напротив, во

все остальное время Смердяков почти поразил его своим спокойствием. С самого первого взгляда на него Иван Федорович несомненно убедился в полном и чрезвычайном болезненном его состоянии: он был очень слаб, говорил медленно и как бы с трудом ворочая языком; очень похудел и пожелтел. Во все минут двадцать свидания жаловался на головную боль и на лом во всех членах. Скопческое, сухое лицо его стало как будто таким маленьким, височки были всклочены, вместо хохолка торчала вверх одна только тоненькая прядка волосиков. Но прищуренный и как бы на что-то намекающий, левый глазок выдавал прежнего Смердякова. "С умным человеком и поговорить любопытно", тотчас же вспомнилось Ивану Федоровичу. Он уселся у него в ногах на табурете. Смердяков со страданием пошевельнулся всем телом на постели, но не заговорил первый, молчал да и глядел уже как бы не очень любопытно.

- Можешь со мной говорить? - спросил Иван Федорович, - очень не утомлю.

- Очень могу-с, - промямлил Смердяков слабым голосом. - Давно приехать изволили? - прибавил он снисходительно, как бы поощряя сконфузившегося посетителя.

- Да вот только сегодня... Кашу вашу здешнюю расхлебывать.

Смердяков вздохнул.

- Чего вздыхаешь, ведь ты знал? - прямо брякнул Иван Федорович.

Смердяков солидно помолчал.

- Как же это было не знать-с? Наперед ясно было. Только как же было и знать-с, что так поведут?

- Что поведут? Ты не вилай! Ведь вот ты же предсказал, что с тобой падучая будет тотчас, как в погреб полезешь? Прямо так на погреб и указал.

- Вы это уже в допросе показали? - спокойно любопытствовал Смердяков.

Иван Федорович вдруг рассердился.

- Нет, еще не показал, но покажу непременно. Ты мне, брат, многое разъяснить сейчас должен, и знай, голубчик, что я с собой играть не позволю!

- А зачем бы мне такая игра-с, когда на вас все мое упование, единственно как на господа бога-с! - проговорил Смердяков, все так же совсем спокойно и только на минутку закрыв глазки.

- Во-первых, - приступил Иван Федорович, - я знаю, что падучую нельзя наперед предсказать. Я справлялся, ты не вилай. День и час нельзя предсказать. Как же ты мне тогда предсказал и день и час, да еще и с погребом? Как ты мог наперед узнать, что провалишься именно в этот погреб в припадке, если не притворился в падучей нарочно?

- В погреб надлежало и без того идти-с, в день по несколько даже раз-с, - не спеша, протянул Смердяков. - Так точно год тому назад я с чердака полетел-с. Беспременно так, что падучую нельзя предсказать вперед днем и часом, но предчувствие всегда можно иметь.

- А ты предсказал день и час!

- Насчет моей болезни падучей-с осведомьтесь всего лучше, сударь, у докторов здешних: истинная ли была со мной, али не истинная, а мне и говорить вам больше на сей предмет нечего.

- А погреб? Погреб-то как ты предузнал?

- Дался вам этот самый погреб! Я тогда, как в этот погреб полез, то в страхе был и в сумлении; потому больше в страхе, что был вас лишимшись и ни от кого уже защиты не ждал в целом мире. Лезу я тогда в этот самый погреб и думаю: "вот сейчас придет, вот она ударит, провалюсь, али нет?" и от самого этого сумления вдруг схватила меня в горле эта самая неминуемая спазма-с... ну и полетел. Все это самое и весь разговор наш предыдущий с вами-с, накануне того дня вечером у ворот-с, как я вам тогда мой страх сообщил, и про погреб-с - все это я в подробности открыл господину доктору Герценштубе и следователю Николаю Парфеновичу, и все они в протокол записали-с. А здешний доктор г. Варвинский так пред всеми ими особо настаивали, что так именно от думы оно и произошло, от самой то есть той мнительности, "что вот дескать упаду аль не упаду?" А она тут и подхватила. Так и записали-с, что беспременно этому так и надо было произойти, от единого то есть моего страху-с.

Проговорив это, Смердяков, как бы измученный утомлением, глубоко перевел дыхание.

- Так ты уж это объявлял в показании? - спросил несколько опешенный Иван Федорович. Он именно хотел было пугнуть его тем, что объявит про их тогдашний разговор, а оказалось, что тот уж и сам все объявил.

- Чего мне бояться? Пускай всю правду истинную запишут, - твердо произнес Смердяков.

- И про наш разговор с тобой у ворот все до слова рассказал?

- Нет, не то чтобы все до слова-с.

- А что представляться в падучей умеешь, как хвастался мне тогда, тоже сказал?

- Нет, этого тоже не сказал-с.

- Скажи ты мне теперь, для чего ты меня тогда в Чермашню посылал?

- Боялся, что в Москву уедете, в Чермашню все же ближе-с.

- Врешь, ты сам приглашал меня уехать: уезжайте говорил, от греха долой!

- Это я тогда по единому к вам дружеству и по сердечной моей преданности, предчувствуя в доме беду-с, вас жалеючи. Только себя больше вашего сожалел-с. Потому и говорил: уезжайте от греха, чтобы вы поняли, что дома худо будет и остались бы родителя защитить.

- Так ты бы прямее сказал, дурак! - вспыхнул вдруг Иван Федорович.

- Как же бы я мог тогда прямее сказать-с? Один лишь страх во мне говорил-с, да и вы могли осердиться. Я конечно опасаться мог, чтобы Дмитрий Федорович не сделали какого скандалу, и самые эти деньги не унесли, так как их все равно что за свои почитали, а вот кто же знал, что таким убийством кончится? Думал, они просто только похитят эти три тысячи рублей, что у барина под тюфяком лежали-с, в пакете-с, а они вот убили-с. Где же и вам угадать было, сударь?

- Так если сам говоришь, что нельзя было угадать, как же я мог догадаться и остаться? Что ты путаешь? - вдумываясь проговорил Иван Федорович.

- А потому и могли догадаться, что я вас в Чермашню направляю вместо этой Москвы-с.

- Да как тут догадаться!

Смердяков казался очень утомленным и опять помолчал с минуту.

- Тем самым-с догадаться могли-с, что коли я вас от Москвы в Чермашню отклоняю, то, значит, присутствия вашего здесь желаю ближайшего, потому что Москва далеко, а Дмитрий Федорович, зная, что вы недалеко, не столь ободрены будут. Да и меня могли в большей скорости, в случае чего, приехать и защитить, ибо сам я вам на болезнь Григория Васильича к тому же указывал, да и то, что падучей боюсь. А объяснив вам про эти стуки, по которым к покойному можно было войти, и что они Дмитрию Федоровичу через меня все известны, думал, что вы уже сами тогда догадаетесь, что они что-нибудь непременно совершат, и не то что в Чермашню, а и вовсе останетесь.

"Он очень связно говорит, подумал Иван Федорович, хоть и мямлит; про какое же Герценштубе говорил расстройство способностей?"

- Хитришь ты со мной, чорт тебя дери! - воскликнул он осердившись.

- А я, признаться, тогда подумал, что вы уж совсем догадались, - с самым простодушным видом отпарировал Смердяков.

- Кабы догадался, так остался бы! - вскричал Иван Федорович, опять вспыхнув.

- Ну-с, а я-то думал, что вы, обо всем догадавшись, скорее как можно уезжаете лишь от греха одного, чтобы только убежать куда-нибудь, себя спасая от страху-с.

- Ты думал, что все такие же трусы как ты?

- Простите-с, подумал, что и вы как и я.

- Конечно, надо было догадаться, - волновался Иван, - да я и догадывался об чем-нибудь мерзком с твоей стороны... Только ты врешь, опять врешь, - вскричал он, вдруг припомнив: - Помнишь, как ты к тарантасу тогда подошел и мне сказал: "с умным человеком и поговорить любопытно". Значит, рад был, что я уезжаю, коль похвалил?

Смердяков еще и еще раз вздохнул. В лице его как бы показалась краска.

- Если был рад, - произнес он несколько задыхаясь, - то тому единственно, что не в Москву, а в Чермашню согласились. Потому все же ближе; а только я вам те самые слова не в похвалу тогда произнес, а в попрек-с. Не разобрали вы этого-с.

- В какой попрек?

- А то, что, предчувствуя такую беду, собственного родителя оставляете-с и нас защитить не хотите, потому что меня за эти три тысячи

всегда могли притянуть, что я их украл-с.

- Чорт тебя дери! - опять обругался Иван. - Стой: ты про знаки, про стуки эти, следователю и прокурору объявил?

- Все как есть объявил-с.

Иван Федорович опять про себя удивился.

- Если я подумал тогда об чем, - начал он опять, - то это про мерзость какую-нибудь единственно с твоей стороны. Дмитрий мог убить, но что он украдет - я тогда не верил... А с твоей стороны всякой мерзости ждал. Сам же ты мне сказал, что притворяться в падучей умеешь, для чего ты это сказал?

- По единому моему простодушию. Да и никогда я в жизни не представлялся в падучей нарочно, а так только, чтоб похвалиться пред вами, сказал. Одна глупость-с. Полюбил я вас тогда очень и был с вами по всей простоте.

- Брат прямо тебя обвиняет, что ты убил и что ты украл.

- Да им что же больше остается? - горько осклабился Смердяков, - и кто же им поверит после всех тех улик? Дверь-то Григорий Васильевич отпертую видели-с, после этого как же-с. Да что уж, бог с ними! Себя спасая дрожат...

Он тихо помолчал и вдруг, как бы сообразив, прибавил:

- Ведь вот-с, опять это самое: они на меня свалить желают, что это моих рук дело-с, - это я уже слышал-с, - а вот хоть бы это самое, что я в падучей представляться мастер: ну сказал ли бы я вам наперед, что представляться умею, если б у меня в самом деле какой замысел тогда был на родителя вашего? Коль такое убийство уж я замыслил, то можно ли быть столь дураком, чтобы вперед на себя такую улику сказать, да еще сыну родному, помилуйте-с?! Похоже это на вероятие? Это, чтоб это могло быть-с, так напротив совсем никогда-с. Вот теперь этого нашего с вами разговору никто не слышит, кроме самого этого провидения-с, а если бы вы сообщили прокурору и Николаю Парфеновичу, так тем самым могли бы меня в конец защитить-с: ибо что за злодей за такой, коли заранее столь простодушен? Все это рассудить очень могут.

- Слушай, - встал с места Иван Федорович, пораженный последним доводом Смердякова и прерывая разговор, - я тебя вовсе не подозреваю и даже считаю смешным обвинять... напротив, благодарен тебе, что ты меня успокоил. Теперь иду, но опять зайду. Пока прощай, выздоравливай. Не нуждаешься ли в чем?

- Во всем благодарен-с. Марфа Игнатьевна не забывает меня-с и во всем способствует, коли что мне надо, по прежней своей доброте. Ежедневно навещают добрые люди.

- До свидания. Я впрочем про то, что ты притвориться умеешь, не скажу... да и тебе советую не показывать, - проговорил вдруг почему-то Иван.

- Оченно понимаю-с. А коли вы этого не покажете, то и я-с всего нашего с вами разговору тогда у ворот не объявлю...

Тут случилось так, что Иван Федорович вдруг вышел и, только пройдя уже шагов десять по корридору, вдруг почувствовал, что в последней фразе Смердякова заключался какой-то обидный смысл. Он хотел было уже вернуться, но это только мелькнуло, и проговорив: "глупости!" - он поскорее пошел из больницы. Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. Почему так было - он не хотел тогда разбирать, даже чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть. Затем в следующие несколько дней он уже совсем убедился в виновности Мити, когда ближе и основательнее ознакомился со всеми удручавшими того уликами. Были показания самых ничтожных людей, но почти потрясающие, например Фени и ее матери. Про Перхогина, про трактир, про лавку Плотниковых, про свидетелей в Мокром и говорить было нечего. Главное, удручали подробности. Известие о тайных "стуках" поразило следователя и прокурора почти в той же степени, как и показание Григория об отворенной двери. Жена Григория, Марфа Игнатьевна, на спрос Ивана Федоровича, прямо заявила ему, что Смердяков всю ту ночь лежал у них за перегородкой, "трех шагов от нашей постели не было", и что хоть и спала она сама крепко, но много раз пробуждалась, слыша, как он тут стонет: "все время стонал, беспрерывно стонал". Поговорив с Герценштубе и сообщив ему свое сомнение о том, что Смердяков вовсе не кажется ему помешанным, а только слабым, он только вызвал у старика тоненькую улыбочку. "А вы знаете, чем он теперь особенно занимается?" спросил он Ивана Федоровича, - "французские вокабулы наизусть учит; у него под подушкой тетрадка лежит и

французские слова русскими буквами кем-то записаны, хе-хе-хе!" Иван Федорович оставил наконец все сомнения. О брате Дмитрие он уже и подумать не мог без омерзения. Одно было все-таки странно: что Алеша упорно продолжал стоять на том, что убил не Дмитрий, а "по всей вероятности" Смердяков. Иван всегда чувствовал, что мнение Алеши для него высоко, а потому теперь очень недоумевал на него. Странно было и то, что Алеша не искал с ним разговоров о Мите и сам не начинал никогда, а лишь отвечал на вопросы Ивана. Это тоже сильно заметил Иван Федорович. Впрочем в то время он очень был развлечен одним совсем посторонним обстоятельством: приехав из Москвы, он в первые же дни весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей к Катерине Ивановне. Здесь не место начинать об этой новой страсти Ивана Федоровича, отразившейся потом на всей его жизни: это все могло бы послужить канвой уже иного рассказа, другого романа, который и не знаю предприму ли еще когда-нибудь. Но все же не могу умолчать и теперь о том, что когда Иван Федорович, идя, как уже описал я, ночью с Алешей от Катерины Ивановны, сказал ему: "я-то до нее не охотник", - то страшно лгал в ту минуту: он безумно любил ее, хотя правда и то, что временами ненавидел ее до того, что мог даже убить. Тут сходилось много причин: вся потрясенная событием с Митей, она бросилась к возвратившемуся к ней опять Ивану Федоровичу как бы к какому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, унижена в своих чувствах. И вот явился опять человек, который ее и прежде так любил, - о, она слишком это знала, - и которого ум и сердце она всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь Карамазовский безудерж желаний своего влюбленного и на все обаяние его на нее. В то же время мучилась непрерывно раскаянием, что изменила Мите, и в грозные, ссорные минуты с Иваном (а их было много) прямо высказывала это ему. Это-то и назвал он, говоря с Алешей: "ложью на лжи". Тут, конечно, было и в самом деле много лжи, и это всего более раздражало Ивана Федоровича... но все это потом. Словом, он на время почти забыл о Смердякове. И однако две недели спустя после первого к нему посещения, начали его опять мучить все те же странные мысли, как и прежде. Довольно сказать, что он непрерывно стал себя спрашивать: для чего он тогда, в последнюю свою ночь, в доме Федора Павловича, пред отъездом своим, сходил тихонько как вор на лестницу и прислушивался, что делает внизу отец? Почему с отвращением вспоминал это потом, почему на другой день утром в дороге так вдруг затосковал, а въезжая в Москву, сказал себе: "я подлец!" И вот теперь ему однажды подумалось, что из-за всех этих мучительных мыслей он пожалуй готов забыть даже и Катерину Ивановну, до того они сильно им вдруг опять овладели! Как раз, подумав это, он встретил Алешу на улице. Он тотчас остановил его и вдруг задал ему вопрос:

- Помнишь ты, когда после обеда Дмитрий ворвался в дом и избил отца. и я потом сказал тебе на дворе, что "право желаний" оставляю за собой, - скажи, подумал ты тогда, что я желаю смерти отца или нет?

- Подумал, - тихо ответил Алеша.

- Оно впрочем так и было, тут и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтоб "один гад съел другую гадину", т. е. чтоб именно Дмитрий отца убил, да еще поскорее... и что и сам я поспособствовать даже не прочь?

Алеша слегка побледнел и молча смотрел в глаза брату.

- Говори же! - воскликнул Иван. - Я изо всей силы хочу знать, что ты тогда подумал. Мне надо; правду, правду! - Он тяжело перевел дух. уже заранее с какою-то злобой смотря на Алешу.

- Прости меня, я и это тогда подумал, - прошептал Алеша и замолчал, не прибавив ни одного "облегчающего обстоятельства".

- Спасибо! - отрезал Иван и, бросив Алешу, быстро пошел своею дорогой. С тех пор Алеша заметил, что брат Иван как-то резко начал от него отдаляться и даже как бы не влюбил его, так что потом и сам он уже перестал ходить к нему. Но в ту минуту, сейчас после той с ним встречи, Иван Федорович, не заходя домой, вдруг направился опять к Смердякову.

VII. ВТОРОЙ ВИЗИТ К СМЕРДЯКОВУ.

Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. Иван Федорович знал его новую квартиру: именно в этом перекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, разделенные сенями. В одной избе поместилась Марья Кондратьевна с матерью, а в другой Смердяков, особливо. Бог знает на каких основаниях он у них поселился: даром ли проживал или за деньги? Впоследствии полагали, что поселился он у них в качестве жениха Марьи Кондратьевны и проживал пока даром. И мать и дочь его очень уважали и смотрели на него как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени, и, по указанию Марьи Кондратьевны, прошел прямо налево в "белую избу", занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда все изодранные, а под ними в трещинах копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох. Мебель была ничтожная: две скамьи по обеим стенам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто деревянный, был накрыт однако скатертью с розовыми разводами. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по горшкуну с геранями. В углу киот с образами. На столе стоял небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с двумя чашками. Но чай Смердяков уже отпил, и самовар погас... Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стеариновой впрочем свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свеж[ЕАСUTE]е, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном халате, очень однако затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича: "этакая тварь, да еще в очках!" Смердяков медленно поднял голову и пристально посмотрел в очки на вошедшего; затем тихо их снял и сам приподнялся на лавке, но как-то совсем не столь почтительно, как-то даже лениво, единственно чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учтивость, без которой уже нельзя почти обойтись. Все это мигом мелькнуло Ивану и все это он сразу обхватил и заметил, а главное - взгляд Смердякова, решительно злобный, неприветливый и даже надменный: "чего дескать шляешься, обо всем ведь тогда стоворились, зачем же опять пришел?" Иван Федорович едва сдержал себя:

- Жарко у тебя. - сказал он, еще стоя, и расстегнул пальто.

- Снимите-с. - позволил Смердяков.

Иван Федорович снял пальто и бросил его на лавку, дрожащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и сел. Смердяков успел опуститься на свою лавку раньше его.

- Во-первых, одни ли мы? - строго и стремительно спросил Иван Федорович. - Не услышат нас оттуда?

- Никто ничего не услышит-с. Сами видели: сени.

- Слушай, голубчик: что ты такое тогда сморозил, когда я уходил от тебя из больницы, что если я промолчу о том, что ты мастер представляться в падучей, то и ты де не объявишь всего следователю о нашем разговоре с тобой у ворот? что это такое всего? что ты мог тогда разуместь? Угрожал ты мне что ли? Что я в союз что ли в какой с тобой вступал, боюсь тебя что ли?

Иван Федорович проговорил это совсем в ярости, видимо и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк и всякий подход и играет в открытую. Глаза Смердякова злобно сверкнули, левый глазок замигал, и он тотчас же, хотя по обычаю своему сдержанно и мерно, дал и свой ответ: "Хочешь дескать на чистоту, так вот тебе и эта самая чистота":

- А то самое я тогда разумел и для того я тогда это произносил, что вы, знавши наперед про это убийство родного родителя вашего, в жертву его тогда оставили, и чтобы не заключили после сего люди чего дурного об ваших чувствах, а может и об чем ином прочем. - вот что тогда обещался я начальству не объявлять.

Проговорил Смердяков хоть и не спеша и обладая собою повидимому, но уж в голосе его даже послышалось нечто твердое и настойчивое, злобное и нагло-вызывающее. Дерзко усталился он в Ивана Федоровича, а у того в первую минуту даже в глазах зарябило:

- Как? Что? Да ты в уме, али нет?

- Совершенно в полном своем уме-с.

- Да разве я знал тогда про убийство? - вскричал наконец Иван Федорович и крепко стукнул кулаком по столу. - Что значит: "об чем ином прочем?" - говори, подлец!

Смердяков молчал и все тем же наглым взглядом продолжал осматривать Ивана Федоровича.

- Говори, смердящая шельма, об чем "ином прочем"? - завопил тот.

- А об том "ином прочем" я сек минутой разумел, что вы пожалуй и сами очень желали тогда смерти родителя вашего.

Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо, так что тот откатнулся к стене. В один миг все лицо его облилось слезами, и проговорив: "Стыдно, сударь, слабого человека бить!" он вдруг закрыл глаза своим бумажным с синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слезный плач. Прошло с минуту.

- Довольно! перестань! - повелительно сказал наконец Иван Федорович, садясь опять на стул. - Не выводите меня из последнего терпения!

Смердяков отнял от глаз свою тряпочку. Всякая черточка его сморщенного лица выражала только что перенесенную обиду.

- Так ты, подлец, подумал тогда, что я за одно с Дмитрием хочу отца убить?

- Мыслей ваших я тогдашних не знал-с, - обиженно проговорил Смердяков, - а потому и остановил вас тогда, как вы входили в ворота, чтобы вас на этом самом пункте испытать-с.

- Что испытать? что?

- А вот именно это самое обстоятельство: хочется иль не хочется вам, чтобы ваш родитель был поскорее убит?

Всего более возмущал Ивана Федоровича этот настойчивый наглый тон, от которого упорно не хотел отступить Смердяков.

- Это ты его убил! - воскликнул он вдруг. Смердяков презрительно усмехнулся.

- Что не я убил, это вы знаете сами доподлинно. И думал я, что умному человеку и говорить о сем больше нечего.

- Но почему, почему у тебя явилось тогда такое на меня подозрение?

- Как уже известно вам, от единого страху-с. Ибо в таком был тогда положении, что, в страхе сотрясаясь, всех подозревал. Вас тоже положил испытать-с, ибо если и вы, думаю, того же самого желаете, что и братец ваш, то и конец тогда всякому этому делу, а я сам пропаду заодно как муха.

- Слушай, ты две недели назад не то говорил.

- То же самое и в больнице, говоря с вами, разумел, а только полагал, что вы и без лишних слов поймете, и прямого разговора не желаете сами, как самый умный человек-с.

- Ишь ведь! Но отвечай, отвечай, я настаиваю: с чего именно, чем именно я мог вселить тогда в твою подлую душу такое низкое для меня подозрение?

- Чтобы убить - это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели.

- И как спокойно, как спокойно ведь говорит! Да с чего мне хотеть, на кой ляд мне было хотеть?

- Как это так на кой ляд-с? А наследство-то-с? - ядовито и как-то даже отмстительно подхватил Смердяков: - Ведь вам тогда после родителя вашего на каждого из трех братцев без малого по сорока тысяч могло придтись, а может и того больше-с, а женись тогда Федор Павлович на этой самой госпоже-с, Аграфене Александровне, так уж та весь бы капитал тотчас же после венца на себя перевела, ибо оне очень не глупые-с, так что вам всем троим братцам и двух рублей не досталось бы после родителя. А много ль тогда до венца-то оставалось? Один волосок-с: стоило этой барыне вот так только мизинчиком пред ними сделать, и они бы тотчас в церковь за ними высуня язык побежали.

Иван Федорович со страданием сдержал себя.

- Хорошо, - проговорил он наконец, - ты видишь, я не вскочил, не избил тебя, не убил тебя. Говори дальше; стало быть я по твоему брата Дмитрия к тому и предназначал, на него и рассчитывал?

- Как же вам на них не рассчитывать было-с; ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с. Так ведь тогда ихняя часть-с после родителя вам с братцем Алексеем Федоровичем останется, поровну-с, значит уже не по сороку, а по шестидесяти тысяч вам пришлось бы каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспрерывно тогда

рассчитывали!

- Ну терплю же я от тебя! Слушай, негодяй: если б я и рассчитывал тогда на кого-нибудь, так уж конечно бы на тебя, а не на Дмитрия, и, клянусь, предчувствовал даже от тебя какой-нибудь мерзости... тогда... я помню мое впечатление!

- И я тоже подумал тогда, минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете, - насмешливо осклабился Смердяков, - так что тем самым еще более тогда себя предо мной обличили, ибо если предчувствовали на меня и в то же самое время уезжали, значит мне тем самым точно как бы сказали: это ты можешь убить родителя, я не препятствую.

- Подлец! Ты так понял?

- А все чрез эту самую Чермашню-с. Помилосердуйте! Собираетесь в Москву, и на все просьбы родителя ехать в Чермашню отказались-с! И по одному только глупому моему слову вдруг согласились-с! И на что вам было тогда соглашаться на эту Чермашню? Коли не в Москву, а поехали в Чермашню без причины, по единому моему слову, то стало быть чего-либо от меня ожидали.

- Нет, клянусь, нет! - завопил скрежеща зубами Иван.

- Как же это нет-с? Следовало, напротив, за такие мои тогдашние слова вам, сыну родителя вашего, меня первым делом в часть представить и выдрать-с... по крайности по мордасам тут же на месте отколотить, а вы, помилуйте-с, напротив, ни мало не рассердимшись, тотчас дружелюбно исполняете в точности по моему весьма глупому слову-с и едете, что было вовсе нелепо-с, ибо вам следовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя... Как же мне было не заключить?

Иван сидел насупившись, конвульсивно опершись обоими кулаками в свои колена.

- Да, жаль, что не отколотил тебя по мордасам, - горько усмехнулся он.

- В часть тогда тебя тащить нельзя было: кто ж бы мне поверил и на что я мог указать, ну а по мордасам... ух, жаль не догадался; хоть и запрещены мордасы, а сделал бы я из твоей хари кашу.

Смердяков почти с наслаждением смотрел на него.

- В обыкновенных случаях жизни, - проговорил он тем самодовольно-доктринерским тоном, с которым спорил некогда с Григорием Васильевичем о вере и дразнил его, стоя за столом Федора Павловича, - в обыкновенных случаях жизни мордасы ноне действительно запрещены по закону, и все перестали бить-с, ну, а в отличительных случаях жизни, так не то что у нас, а и на всем свете, будь хоша бы самая полная французская республика, все одно продолжают бить как и при Адаме и Еве-с, да и никогда того не перестанут-с, а вы и в отличительном случае тогда не посмели-с.

- Что это ты французские вокабулы учишь? - кивнул Иван на тетрадку, лежавшую на столе.

- А почему же бы мне их не учить-с, чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне когда в тех счастливых местах Европы может придется быть.

- Слушай, изверг, - засверкал глазами Иван и весь затрясся, - я не боюсь твоих обвинений, показывай на меня что хочешь, и если не избил тебя сейчас до смерти, то единственно потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду. Я еще тебя обнаружу!

- А по-моему лучше молчите-с. Ибо что можете вы на меня объявить в моей совершенной невинности, и кто вам поверит? А только если начнете, то и я все расскажу-с, ибо как же бы мне не защитить себя?

- Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?

- Пусть этим всем моим словам, что вам теперь говорил, в суде не поверят-с, зато в публике поверят-с, и вам стыдно станет-с.

- Это значит опять-таки что: "с умным человеком и поговорить любопытно", - а? - проскрежетал Иван.

- В самую точку изволили-с. Умным и будьте-с.

Иван Федорович встал, весь дрожа от негодования, надел пальто и, не отвечая более Смердякову, даже не глядя на него, быстро вышел из избы. Свежий вечерний воздух освежил его. На небе ярко светила луна. Страшный кошмар мыслей и ощущений кипел в его душе. "Идти объявить сейчас на Смердякова? Но что же объявить: он все-таки невинен. Он, напротив, меня же обвинит. В самом деле, для чего я тогда поехал в Чермашню? Для чего, для чего? спрашивал Иван Федорович. Да, конечно, я чего-то ожидал, и он прав..."

И ему опять в сотый раз припомнилось, как он в последнюю ночь у отца подслушивал к нему с лестницы, но с таким уже страданием теперь припомнилось, что он даже остановился на месте как пронзенный: "Да, я этого тогда ждал, это правда! Я хотел, я именно хотел убийства! Хотел ли я убийства, хотел ли?.. Надо убить Смердякова!.. Если я не смею теперь убить Смердякова, то не стоит и жить!.." Иван Федорович, не заходя домой, прошел тогда прямо к Катерине Ивановне и испугал ее своим появлением; он был как безумный. Он передал ей весь свой разговор со Смердяковым, весь до черточки. Он не мог успокоиться, сколько та ни уговаривала его, все ходил по комнате и говорил отрывисто, странно. Наконец сел, облокотился на стол, упер голову в обе руки и вымолвил странный афоризм:

- Если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то конечно я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его - еще не знаю. Но если только он убил, а не Дмитрий, то конечно убийца и я.

Выслушав это, Катерина Ивановна молча встала с места, пошла к своему письменному столу, отперла стоявшую на нем шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила ее пред Иваном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван Федорович потом объявил Алеше, как о "математическом доказательстве", что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, написанное Митей в пьяном виде к Катерине Ивановне, в тот самый вечер, когда он встретился в поле с Алешей, уходившим в монастырь, после сцены в доме Катерины Ивановны, когда ее оскорбила Грушенька. Тогда, расставшись с Алешей, Митя бросился было к Грушеньке; неизвестно, видел ли ее, но к ночи очутился в трактире "Столичный город", где как следует и напил. Пьяный он потребовал перо и бумагу и начертал важный на себя документ. Это было исступленное, многоречивое и бессвязное письмо, именно "пьяное". Похоже было на то, когда пьяный человек, воротясь домой, начинает с необычайным жаром рассказывать жене или кому из домашних, как его сейчас оскорбили, какой подлец его оскорбил, какой он сам, напротив, прекрасный человек и как он тому подлецу задаст - и все это длинно-длинно, бессвязно и возбужденно, со стуком кулаками по столу, с пьяными слезами. Бумага для письма, которую ему подали в трактире, была грязненький клочек обыкновенной письменной бумаги, плохого сорта и на обратной стороне которого был написан какой-то счет. Пьяному многоречию очевидно не достало места, и Митя уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны накрест уже по написанному. Письмо было следующего содержания: "Роковая Катя! завтра достану деньги и отдам тебе твои три тысячи, и прощай - великого гнева женщина, но прощай и любовь моя! Кончим! Завтра буду доставать у всех людей, а не достану у людей, то даю тебе честное слово, пойду к отцу и проломлю ему голову и возьму у него под подушкой, только бы уехал Иван. В каторгу пойду, а три тысячи отдам. А сама прощай. Кланяюсь до земли, ибо пред тобой подлец. Прости меня. Нет, лучше не прощай: легче и мне и тебе! Лучше в каторгу, чем твоя любовь, ибо другую люблю, а ее слишком сегодня узнала, как же ты можешь простить? Убью вора моего! От всех вас уйду на Восток, чтоб никого не знать. Ее тоже, ибо не ты одна мучительница, а и она. Прощай!

"P. S. Проклятие пишу, а тебя обожаю! Слышу в груди моей. Осталась струна и звенит. Лучше сердце пополам! Убью себя, а сначала все-таки пса. Вырву у него три и брошу тебе. Хоть подлец пред тобой, а не вор! Жди трех тысяч. У пса под тюфяком, розовая ленточка. Не я вор, а вора моего убью. Катя, не гляди презрительно: Дмитрий не вор, а убийца! Отца убил и себя погубил, чтобы стоять и гордости твоей не выносить. И тебя не любить.

"PP. S. Ноги твои целую, прощай!

"PP. SS. Катя, моли бога, чтобы дали люди деньги. Тогда не буду в крови, а не дадут - в крови! Убей меня!

"Раб и враг "Д. Карамазов".

Когда Иван прочел "документ", то встал убежденный. Значит убил брат, а не Смердяков. Не Смердяков, то стало быть и не он, Иван. Письмо это вдруг получило в глазах его смысл математический. Никаких сомнений в виновности Мити быть для него не могло уже более. Кстати, подозрения о том, что Митя мог убить вместе со Смердяковым, у Ивана никогда не было, да это не вязалось и с фактами. Иван был вполне успокоен. На Другое утро он лишь с презрением вспоминал о Смердякове и о насмешках его. Чрез несколько дней даже удивлялся, как мог он так мучительно обидеться его подозрениями. Он решил презреть его и забыть. Так прошел месяц. О Смердякове он не расспрашивал

больше ни у кого, но слышал мельком, раза два, что тот очень болен и не в своем рассудке. "Кончит сумасшествием", сказал раз прочего молодой врач Варвинский, и Иван это запомнил. В последнюю неделю этого месяца Иван сам начал чувствовать себя очень худо. С приехавшим пред самым судом доктором из Москвы, которого выписала Катерина Ивановна, он уже ходил советоваться. И именно в это же время отношения его к Катерине Ивановне обострились до крайней степени. Это были какие-то два влюбленные друг в друга врага. Возвраты Катерины Ивановны к Мите, мгновенные, но сильные, уже приводили Ивана в совершенное исступление. Странно, что до самой последней сцены, описанной нами у Катерины Ивановны, когда пришел к ней от Мити Алеша, он, Иван, не слышал от нее ни разу во весь месяц сомнений в виновности Мити, несмотря на все ее "возвраты" к нему, которые он так ненавидел. Замечательно еще и то, что он, чувствуя, что ненавидит Митю с каждым днем все больше и больше, понимал в то же время, что не за "возвраты" к нему Кати ненавидел его, а именно за то, что он убил отца. Он чувствовал и сознавал это сам вполне. Тем не менее дней за десять пред судом он ходил к Мите и предложил ему план бегства – план, очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме главной причины, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая незаживавшая в сердце его царапина от одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтоб обвинили брата, ибо сумма по наследству от отца возвысится тогда для него с Алешей с сорока на шестьдесят тысяч. Он решился пожертвовать тридцатью тысячами с одной своей стороны, чтобы устроить побег Мити. Возвращаясь тогда от него, он был страшно грустен и смущен: ему вдруг начало чувствоваться, что он хочет побега не для того только, чтобы жертвовать на это тридцать тысяч и заживить царапину, а и почему-то другому. "Потому ли, что в душе и я такой же убийца?" спросил было он себя. Что-то отдаленное, но жгучее язвило его душу. Главное же, во весь этот месяц страшно страдала его гордость, но об этом потом... Взявшись за звонок своей квартиры после разговора с Алешей и порешив вдруг идти к Смердякову, Иван Федорович повиновался одному особливому, внезапно вскипевшему в груди его негодованию. Он вдруг вспомнил, как Катерина Ивановна сейчас только воскликнула ему при Алеше: "Это ты, только ты один уверил меня, что он (то-есть Митя) убийца!" Вспомнив это, Иван даже остолбенел: никогда в жизни не уверял он ее, что убийца Митя, напротив, еще себя подозревал тогда пред нею, когда воротился от Смердякова. Напротив, это она, она ему выложила тогда "документ" и доказала виновность брата! И вдруг она же теперь восклицает: "Я сама была у Смердякова!" Когда была? Иван ничего не знал об этом. Значит она совсем не так уверена в виновности Мити! И что мог ей сказать Смердяков? Что, что именно он ей сказал? Страшный гнев загорелся в его сердце. Он не понимал, как мог он полчаса назад пропустить ей эти слова и не закричать тогда же. Он бросил звонок и пустился к Смердякову. "Я убью его может быть в этот раз", подумал он дорогой.

VIII. ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ СО СМЕРДЯКОВЫМ.

Еще на полпути поднялся острый, сухой ветер, такой же как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий, густой, сухой снег. Он падал на землю, не приликая к ней, ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части города, где жил Смердяков, у нас почти и нет фонарей. Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучало в висках. В кистях рук, он чувствовал это, были судороги. Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, маленького ростом мужиченка, в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бранившегося и вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню:

"Ах поехал Ванька в Питер,
Я не буду его ждать!"

Но он все прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бранить, затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил.

Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужиченку. Как раз в это мгновение они поверстались рядом, и мужиченку, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужиченку отлетел и шлепнулся как колода об мерзлую землю, болезненно простонав только один раз: о-о! и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств: "Замерзнет!" подумал Иван и зашагал опять к Смердякову.

Еще в сенях Марья Кондратьевна, выбежавшая отворить со свечкой в руках, зашептала ему, что Павел Федорович (то-есть Смердяков) оченно больны-с, не то что лежат-с, а почти как не в своем уме-с и даже чай велели убрать, пить не захотели.

- Что ж он буйнит что ли, - грубо спросил Иван Федорович.

- Какое, напротив, совсем тихие-с, только вы с ними не очень долго разговаривайте... - попросила Марья Кондратьевна.

Иван Федорович отворил дверь и шагнул в избу. Натоплено было так же, как и в прежний раз, но в комнате заметны были некоторые перемены: одна из боковых лавок была вынесена и на место ее явился большой старый кожаный диван под красное дерево. На нем была постлана постель с довольно чистыми белыми подушками. На постели сидел Смердяков все в том же своем халате. Стол перенесен был пред диван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала какая-то толстая в желтой обертке книга, но Смердяков не читал ее, он кажется сидел и ничего не делал. Длинным, молчаливым взглядом встретил он Ивана Федоровича и повидимому нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки посинели.

- Да ты и впрямь болен? - остановился Иван Федорович. - Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у тебя сесть-то?

Он зашел с другого конца стола, придвинул к столу стул и сел.

- Что смотришь и молчишь? Я с одним только вопросом, и клянусь, не уйду от тебя без ответа: была у тебя барыня, Катерина Ивановна?

Смердяков длинно помолчал, попрежнему все тихо смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо.

- Чего ты? - воскликнул Иван.

- Ничего.

- Что ничего?

- Ну была, ну и все вам равно. Отстаньте-с.

- Нет не отстану! Говори, когда была?

- Да я и помнить об ней забыл, - презрительно усмехнулся Смердяков, и вдруг опять, оборотя лицо к Ивану, уставился на него с каким-то исступленно-ненавистным взглядом, тем самым взглядом, каким глядел на него в то свидание, месяц назад.

- Сами кажись больны, ишь осунулись, лица на вас нет, - проговорил он Ивану.

- Оставь мое здоровье, говори, об чем спрашивают.

- А чего у вас глаза пожелтели, совсем белки желтые. Мучаетесь что ли очень?

Он презрительно усмехнулся и вдруг совсем уж рассмеялся.

- Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа! - в страшном раздражении крикнул Иван.

- Чего вы ко мне пристаєте-с? Чего меня мучите? - со страданием проговорил Смердяков.

- Э, чорт! Мне до тебя нет и дела. Ответь на вопрос, и я тотчас уйду.

- Нечего мне вам отвечать! - опять потупился Смердяков.

- Уверю тебя, что я заставлю тебя отвечать!

- Чего вы все беспокоитесь? - вдруг уставился на него Смердяков, но не то что с презрением, а почти с какою-то уже гадливостью, - это что суд-то завтра начнется? Так ведь ничего вам не будет, уверьтесь же наконец! Ступайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.

- Не понимаю я тебя... чего мне бояться завтра? - удивленно выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг холодом пахнул на его душу. Смердяков обмерил его глазами.

- Не по-ни-маете? - протянул он укоризненно. - Охота же умному человеку этакую комедь из себя представлять!

Иван молча глядел на него. Один уж этот неожиданный тон, совсем

какой-то небывало высокомерный, с которым этот бывший его лакей обращался теперь к нему, был необычен. Такого тона все-таки не было даже и в прошлый раз.

- Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу, нет улик. Ишь руки трясутся. С чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой, не вы убили.

Иван вздрогнул, ему вспомнился Алеша.

- Я знаю, что не я... - пролепетал было он.

- Зна-е-те? - опять подхватил Смердяков.

Иван вскочил и схватил его за плечо:

- Говори все, гадина! говори все!

Смердяков несколько не испугался. Он только с безумною ненавистью приковался к нему глазами:

- Ан вот вы-то и убили, коль так, - яростно прошептал он ему.

Иван опустил на стул, как бы что рассудив. Он злобно усмехнулся.

- Это ты все про тогдашнее? Про то что и в прошлый раз?

- Да и в прошлый раз стояли предо мной и все понимали, понимаете и теперь.

- Понимаю только, что ты сумасшедший.

- Не надоест же человеку! С глазу на глаз сидим, чего бы кажется друг-то друга морочить, комедь играть? Али все еще свалить на одного меня хотите, мне же в глаза? Вы убили, вы главный убивец и есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил.

- Совершил? Да разве ты убил? - похолодел Иван. Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал мелкою холодною дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него: вероятно его наконец поразила своею искренностью испуг Ивана.

- Да неужто ж вы вправду ничего не знали? - пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза.

Иван все глядел на него, у него как бы отнялся язык. "Ах поехал Ванька в Питер, Я не буду его ждать." прозвенело вдруг в его голове.

- Знаешь что: я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь? - пролепетал он.

- Никакого тут призрака нет-с, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления тут он теперь, третий этот, находится, между нами двумя.

- Кто он? Кто находится? Кто третий? - испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам.

- Третий этот - бог-с, самое это провидение-с, тут оно теперь подле нас-с, только вы не ищите его, не найдете.

- Ты солгал, что ты убил! - бешено завопил Иван. - Ты или сумасшедший, или дразнишь меня как и в прошлый раз!

Смердяков, как и давеча, совсем не пугаясь, все пытливо следил за ним. Все еще он никак не мог победить своей недоверчивости, все еще казалось ему, что Иван "все знает", а только так представляется, чтоб "ему же в глаза на него одного свалить".

- Подождите-с, - проговорил он наконец слабым голосом, и, вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал заворачивать на ней на верх панталоны. Нога оказалась в длинном белом чулке и обута в туфлю. Не торопясь Смердяков снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел на него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге.

- Сумасшедший! - завопил он и, быстро вскочив с места, откатнулся назад, так что стукнулся спиной об стену и как будто прилип к стене, весь вытянувшись в нитку. Он в безумном ужасе смотрел на Смердякова. Тот, ни мало не смутившись его испугом, все еще копался в чулке, как будто все силясь пальцами что-то в нем ухватить и вытащить. Наконец ухватил и стал тащить. Иван Федорович видел, что это были какие-то бумаги или какая-то пачка бумаг. Смердяков вытащил ее и положил на стол.

- Вот-с! - сказал он тихо.

- Что? - ответил трясась Иван.

- Извольте взглянуть-с, - так же тихо произнес Смердяков. Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее разворачивать, но вдруг отдернул пальцы как будто от прикосновения какого-то отвратительного, страшного гада.

- Пальцы-то у вас все дрожат-с, в судороге, - заметил Смердяков и сам

не спеша развернул бумагу. Под оберткой оказались три пачки сторублевых радужных кредиток.

- Все здесь-с, все три тысячи, хоть не считайте. Примите-с, - пригласил он Ивана, кивая на деньги. Иван опустился на стул. Он был бледен как платок.

- Ты меня испугал... с этим чулком... - проговорил он, как-то странно ухмыляясь.

- Неужто же, неужто вы до сих пор не знали? - спросил еще раз Смердяков.

- Нет, не знал. Я все на Дмитрия думал. Брат! брат! Ах! - Он вдруг схватил себя за голову обеими руками. - Слушай: ты один убил? без брата или с братом?

- Всего только вместе с вами-с; с вами вместе убил-с, а Дмитрий Федорович как есть безвинны-с.

- Хорошо, хорошо... Обо мне потом. Чего это я все дрожу... Слова не могу выговорить.

- Все тогда смелы были-с, "все дескать позволено", говорили-с, а теперь вот так испугались! - пролепетал дивясь Смердяков. - Лимонаду не хотите ли, сейчас прикажу-с. Очень освежить может. Только вот это бы прежде накрыть-с.

И он опять кивнул на пачки. Он двинулся было встать кликнуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду, но, отыскивая чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок, но так как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил войдя Иван, и придавил ею деньги. Название книги было: Святого отца нашего Исаака Сирина слова. Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие.

- Не хочу лимонаду, - сказал он. - Обо мне потом. Садись и говори: как ты это сделал? Все говори...

- Вы бы пальто хоть сняли-с, а то весь взопреете.

Иван Федорович, будто теперь только догадавшись, сорвал пальто и бросил его, не сходя со стула, на лавку.

- Говори же, пожалуста говори!

Он как бы утих. Он уверенно ждал, что Смердяков все теперь скажет.

- Об том как это было сделано-с? - вздохнул Смердяков. - Самым естественным манером сделано было-с, с ваших тех самых слов...

- Об моих словах потом, - прервал опять Иван, но уже не крича как прежде, твердо выговаривая слова и как бы совсем овладев собою. - Расскажи только в подробности, как ты это сделал. Все по порядку. Ничего не забудь. Подробности, главное подробности. Прошу.

- Вы уехали, я упал тогда в погреб-с...

- В падучей или притворился?

- Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с, в самый низ-с, и спокойно лег-с, а как лег, тут и завопил. И бился, пока вынесли.

- Стой! И все время, и потом, и в больнице все притворялся?

- Никак нет-с. На другой же день, на утро, до больницы еще, ударила настоящая и столь сильная, что уже много лет таковой не бывало. Два дня был в совершенном беспамятстве.

- Хорошо, хорошо. Продолжай дальше.

- Положили меня на эту койку-с, я так и знал, что за перегородку-с, потому Марфа Игнатьевна во все разы, как я болен, всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помещении клали-с. Нежные оне всегда ко мне были с самого моего рождения-с. Ночью стонал-с, только тихо. Все ожидал Дмитрия Федоровича.

- Как ждал, к себе?

- Зачем ко мне. В дом их ждал, потому сумления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь придут, ибо им, меня лишившись и никаких сведений не имея, беспрерывно приходилось самим в дом влезть через забор-с, как они умели-с, и что ни есть совершить.

- А если бы не пришел?

- Тогда ничего бы и не было-с. Без них не решился бы.

- Хорошо, хорошо... говори понятнее, не торопись, главное - ничего не пропускай!

- Я ждал, что они Федора Павловича убьют-с... это наверно-с. Потому я их уже так приготовил... в последние дни-с... а главное - те знаки им стали

известны. При ихней мнительности и ярости, что в них за эти дни накопилась, беспрерывно через знаки в самый дом должны были проникнуть-с. Это беспрерывно. Я так их и ожидал-с.

- Стой, - прервал Иван, - ведь если б он убил, то взял бы деньги и унес; ведь ты именно так должен был рассуждать? Что ж тебе-то досталось бы после него? Я не вижу.

- Так ведь деньги-то бы они никогда и не нашли-с. Это ведь их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была не правда-с. Прежде в шкатунке лежали, вот как было-с. А потом я Федора Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли, научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенести, потому что там совсем никто не догадается, особенно коли спеша придет. Так он там, пакет этот, у них в углу за образами и лежал-с. А под тюфяком так и смешно бы их было держать вовсе, в шкатунке по крайней мере под ключом. А здесь все теперь поверили, что будто бы под тюфяком лежали. Глупое рассуждение-с. Так вот если бы Дмитрий Федорович совершили это самое убийство, то ничего не найдя или бы убежали-с поспешно, всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убийцами, или бы арестованы были-с. Так я тогда всегда мог-с, на другой день, али даже в ту же самую ночь-с за образа слазить и деньги эти самые унести-с, все бы на Дмитрия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться.

- Ну, а если б он не убил, а только избил?

- Если бы не убил, то я бы денег конечно взять не посмел и осталось бы втуне. Но был и такой расчет, что избыток до бесчувствия, а я в то время и поспею взять, а там потом Федору-то Павловичу отлепартую, что это никто как Дмитрий Федорович, их избивши, деньги похитили.

- Стой... я путаюсь. Стало быть, все же Дмитрий убил, а ты только деньги взял?

- Нет, это не они убили-с. Что ж, я бы мог вам и теперь сказать, что убийцы они... да не хочу я теперь пред вами лгать, потому... потому что если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтоб явную вину свою на меня же в глаза свалить, то все же вы виновны во всем-с, ибо про убийство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами все знавши уехали. Потому и хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что главный убийца во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убийца и есть!

- Почему, почему я убийца? О боже! - не выдержал наконец Иван, забыв, что все о себе отложил под конец разговора. - Это все та же Чермашня-то? Стой, говори, зачем тебе было надо мое согласие, если уж ты принял Чермашню за согласие? Как ты теперь-то растолкуешь?

- Уверенный в вашей согласии, я уж знал бы, что вы за потерянные эти три тысячи, возвратясь, вопля не подымете, если бы почему-нибудь меня вместо Дмитрия Федоровича начальство заподозрило, али с Дмитрием Федоровичем в товарищах; напротив, от других защитили бы... А наследство получив, так и потом когда могли меня наградить, во всю следующую жизнь, потому что все же вы через меня наследство это получить изволили, а то женившись на Аграфене Александровне вышел бы вам один только шиш.

- А! Так ты намеревался меня и потом мучить, всю жизнь! - проскрежетал Иван. - А что, если б я тогда не уехал, а на тебя заявил?

- А что же бы вы могли тогда заявить? Что я вас в Чермашню-то подговаривал? Так ведь это глупости-с. К тому же вы после разговора нашего поехали бы али остались. Если б остались, то тогда бы ничего и не произошло, я бы так и знал-с, что вы дела этого не хотите, и ничего бы не предпринимал. А если уж поехали, то уж меня значит заверили в том, что на меня в суд заявить не посмеете и три эти тысячи мне простите. Да и не могли вы меня потом преследовать вовсе, потому что я тогда все и рассказал бы на суде-с, то-есть не то, что я украд аль убил, - этого бы я не сказал-с, - а то, что вы меня сами подбивали к тому, чтоб украсть и убить, а я только не согласился. Потому-то мне и надо было тогда ваше согласие, чтобы вы меня ничем не могли припереть-с, потому что где же у вас к тому доказательство, я же вас всегда мог припереть-с, обнаружив, какую вы жажду имели к смерти родителя, и вот вам слово - в публике все бы тому поверили и вам было бы стыдно на всю вашу жизнь.

- Так имел, так имел я эту жажду, имел? - проскрежетал опять Иван.

- Несомненно имели-с и согласием своим мне это дело молча тогда

разрешили-с, - твердо поглядел Смердяков на Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало, но что-то внутреннее и затаенное поджигало его, у него очевидно было какое-то намерение. Иван это предчувствовал.

- Продолжай дальше, - сказал он ему, - продолжай про ту ночь.

- Дальше что же-с! Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильич пред тем вдруг поднялись и вышли, и вдруг завопили, а потом все тихо, мрак. Лежу это я, жду, сердце бьется, вытерпеть не могу. Встал наконец и пошел-с, - вижу налево окно в сад у них отперто, я и еще шагнул на лево-то-с, чтобы прислушаться, живы ли они там сидят или нет, и слышу, что барин мечется и охает, стало быть жив-с. Эх, думаю! Подошел к окну, крикнул барину: "Это я, дескать". А он мне: "Был, был, убежал!" То-есть Дмитрий Федорович значит были-с. - "Григория убил!" - "Где?" шепчу ему. - "Там в углу", указывает, сам тоже шепчет. - "Подождите", говорю. Пошел я в угол искать и у стены на Григория Васильевича лежащего и наткнулся, весь в крови лежит, в бесчувствии. Стало быть верно, что был Дмитрий Федорович, вскочило мне тотчас в голову и тотчас тут же порешил все это покончить внезапно-с, так как Григорий Васильевич, если и живы еще, то лежа в бесчувствии пока ничего не увидят. Один только риск и был-с, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в ту минуту, только уж жажда эта меня всего захватила, ажно дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю: "Она здесь, пришла, Аграфена Александровна пришла, просится". Так ведь и вздрогнул весь как младенец: "Где здесь? где?" так и охает, а сам еще не верит. - "Там, говорю, стоит, отойдите!" Глядит на меня в окно-то, и верит и не верит, а отпереть боится, это уж меня-то боится, думаю. И смешно же: вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда по раме простучать, что Грушенька дескать пришла, при них же в глазах: словам-то как бы не верил, а как знаки я простучал, так тотчас же и побежали дверь отворить. Отворили. Я вошел было, а он стоит, телом-то меня и не пускает всего: - "Где она, где она?" - смотрит на меня и трепещет. Ну, думаю: уж коль меня так боится - плохо! и тут у меня даже ноги ослабели от страху у самого, что не пустит он меня в комнаты-то, или крикнет, али Марфа Игнатьевна прибежит, али что ни есть выйдет, я уж не помню тогда, сам должно быть бледен пред ними стоял. Шепчу ему: - "Да там, там она под окном, как же вы, говорю, не видели?" - "А ты ее приведи, а ты ее приведи!" - "Да боится, говорю, крику испугалась, в куст спряталась, подите крикните, говорю, сами из кабинета". Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил: - "Грушенька, кричит, Грушенька, здесь ты?" Сам-то это кричит, а в окно-то нагнуться не хочет, от меня отойти не хочет, от самого этого страху, потому забоялся меня уж очень, а потому отойти от меня не смеет. "Да вон она, говорю (подошел я к окну, сам весь высунулся), вон она в кусте-то, смеется вам, видите?" Поверил вдруг он, так и затрясся, больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое преспапье чугунное, на столе у них, помните-с, фунта три ведь в нем будет, размахнулся, да сзади его в самое темя углом. Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг навзничь и повалились, лицом кверху, все-то в крови. Осмотрел я: нет на мне крови, не брызнуло, преспапье обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол, и ленточку эту самую розовую подле. Сошел в сад, весь трясусь. Прямо к той яблонке, что с дуплом, - вы дупло-то это знаете, а я его уж давно наглядел, в нем уж лежала тряпочка и бумага, давно заготовил; обернул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там слишком две недели оставалась, сумма-то эта самая-с, потом уж после больницы вынул. Воротился к себе на кровать, лег, да и думаю в страхе: "вот коли убит Григорий Васильевич совсем, так тем самым очень худо может произойти, а коли не убит и очнется, то очень хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало быть они и убили и деньги унесли-с". Начал я тогда от сумления и нетерпения стонать, чтобы Марфу Игнатьевну разбудить поскорей. Встала она наконец, бросилась было ко мне, да как увидела вдруг, что нет Григория Васильевича - выбежала и, слышу, завопила в саду. Ну, тут-с все это и пошло на всю ночь, я уж во всем успокоен был.

Рассказчик остановился. Иван все время слушал его в мертвеном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив

рассказ, он видимо сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было однако угадать, чувствует ли он раскаяние или что.

- Стой, - подхватил соображая Иван. - А дверь-то? Если отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде тебя Григорий отворенною? Потому ведь Григорий видел прежде тебя?

Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голосом, даже совсем как будто другим тоном, совсем не злобным, так что если бы кто-нибудь отворил к ним теперь дверь и с порога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они сидят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновенном, хотя и интересном предмете.

- На счет этой двери и что Григорий Васильевич будто бы видел, что она отперта, то это ему только так почудилось, - искривленно усмехнулся Смердяков. - Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а все равно что упрямый мерин: и не видал, а почудилось ему что видел - вот его уж и не собьете-с. Это уж нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому что Дмитрия Федоровича несомненно после того в конец уличат.

- Слушай, - проговорил Иван Федорович, словно опять начиная теряться и что-то усиливаясь сообразить, - слушай... Я много хотел спросить тебя еще, но забыл... Я все забываю и путаюсь... Да! Скажи ты мне хоть это одно: зачем ты пакет распечатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете унес... Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты так говорил про этот пакет, что так и надо было поступить... а почему так надо - не могу понять...

- А это я так сделал по некоторой причине-с. Ибо будь человек знающий и привычный, вот как я например, который эти деньги сам видел заранее и может их сам же в тот пакет ввертывал и собственными глазами смотрел, как его запечатывали и надписывали, то такой человек-с с какой же бы стати, если бы примерно это он убил, стал бы тогда, после убийства, этот пакет распечатывать, да еще в таких попыхах, зная и без того совсем уж наверно, что деньги эти в том пакете беспрерывно лежат-с? Напротив, будь это похититель как бы я например, то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не распечатывая, и с ним поскорее утек-с. Совсем другое тут Дмитрий Федорович: они об пакете только по наслышке знали, его самого не видели, и вот как достали его примерно, будто из-под тюфяка, то поскорее и распечатали его тут же, чтобы справиться: есть ли в нем в самом деле эти самые деньги? А пакет тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им после них останется, потому что они вор непривычный-с, и прежде никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-с, а если теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а свое собственное только взять обратно пришли, так как всему городу об этом предварительно повестили и даже похвалялись заранее вслух пред всеми, что пойдут и собственность свою от Федора Павловича отберут. Я эту самую мысль прокурору в опросе моем не то что ясно сказал, а напротив как будто намеком подвел-с, точно как бы сам не понимаючи, и точно как бы это они сами выдумали, а не я им подсказал-с, - так у господина прокурора от этого самого намека моего даже слюнки потекли-с...

- Так неужели, неужели ты все это тогда же так на месте и обдумал? - воскликнул Иван Федорович вне себя от удивления. Он опять глядел на Смердякова в испуге.

- Помилосердуйте, да можно ли это все выдумать в таких попыхах-с? Заранее все обдумано было.

- Ну... ну, тебе значит сам чорт помогал! - воскликнул опять Иван Федорович. - Нет, ты не глуп, ты гораздо умней, чем я думал...

Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он только повернулся на месте и сел опять. То, что он не успел пройтись, может быть вдруг и раздражило его, так что он почти в прежнем исступлении вдруг завопил:

- Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только, что берегу тебя на завтрашний ответ на суде. Бог видит (поднял Иван руку кверху) - может быть и я был виновен, может быть действительно я имел тайное желание, чтоб... умер отец, но клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь и, может

быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал! Но все равно, я покажу на себя сам, завтра же, на суде, я решил! Я все скажу, все. Но мы явимся вместе с тобой! И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал – принимаю и не боюсь тебя; сам все подтверждаю! Но и ты должен пред судом сознаться! Должен, должен, вместе пойдем! Так и будет!

Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет.

– Больны вы, я вижу-с, совсем больны-с. Желтые у вас совсем глаза-с, – произнес Смердяков, но совсем без насмешки, даже как будто соболезнуя.

– Вместе пойдем! – повторил Иван, – а не пойдешь, – все равно я один сознаюсь.

Смердяков помолчал, как бы вдумываясь.

– Ничего этого не будет-с, и вы не пойдете-с, – решил он наконец безапелляционно.

– Не понимаешь ты меня! – укоризненно воскликнул Иван.

– Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем признаетесь. А пуще того бесполезно будет, совсем-с, потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никогда, а что вы или в болезни какой (а на то и похоже-с), или уж брата так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все равно меня как за мышку считали всю вашу жизнь, а не за человека. Ну и кто ж вам поверит, ну и какое у вас есть хоть одно доказательство?

– Слушай, эти деньги ты показал мне теперь конечно чтобы меня убедить.

Смердяков снял с пачек Исаака Сирина и отложил в сторону.

– Эти деньги с собой возьмите-с и унесите, – вздохнул Смердяков.

– Конечно унесу! Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил? – с большим удивлением посмотрел на него Иван.

– Не надо мне их вовсе-с, – дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой. – Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве, или пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще все потому, что "все позволено". Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил.

– Своим умом дошел? – криво усмехнулся Иван.

– Вашим руководством-с.

– А теперь стало быть в бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?

– Нет-с, не уверовал-с, – прошептал Смердяков.

– Так зачем отдаешь?

– Полноте... нечего-с! – махнул опять Смердяков рукой. – Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены, сами-то-с? Показывать на себя даже хотите идти... Только ничего того не будет! Не пойдете показывать! – твердо и убежденно решил опять Смердяков.

– Увидишь! – проговорил Иван.

– Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться, – это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь на веки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с.

– Ты не глуп, – проговорил Иван как бы пораженный; кровь ударила ему в лицо: – я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен! – заметил он, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова.

– От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то-с.

Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем.

– Завтра их на суде покажу, – сказал он.

– Никто вам там не поверит-с, благо денег-то у вас и своих теперь довольно, взяли из шкатулки да и принесли-с.

Иван встал с места.

– Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому что ты мне на завтра нужен, помни это, не забывай!

– А что ж, убейте-с. Убейте теперь, – вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана. – Не посмеете и этого-с, – прибавил он,

горько усмехнувшись, - ничего не посмеете, прежний смелый человек-с!

- До завтра! - крикнул Иван и двинулся идти.

- Пойдите... покажите мне их еще раз.

Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них секунд десять.

- Ну, ступайте, - проговорил он, махнув рукой. - Иван Федорович! - крикнул он вдруг ему вслед опять.

- Чего тебе? - обернулся Иван уже на ходу.

- Прощайте-с!

- До завтра! - крикнул опять Иван, и вышел из избы. Метель все еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг, как бы стал шататься. "Это что-то физическое", - подумал он усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость: конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим все последнее время! Решение было взято "и уже не изменится", со счастьем подумал он. В это мгновение он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановясь он различил в ногах своих поверженного им мужиченку, все так же лежавшего на том же самом месте, без чувств и без движения. Метель уже засыпала ему почти все лицо. Иван вдруг схватил его и потащил на себе. Увидав направо в домишке свет, подошел, постучался в ставни, и откликнувшегося мешанина, которому принадлежал домишко, попросил помочь ему дотащить мужика в частный дом, обещая тут же дать за то три рубля. Мещанин собрался и вышел. Не стану в подробности описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть цели и пристроить мужика в части с тем, чтобы сейчас же учинить и осмотр его доктором, при чем он опять выдал и тут щедро рукой "на расходы". Скажу только, что дело взяло почти целый час времени. Но Иван Федорович остался очень доволен. Мысли его раскидывались и работали: "если бы не было взято так твердо решение мое на завтра", - подумал он вдруг с наслаждением, - "то не остановился бы я на целый час пристраивать мужиченку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет... Однако как я в силах наблюдать за собой!" подумал он в ту же минуту еще с большим наслаждением: "а они-то решили там, что я с ума схожу!" Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом: "а не надо ль сейчас, теперь же пойти к прокурору и все объявить?" Вопрос он решил, поворотив опять к дому: "завтра все вместе!" прошептал он про себя, и, странно, почти вся радость, все довольство его собою прошли в один миг. Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. Он устало опустился на свой диван. Старуха принесла ему самовар, он заварил чай, но не прикоснулся к нему; старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилён. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более; усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку. на стоящий у противоположной стены диван. Его видимо что-то там раздражало, какой-то предмет, беспокоило, мучило.

IX. ЧОРТ. КОШМАР ИВАНА ФЕДОРОВИЧА.

Я не доктор, а между тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходимо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича читателю. Забегая вперед, скажу лишь одно: он был теперь, в этот вечер, именно как раз накануне белой горячки, которая наконец уже вполне овладела его издавна расстроенным, но упорно сопротивлявшимся болезни организмом. Не зная ничего в медицине, рискну высказать предположение, что действительно может быть ужасным напряжением воли своей он успел на время

отдалить болезнь, мечтая разумеется совсем преодолеть ее. Он знал, что нездоров, но ему с отвращением не хотелось быть больным в это время, в эти наступающие роковые минуты его жизни, когда надо было быть налицо, высказать свое слово смело и решительно и самому "оправдать себя пред собою". Он впрочем сходил однажды к новому прибывшему из Москвы доктору, выписанному Катериной Ивановной вследствие одной ее фантазии, о которой я уже упоминал выше. Доктор, выслушав и осмотрев его, заключил, что у него в роде даже как бы расстройства в мозгу, и нисколько не удивился некоторому признанию, которое тот с отвращением однако сделал ему. "Галлюцинации в вашем состоянии очень возможны, решил доктор, хотя надо бы их и проверить... вообще же необходимо начать лечение серьезно, не теряя ни минуты, не то будет плохо". Но Иван Федорович, выйдя от него, благоразумного совета не исполнил и лечь лечиться пренебрег: "Хожу ведь, силы есть пока, свалюсь - дело другое, тогда пусть лечит кто хочет", решил он, махнув рукой. Итак, он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреде и, как уже и сказал я, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович, возвратясь от Смердякова, вступил в нее. Это был какой-то господин или лучше сказать известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, "qui frisait la cinquantaine", как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бородке клином. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще третьего года и совершенно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже два года никто не носил. Белье, длинный галстук в виде шарфа, все было так, как и у всех шикаватых джентльменов, но белье, если взглядеться ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлы и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить, равно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собою гость. Словом, был вид порядочности при весьма слабых карманных средствах. Похоже было на то, что джентльмен принадлежит к разряду бывших белоручек-помещиков, процветавших еще при крепостном праве; очевидно выдавший свет и порядочное общество, имевший когда-то связи и сохранивший их пожалуй и до сих пор, но мало-по-малу с обеднением после веселой жизни в молодости и недавней отмены крепостного права, обратившийся в роде как бы в приживальщика хорошего тона, скитающегося по добрым старым знакомым, которые принимают его за уживчивый складный характер, да еще и в виду того, что все же порядочный человек, которого даже и при ком угодно можно посадить у себя за стол, хотя конечно на скромное место. Такие приживальщики, складного характера джентльмены, умеющие порассказать, составить партию в карты и решительно не любящие никаких поручений, если их им навязывают, - обыкновенно одиноки, или холостяки, или вдовцы, может быть и имеющие детей, но дети их воспитываются всегда где-то далеко, у каких-нибудь теток, о которых джентльмен никогда почти не упоминает в порядочном обществе, как бы несколько стыдясь такого родства. От детей же отвыкает мало-по-малу совсем, изредка получая от них к своим именинам и к Рождеству поздравительные письма и иногда даже отвечая на них. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Часов на нем не было, но был черепаховый лорнет на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Федорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину компанию, но смиренно молчавший в виду того, что хозяин занят и об чем-то нахмуренно думает; готовый однако ко всякому любезному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность.

- Послушай, - начал он Ивану Федоровичу, - ты извини, я только чтобы напомнить: ты ведь к Смердякову пошел с тем, чтоб узнать про Катерину Ивановну, а ушел ничего об ней не узнав, верно забыл...

- Ах да! - вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачилось заботой, - да, я забыл... Впрочем теперь все равно, все до завтра, - пробормотал он про себя. - А ты, - раздражительно обратился он к гостю, - это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской! Что ты

выскочил, так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил?

- А не верь, - ласково усмехнулся джентльмен. - Что за вера насилием? При том же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты... я их очень люблю... вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черты с того света рожки показывают. "Это дескать доказательство уже так-сказать материальное, что есть тот свет". Тот свет и материальные доказательства, ай люли! И наконец если доказан чорт, то еще неизвестно, доказан ли бог? Я хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: "дескать реалист, а не материалист, хе хе!"

- Слушай, - встал вдруг из-за стола Иван Федорович. - Я теперь точно в бреду... и уж конечно в бреду... ври, что хочешь, мне все равно! Ты меня не приведешь в исступление как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно... Я хочу ходить по комнате... Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что это я, я сам говорю, а не ты! Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове, и авось ты испаришься.

Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.

- Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на ты, - начал было гость.

- Дурак, - засмеялся Иван, - что ж я вы что ли стану тебе говорить. Я теперь весел, только в виске болит... и темя... только пожалуста не философствуй как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое, сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар! Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом!

- C'est charmant приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле, как не приживальщик? Кстати, я ведь слушаю тебя и немножко дивлюсь: ей богу ты меня как будто уже начинаешь помаленьку принимать за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию, как стоял на том в прошлый раз...

- Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, - как-то яростно даже вскричал Иван. - Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной впрочем моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. С этой стороны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы только мне было время с тобой возиться...

- Позволь, позволь, я тебя уличу: давеча у фонаря, когда ты вскинулся на Алешу и закричал ему: "ты от него узнал! Почему ты узнал, что он ко мне ходит?" Это ведь ты про меня вспоминал. Стало быть одно маленькое мгновеньице ведь верил же, верил, что я действительно есмь, - мягко засмеялся джентльмен.

- Да, это была слабость природы... но я не мог тебе верить. Я не знаю, спал ли я или ходил прошлый раз. Я может быть тогда тебя только во сне видел, а вовсе не наяву...

- А зачем ты давеча с ним так сурово, с Алешей-то? Он милый; я пред ним за старца Зосиму виноват.

- Молчи про Алешу! Как ты смеешь, лакей! - опять засмеялся Иван.

- Бранишься, а сам смеешься, - хороший знак. Ты впрочем сегодня гораздо со мной любезнее, чем в прошлый раз, и я понимаю отчего: это великое решение...

- Молчи про решение! - свирепо вскричал Иван.

- Понимаю, понимаю, c'est noble, c'est charmant, ты идешь защищать завтра брата и приносишь себя в жертву... c'est chevaleresque.

- Молчи, я тебе пинков надаю!

- Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит веришь в мой реализм, потому что призраку не дают пинков. Шутки в сторону: мне ведь все равно, бранись, коли хочешь, но все же лучше быть хоть каплю повежливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да лакей, ну что за слова!

- Браня тебя себя браню! - опять засмеялся Иван, - ты - я, сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не в силах сказать мне нового!

- Если я схожусь с тобой в мыслях, то это делает мне только честь, - с деликатностью и достоинством проговорил джентльмен.

- Только все скверные мои мысли берешь, а главное - глупые. Ты глуп и пошл. Ты ужасно глуп. Нет, я тебя не вынесу! Что мне делать, что мне делать! - проскрежетал Иван.

- Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом и чтобы меня так и принимали, - в припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амбиции начал гость. - Я беден, но... не скажу, что очень честен, но... обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей богу, не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией порядочного человека и живу как придется, стараясь быть приятным. Я людей люблю искренно, - о, меня во многом оклеветали! Здесь, когда временами я к вам переселяюсь, моя жизнь протекает в роде чего-то как бы и в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения! Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я становлюсь суеверен, - не смейся пожалуйста: мне именно это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться. Моя мечта это - воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. Мой идеал - войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, ей богу так. Тогда предел моим страданиям. Вот тоже лечиться у вас полюбил: весной оспа пошла, я пошел и в воспитательном доме себе оспу привил, - если б ты знал, как я был в тот день доволен: на братьев славян десять рублей пожертвовал!.. Да ты не слушаешь. Знаешь, ты что-то очень сегодня не по себе, - помолчал немного джентльмен. - Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору... ну, как твое здоровье? Что тебе доктор сказал?

- Дурак! - отрезал Иван.

- Зато ты-то как умен. Ты опять бранишься? Я ведь не то чтоб из участия, а так. Пожалуй не отвечай. Теперь вот ревматизмы опять пошли...

- Дурак, - повторил опять Иван.

- Ты все свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.

- У чорта ревматизм?

- Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto.

- Как, как? Сатана sum et nihil humanum... это не глупо для чорта!

- Рад, что наконец угодил.

- А ведь это ты взял не у меня, - остановился вдруг Иван как бы пораженный, - это мне никогда в голову не приходило, это странно...

- C'est du nouveau n'est ce pas? На этот раз я поступлю честно и объясню тебе. Слушай: в снах, и особенно в кошмарах, ну, там от расстройства желудка или чего-нибудь, иногда видит человек такие художественные сны, такую сложную и реальную действительность, такие события или даже целый мир событий, связанный такою интригой с такими неожиданными подробностями, начиная с высших ваших проявлений до последней пуговицы на манишке, что, клянусь тебе, Лев Толстой не сочинит, а между тем видят такие сны иной раз вовсе не сочинители, совсем самые заурядные люди, чиновники, фельетонисты, попы... Насчет этого даже целая задача: один министр так даже мне сам признавался, что все лучшие идеи его приходят к нему, когда он спит. Ну вот так и теперь. Я хоть и твоя галлюцинация, но, как и в кошмаре, я говорю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в голову не приходили, так что уже вовсе не повторяю твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар и больше ничего.

- Лжешь. Твоя цель именно уверить, что ты сам по себе, а не мой кошмар, и вот ты теперь подтверждаешь сам, что ты сон.

- Друг мой, сегодня я взял особую методу, я потом тебе растолкую. Постой, где же я остановился? Да, вот я тогда простудился, только не у вас, а еще там...

- Где там? Скажи, долго ли ты у меня пробудешь, не можешь уйти? - почти в отчаянии воскликнул Иван. Он оставил ходить, сел на диван, опять облокотился на стол и стиснул обеими руками голову. Он сорвал с себя мокрое

полотенце и с досадой отбросил его: очевидно не помогало.

- У тебя расстроены нервы, - заметил джентльмен с развязно-небрежным, но совершенно дружелюбным однако видом, - ты сердисься на меня даже за то, что я мог простудиться, а между тем произошло оно самым естественным образом. Я тогда поспешал на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и однако я был еще бог знает где, и чтобы попасть к вам на землю предстояло еще перелететь пространство... конечно это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то... словом, светренничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, яже бе над твердью, - ведь это такой мороз... то есть какое мороз, - это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить: сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известна забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы... только там мог случиться топор...

- А там может случиться топор? - рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно.

- Топор? - переспросил гость в удивлении.

- Ну да, что станется там с топором? - с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович.

- Что станется в пространстве с топором? Quelle idee! Если куда попадет подалее, то примется, я думаю, летать вокруг земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и все.

- Ты глуп, ты ужасно глуп! - строптиво сказал Иван, - ври умнее, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты есть, но я не хочу верить, что ты есь! Не поверю!!

- Да я и не вру, все правда; к сожалению правда почти всегда бывает неостроумна. Ты, я вижу, решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть и прекрасного. Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу...

- Не философствуй, осел!

- Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу. Был у всей медицины: распознать умеют отлично, всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Студентик тут один случился восторженный: если вы, говорит, и умрете, то зато будете вполне знать от какой болезни умерли! Опять-таки эта их манера отсылать к специалистам: мы дескать только распознаем, а вот поезжайте к такому-то специалисту, он уже вылечит. Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил, теперь только одни специалисты и все в газетах публикуются. Заболел у тебя нос, тебя шлют в Париж: там дескать европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос: я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность, а поезжайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую ноздрю долечит. Что будешь делать? прибежал к народным средствам, один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. Я единственно, чтобы только в баню лишней раз сходить, пошел: выпачкался весь, и никакой пользы. С отчаяния графу Маттеи в Милан написал: прислал книгу и капли, бог с ним. И вообрази: мальц-экстракт Гоффа помог! Купил нечаянно, выпил полторы стклянки, и хоть танцевать, все как рукой сняло. Непременно положил ему "спасибо" в газетах напечатать, чувство благодарности заговорило, и вот вообрази, тут уже другая история пошла: ни в одной-то редакции не принимают! "Ретроградно очень будет, говорят, никто не поверит, le diable n'existe point. Вы, советуют, напечатайте анонимно". Ну какое же "спасибо", если анонимно. Смеюсь с конторщиками: "это в бога, говорю, в наш век ретроградно верить, а ведь я чорт, в меня можно". - "Понимаем, говорят, кто же в чорта не верит, а все-таки нельзя, направлению повредить может. Разве в виде шутки?" Ну в шутку-то, подумал, будет неостроумно. Так и не напечатали. И веришь ли, у меня даже на сердце это осталось. Самые лучшие чувства мои, как, например, благодарность, мне формально запрещены

единственно социальным моим положением.

- Опять в философию въехал! - ненавистно проскрежетал Иван.

- Боже меня убереги, но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. Я человек оклеветанный. Вот ты поминутно мне. что я глуп. Так и видно молодого человека. Друг мой, не в одном уме дело! У меня от природы сердце доброе и веселое, "я ведь тоже разные водевильчики". Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседелого Хлестакова, и однако судьба моя гораздо серьезнее. Каким-то там довременным назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен "отрицать, между тем я искренно добр и к отрицанию совсем неспособен. Нет, ступай отрицать, без отрицания де не будет критики, а какой же журнал, если нет "отделения критики"? Без критики будет одна "осанна". Но для жизни мало одной "осанны", надо, чтоб "осанна"-то эта переходила чрез горнило сомнений, ну и так далее, в этом роде. Я впрочем во все это не ввязываюсь, не я сотворял, не я и в ответе. Ну и выбрали козла отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем: я например прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были происшествия. Вот и служу, скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, конечно, но... все же зато живут, живут реально, не фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без страдания какое было бы в ней удовольствие: все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато. Ну а я? Я страдаю, а все же не живу. Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл наконец как и назвать себя. Ты смеешься... нет, ты не смеешься, ты опять сердисься. Ты вечно сердисься, тебе бы все только ума, а я опять-таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и богу свечки ставить.

- Уж и ты в бога не веришь? - ненавистно усмехнулся Иван.

- То-есть как тебе это сказать, если ты только серьезно...

- Есть бог или нет? - опять со свирепой настойчивостью крикнул Иван.

- А, так ты серьезно? Голубчик мой, ей богу не знаю, вот великое слово сказал.

- Не знаешь, а бога видишь? Нет, ты не сам по себе, ты - я, ты есть я и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!

- То-есть, если хочешь, я одной с тобой философии, вот это будет справедливо. Je pense donc je suis, это я знаю наверно, остальное же все, что кругом меня, все эти миры, бог и даже сам сатана, - все это для меня не доказано, существует ли оно само по себе, или есть только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего доременно и единолично... словом, я быстро прерываю, потому что ты кажется сейчас драться вскочишь.

- Лучше бы ты какой анекдот! - болезненно проговорил Иван.

- Анекдот есть и именно на нашу тему, то-есть это не анекдот, а так, легенда. Ты вот укоряешь меня в неверии: "видишь де, а не веришь". Но, друг мой, ведь не я же один таков, у нас там все теперь помутились, и все от ваших наук. Еще пока были атомы, пять чувств, четыре стихии, ну тогда все кое-как клеилось. Атомы-то и в древнем мире были. А вот как узнали у нас, что вы там открыли у себя "химическую молекулу", да "протоплазму", да чорт знает что еще, - так у нас и поджали хвосты. Просто сумбур начался; главное - суеверие, сплетни; сплетень ведь и у нас столько же, сколько у вас, даже капельку больше, а наконец и доносы, у нас ведь тоже есть такое одно отделение, где принимают известные "сведения". Так вот эта дикая легенда, еще средних наших веков, - не ваших, а наших, - и никто-то ей не верит даже и у нас, кроме семипудовых купчих, то-есть опять-таки не ваших, а наших купчих. Все, что у вас есть - есть и у нас, это я уж тебе по дружбе одну тайну нашу открываю, хоть и запрещено. Легенда-то эта об рае. Был дескать здесь у вас на земле такой мыслитель и философ, "все отвергал, законы, совесть, веру", а главное - будущую жизнь. Помер, думал, что прямо во мрак и смерть, ан перед ним - будущая жизнь. Изумился и вознегодовал: "Это, говорит, противоречит моим убеждениям". Вот его за это и присудили... то есть, видишь, ты меня извини, я ведь передаю сам, что слышал, это только

легенда... присудили, видишь, его, чтобы прошел во мраке квадриллион километров (у нас ведь теперь на километры), и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят...

- А какие муки у вас на том свете кроме-то квадриллиона? - с каким-то странным оживлением прервал Иван.

- Какие муки? Ах и не спрашивай: прежде было и так и сяк, а ныне все больше нравственные пошлы, "угрызения совести" и весь этот вздор. Это тоже от вас завелось, от "смягчения ваших нравов". Ну и кто же выиграл, выиграли одни бессовестные, потому что ж ему за угрызения совести, когда и совести-то нет вовсе. Зато пострадали люди порядочные, у которых еще оставалась совесть и честь... То-то вот реформы-то на неприготовленную-то почву, да еще списанные с чужих учреждений, - один только вред! Древний огонек-то лучше бы. Ну, так вот этот осужденный на квадриллион постоял, посмотрел и лег поперек дороги: "не хочу идти, из принципа не пойду!" Возьми душу русского просвещенного атеиста и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три дня и три ночи, - вот тебе характер этого улегшегося на дороге мыслителя.

- На чем же он там улегся?

- Ну, там верно было на чем. Ты не смеешься?

- Молодец! - крикнул Иван, все в том же странном оживлении. Теперь он слушал с каким-то неожиданным любопытством. - Ну что ж, и теперь лежит?

- То-то и есть что нет. Он пролежал почти тысячу лет, а потом встал и пошел.

- Вот осел-то! - воскликнул Иван, нервно захохотав, все как бы что-то усиленно соображая. - Не все ли равно, лежать ли вечно или идти квадриллион верст? Ведь это билион лет ходу?

- Даже гораздо больше, вот только нет карандашика и бумажки, а то бы рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот.

- Как дошел! Да где ж он билион лет взял?

- Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю! Да ведь теперешняя земля может сама-то билион раз повторяться; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердью, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля, - ведь это развитие может уже бесконечно раз повторяться, и все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...

- Ну-ну, что же вышло, когда дошел?

- А только что ему отворили в рай, и он вступил, то, не пробыв еще двух секунд - и это по часам, по часам (хотя часы его, по-моему, давно должны были бы разложиться на составные элементы у него в кармане дорогой), - не пробыв двух секунд, воскликнул, что за эти две секунды не только квадриллион, но квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще возвысив в квадриллионную степень! Словом, пропел "осанну", да и пересолил, так что иные там, с образом мыслей благороднее, так даже руки ему не хотели подать на первых порах: слишком де уж стремительно в консерваторы перескочил. Русская натура. Повторяю: легенда. За что купил, за то и продал. Так вот еще какие там у нас обо всех этих предметах понятия ходят.

- Я тебя поймал! - вскричал Иван с какою-то почти детской радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив: этот анекдот о квадриллионе лет, - это я сам сочинил! Мне было тогда семнадцать лет, я был в гимназии... я этот анекдот тогда сочинил и рассказал одному товарищу, фамилия его Коровкин, это было в Москве... Анекдот этот так характерен, что я не мог его ни откуда взять. Я его было забыл... но он мне припомнился теперь бессознательно, - мне самому, а не ты рассказал! Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут... во сне припомнился. Вот ты и есть этот сон! Ты сон, и не существуешь!

- По азарту, с каким ты отвергаешь меня, - засмеялся джентльмен, - я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.

- Ни мало! на сотую долю не верю!

- Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то доли ведь самые может быть сильные. Признайся, что веришь, ну на десятидесятую...

- Ни одной минуты! - яростно вскричал Иван. - Я впрочем желал бы в тебя поверить! - странно вдруг прибавил он.

- Эге! Вот однако признание! Но я добр. я тебе и тут помогу. Слушай: это я тебя поймал, а не ты меня! Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал,

который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился.

- Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, что ты ешь.

- Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия, - это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: Ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле, я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семячко веры брошу, а из него вырастет дуб, - да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в "отцы пустынноики и в жены непорочны" пожелаешь вступить; ибо тебе очень, очень того в тайне хочется, акриды кушать будешь, спастись в пустыню потащишься!

- Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься?

- Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишься-то ты, злишься, как я погляжу!

- Шут! А искушал ты когда-нибудь вот таких-то, вот что акриды-то едят, да по семнадцати лет в голой пустыне молятся, мохом обросли?

- Голубчик мой, только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен; одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия, - у нас ведь своя арифметика. Победа-то драгоценна! А ведь иные из них, ей богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что право иной раз кажется только бы еще один волосок - и полетит человек "вверх тормашки", как говорит актер Горбунов.

- Ну и что ж, отходил с носом?

- Друг мой, - заметил сентенциозно гость, - с носом все же лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий маркиз (должно быть специалист лечил) на исповеди своему духовному отцу-иезуиту. Я присутствовал - просто прелесть. "Возвратите мне, говорит, мой нос!" И бьет себя в грудь. - "Сын мой, виляет патер, по неисповедимым судьбам провидения все восполняется и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы остались с носом". - "Отец святой, это не утешение!" восклицает отчаянный, - "я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте!" - "Сын мой, вздыхает патер, всех благ нельзя требовать разом и это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас; ибо если вы вопиете, как возопили сейчас, что с радостью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше: ибо, потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом"...

- Фу, как глупо! - крикнул Иван.

- Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но клянусь, это настоящая иезуитская казуистика, и клянусь, все это случилось буква в букву, как я изложил тебе. Случай этот недавний и доставил мне много хлопот. Несчастный молодой человек, возвратясь домой, в ту же ночь застрелился; я был при нем неотлучно до последнего момента... Что же до исповедальных этих иезуитских будочек, то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни. Вот тебе еще один случай, совсем уже на-днях. Приходит к старику патеру блондиночка, норманочка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура - слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. - "Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?.." восклицает патер. "О, Sancta Maria, что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это продолжится, и как вам это не стыдно!" - "Ah mon pere", отвечает грешница, вся в покаянных слезах: - "Ca lui fait tant de plaisir et a moi si peu de peine!" Ну, представь себе такой ответ! Тут уж и я отступился: это крик самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности! Я тут же отпустил ей грех и повернулся было идти, но тотчас же принужден был и воротиться: слышу, патер в дырочку ей назначает вечером свидание, - а ведь старик - кремень, и вот пал в одно мгновение! Природа-то, правда-то природы взяла свое! Что, опять воротись нос, опять сердисься? Не знаю уж чем и угодить тебе...

- Оставь меня, ты стучишь в моем мозгу как неотвязный кошмар. -

болезненно простонал Иван, в бессилии пред своим видением, - мне скучно с тобой, невыносимо и мучительно! Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя!

- Повторяю, умерь свои требования, не требуй от меня "всего великого и прекрасного", и увидишь, как мы дружно с тобой уживемся, - внушительно проговорил джентльмен. - Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился тебе как-нибудь в красном сиянии, "тремя и блистая", с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости: как дескать к такому великому человеку мог войти такой пошлый чорт? Нет, в тебе-таки есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским. Что делать, молодой человек. Я вот думал давеча; собираясь к тебе, для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке, но решительно побоялся, потому ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на фрак Льва и Солнце, а не прицепил по крайней мере Полярную Звезду али Сириуса. И все ты о том, что я глуп. Но бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла, а делает лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я может быть единственный человек во всей природе, который любит истину и искренно желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: "осанна", и громовый вопль восторга серафимов, от которого потрясло небо и все мироздание. И вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми "осанна"! Уже слетало, уже рвалось из груди... я ведь, ты знаешь, очень чувствителен и художественно-восприимчив. Но здравый смысл, - о, самое несчастное свойство моей природы, - удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение! Ибо что же, подумал я в ту же минуту, - что же бы вышло после моей-то "осанны"? Тотчас бы все угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я пожалуй тогда, догадавшись в чем дело, рявкну "осанну", и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться. Я ведь знаю, в конце концов я помирюсь, дойду и я мой квадрилон, и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую и, скрепя сердце, исполняю мое назначение: губить тысячи, чтобы спастись один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище... Ты заснул?

- Еще бы, - злобно простонал Иван, - все, что ни есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного как падаль, - ты мне же подносишь как какую-то новость!

- Не потрафил и тут! А я-то думал тебя даже литературным изложением прельстить: Эта "осанна"-то в небе право недурно ведь у меня вышло? Затем сейчас этот саркастический тон а la Гейне, а, не правда ли?

- Нет, я никогда не был таким лакеем! Почему же душа моя могла породить такого лакея как ты?

- Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего русского барченка: молодого мыслителя и большого любителя литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обещает, под названием: "Великий Инквизитор"... Я его только и имел в виду!

- Я тебе запрещаю говорить о "Великом Инквизиторе", - воскликнул Иван, весь покраснев от стыда.

- Ну, а "Геологический-то переворот"? помнишь? Вот это так уж поэмка!

- Молчи, или я убью тебя!

- Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жадной жизни друзей моих! "Там новые люди", решил ты еще прошлой весной, сюда собираясь, "они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать, - о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от бога (а я верю, что этот период, параллельно геологическим периодам, совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой mzды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную"... ну и прочее и прочее, в том же роде. Премило!

Иван сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом. Голос продолжал:

- Вопрос теперь в том, думал мой кнйный мыслитель: возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то все решено, и человечество устроится окончательно. Но так как, в виду закоренелой глупости человеческой, это пожалуй еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему "все позволено". Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для бога не существует закона! Где станет бог - там уже место божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... "все дозволено" и шабаш! Все это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...

Гость говорил очевидно увлекаясь своим красноречием, все более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина; но ему не удалось докончить: Иван вдруг схватил со стола стакан и с розмаху пустил в оратора.

- Ah, mais c'est bete enfin! - воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю, - вспомнил Лютерову чернильницу! Сам же меня считает за сон и кидается стаканами в сон! Это по-женски! А ведь я так и подозревал, что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал...

В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван Федорович вскочил с дивана.

- Слышишь, лучше отвори, - вскричал гость, - это брат твой Алеша с самым неожиданным и любопытным известием, уж я тебе отвечаю!

- Молчи, обманщик, я прежде тебя знал, что это Алеша, я его предчувствовал, и уж конечно он не даром, конечно с "известием"!.. - воскликнул исступленно Иван.

- Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. M-r, sait-il le temps qu'il fait? C'est a ne pas mettre un chien dehors...

Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну, но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался, как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался все больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, и Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе свечки почти догорели, стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял пред ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в оконную раму, хотя и продолжался настойчиво, но совсем не

так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне, напротив, очень сдержанно.

- Это не сон! Нет, клянусь, это был не сон, это все сейчас было! - вскричал Иван Федорович, бросился к окну и открыл форточку.

- Алеша, я ведь не велел приходить! - свирепо крикнул он брату. - В двух словах: чего тебе надо? В двух словах, слышишь?

- Час тому назад повесился Смердяков, - ответил со двора Алеша.

- Пройди на крыльцо, сейчас отворю тебе, - сказал Иван, и пошел открывать Алеше.

Х. "ЭТО ОН ГОВОРИЛ!"

Алеша войдя сообщил Ивану Федоровичу, что час с небольшим назад прибежала к нему на квартиру Марья Кондратьевна и объявила, что Смердяков лишил себя жизни. "Вхожу этта к нему самовар прибрать, а он у стенки на гвоздочке висит". На вопрос Алеши: "заявила ль она кому следует?" ответила, что никому не заявляла, а "прямо бросилась к вам к первому и всю дорогу бежала бегом". Она была как помешанная, передавал Алеша, и вся дрожала как лист. Когда же Алеша прибежал вместе с ней в их избу, то застал Смердякова все еще висевшим. На столе лежала записка: "Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить". Алеша так и оставил эту записку на столе и пошел прямо к исправнику, у него обо всем заявил, "а оттуда прямо к тебе", заключил Алеша, пристально вглядываясь в лицо Ивана. И все время, пока он рассказывал, он не отводил от него глаз как бы чем-то очень пораженный в выражении его лица.

- Брат, - вскричал он вдруг, - ты верно ужасно болен! Ты смотришь и как будто не понимаешь, что я говорю.

- Это хорошо, что ты пришел, - проговорил как бы задумчиво Иван и как бы вовсе не слышав восклицания Алеши. - А ведь я знал, что он повесился.

- От кого же?

- Не знаю от кого. Но я знал. Знал ли я? Да, он мне сказал. Он сейчас еще мне говорил...

Иван стоял среди комнаты и говорил все так же задумчиво и смотря в землю.

- Кто он? - спросил Алеша, невольно оглядевшись кругом.

- Он улизнул.

Иван поднял голову и тихо улыбнулся:

- Он тебя испугался, тебя, голубя. Ты "чистый херувим". Тебя Дмитрий херувимом зовет. Херувим... Громовый вопль восторга серафимов! Что такое серафим? Может быть целое созвездие. А может быть все то созвездие есть всего только какая-нибудь химическая молекула... Есть созвездие Льва и Солнца, не знаешь ли?

- Брат, сядь! - проговорил Алеша в испуге, - сядь, ради бога, на диван. Ты в бреду, приляг на подушку, вот так. Хочешь полотенце мокрое к голове? Может лучше станет?

- Дай полотенце, вот тут на стуле, я давеча сюда бросил.

- Тут нет его. Не беспокойся, я знаю, где лежит; вот оно, - сказал Алеша, сыскав в другом углу комнаты, у туалетного столика Ивана, чистое, еще сложенное и не употребленное полотенце. Иван странно посмотрел на полотенце; память как бы в миг воротилась к нему.

- Постой, - привстал он с дивана, - я давеча, час назад, это самое полотенце взял оттуда же и смочил водой. Я прикладывал к голове и бросил сюда... как же оно сухое? другого не было.

- Ты прикладывал это полотенце к голове? - спросил Алеша.

- Да, и ходил по комнате, час назад... Почему так свечи сторели? который час?

- Скоро двенадцать.

- Нет, нет, нет! - вскричал вдруг Иван. - это был не сон! Он был, он тут сидел, вон на том диване. Когда ты стучал в окно, я бросил в него стакан... вот этот... Постой, я и прежде спал, но этот сон не сон. И прежде было. У меня, Алеша, теперь бывают сны... но они не сны, а наяву: я хожу,

говоря и вижу... а сплю. Но он тут сидел, он был, вот на этом диване... Он ужасно глуп, Алеша, ужасно глуп, - за смеялся вдруг Иван и принялся шагать по комнате.

- Кто глуп? Про кого ты говоришь, брат? - опять тоскливо спросил Алеша.

- Чорт! Он ко мне повадился. Два раза был, даже почти три. Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто чорт, а не сатана с опаленными крыльями, в громе и блеске. Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец. Он просто чорт, дрянной, мелкий чорт. Он в баню ходит. Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий как у датской собаки, в аршин длиной, бурый... Алеша, ты озяб, ты в снегу был, хочешь чаю? Что? холодный? Хочешь велю поставить? C'est a ne pas mettre un chien dehors...

Алеша быстро сбегал к рукомойнику, намочил полотенце, уговорил Ивана опять сесть и обложил ему мокрым полотенцем голову. Сам сел подле него.

- Что ты мне давеча говорил про Лизу? - начал опять Иван. (Он становился очень словоохотлив.) - Мне нравится Лиза. Я сказал про нее тебе что-то скверное. Я солгал, мне она нравится... Я боюсь завтра за Катю, больше всего боюсь. За будущее. Она завтра бросит меня и растопчет ногами. Она думает, что я из ревности к ней гублю Митю! Да, она это думает! Так вот нет же! Завтра крест, но не виселица. Нет, я не повешусь. Знаешь ли ты, что я никогда не могу лишиться себя жизни, Алеша! От подлости, что ли? Я не трус. От жажды жить! Почему это я знал, что Смердяков повесился? Да, это он мне сказал...

- И ты твердо уверен, что кто-то тут сидел? - спросил Алеша.

- Вон на том диване, в углу. Ты бы его прогнал. Да ты же его и прогнал: он исчез как ты явился. Я люблю твое лицо, Алеша. Знал ли ты, что я люблю твое лицо? А он - это я, Алеша, я сам. Все мое низкое, все мое подлое и презренное! Да, я "романтик", он это подметил... хоть это и клевета. Он ужасно глуп, но он этим берет. Он хитер, животно хитер, он знал, чем взбесить меня. Он все дразнил меня, что я в него верю и тем заставил меня его слушать. Он надул меня как мальчишку. Он мне впрочем сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Знаешь, Алеша, знаешь, - ужасно серьезно и как бы конфиденциально прибавил Иван, - я бы очень желал, чтоб он в самом деле был он, а не я!

- Он тебя измучил, - сказал Алеша, с состраданием смотря на брата.

- Дразнил меня! И знаешь, ловко, ловко: "Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги". - Это он говорил, это он говорил!

- А не ты, не ты? - ясно смотря на брата, неудержимо вскричал Алеша. - Ну и пусть его, брось его и забудь о нем! Пусть он унесет с собою все, что ты теперь проклинаяешь, и никогда не приходит!

- Да, но он зол. Он надо мной смеялся. Он был дерзок, Алеша. - с содроганием обиды проговорил Иван. - Но он клеветал на меня, он во многом клеветал. Лгал мне же на меня же в глаза. "О, ты идешь совершить подвиг добродетели, объявишь, что убил отца, что лакей по твоему наущению убил отца"...

- Брат, - прервал, Алеша, - удержишься: не ты убил. Это неправда!

- Это он говорит, он, а он это знает. "Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь - вот, что тебя злит и мучит, вот отчего ты такой мстительный". - Это он мне про меня говорил, а он знает, что говорит...

- Это ты говоришь, а не он! - горестно воскликнул Алеша, - и говоришь в болезни, в бреде, себя мучая!

- Нет, он знает, что говорит. Ты, говорит, из гордости идешь, ты станешь и скажешь: "это я убил, и чего вы корчитесь от ужаса, вы лжете! Мнение ваше презираю, ужас ваш презираю". - Это он про меня говорит, и вдруг говорит: "А знаешь, тебе хочется, чтоб они тебя похвалили: "Преступник, дескать, убийца, но какие у него великодушные чувства, брата спасти захотел и признался!" Вот это так уж ложь, Алеша! - вскричал вдруг Иван, засверкав глазами. - Я не хочу, чтобы меня смерды хвалили! Это он солгал, Алеша, солгал, клянусь тебе! Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду.

- Брат, успокойся, перестань! - упрашивал Алеша.

- Нет, он умеет мучить, он жесток, - продолжал, не слушая, Иван. - Я

всегда предчувствовал, зачем он приходит. "Пусть, говорит, ты шел из гордости, но ведь все же была и надежда, что уличат Смердякова и сошлют в каторгу, что Митю оправдают, а тебя осудят лишь нравственно - (слышишь, он тут смеялся!) - а другие так и похвалят. Но вот умер Смердяков, повесился, - ну и кто ж тебе там на суде теперь-то одному поверит? А ведь ты идешь, идешь, ты все-таки пойдешь, ты решил, что пойдешь. Для чего же ты идешь после этого?" Это страшно, Алеша, я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы!

- Брат, - прервал Алеша, замирая от страха, но все еще как бы надеясь образумить Ивана, - как же мог он говорить тебе про смерть Смердякова до моего прихода, когда еще никто и не знал о ней, да и времени не было никому узнать?

- Он говорил, - твердо произнес Иван, не допуская и сомнения. - Он только про это и говорил, если хочешь. "И добро бы ты, говорит, в добродетель верил: пусть не поверят мне, для принципа иду. Но ведь ты поросенок как Федор Павлович, и что тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идешь! О ты бы много дал, чтоб узнать самому, для чего идешь! И будто ты решился? Ты еще не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты все-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь, - это уж сам угадай, вот тебе загадка!" Встал и ушел. Ты пришел, а он ушел. Он меня трусом назвал, Алеша! *Le mot de l'enigme*, что я трус! "Не таким орлам воспарять над землей!" Это он прибавил, это он прибавил! И Смердяков это же говорил. Его надо убить! Катя меня презирает, я уже месяц это вижу, да и Лиза презирать начнет! "Идешь, чтоб тебя похвалили", - это зверская ложь! И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять возненавижу. И изверга ненавижу, и изверга ненавижу! Не хочу спасать изверга, пусть сгниет в каторге! Гимн запел! О, завтра я пойду, стану пред ними, и плюну им всем в глаза!

Он вскочил в испуге, сбросил с себя полотенце и принялся снова шагать по комнате. Алеша вспомнил давешние слова его: "Как будто я сплуну наяву... Хожу, говорю и вижу, а сплуну". Именно как будто это совершалось теперь. Алеша не отходил от него. Мелькнула-было у него мысль бежать к доктору и привести того, но он побоялся оставить брата одного: поручить его совсем некому было. Наконец Иван, мало-по-малу, стал совсем лишаться памяти. Он все продолжал говорить, говорил не умолкая, но уже совсем нескладно. Даже плохо выговаривал слова и вдруг сильно покачнулся на месте. Но Алеша успел поддержать его. Иван дал себя довести до постели, Алеша кое-как раздел его и уложил. Сам просидел над ним еще часа два. Больной спал крепко, без движения, тихо и ровно дыша. Алеша взял подушку и лег на диване не раздеваясь. Засыпая помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понятной болезнь Ивана: "Муки гордого решения, глубокая совесть!" Бог, которому он не верил, и правда его одолевали сердце, все еще не хотевшее подчиниться. "Да, - неслось в голове Алешы, уже лежавшей на подушке, - да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит; но он пойдет и покажет!" Алеша тихо улыбнулся: "Бог победит!" подумал он. "Или восстанет в свете правды, или... погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит", горько прибавил Алеша и опять помолился за Ивана.

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ.

СУДЕБНАЯ ОШИБКА.

I. РОКОВОЙ ДЕНЬ.

На другой день после описанных мною событий, в десять часов утра, открылось заседание нашего окружного суда, и начался суд над Дмитрием Карамазовым.

Скажу вперед и скажу с настойчивостью: я далеко не считаю себя в силах передать все то, что произошло на суде, и не только в надлежащей полноте, но даже и в надлежащем порядке. Мне все кажется, что если бы все припомнить и все как следует разъяснить, то потребуется целая книга и даже пребольшая. А потому пусть не посетуют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я мог принять второстепенное за главнейшее, даже совсем упустить самые резкие необходимейшие черты... А впрочем вижу, что лучше не извиняться. Сделаю, как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел.

И во-первых, прежде чем мы войдем в залу суда, упомяну о том, что меня в этот день особенно удивило. Впрочем удивило не одного меня, а, как оказалось впоследствии, и всех. Именно: все знали, что дело это заинтересовало слишком многих, что все сторали от нетерпения, когда начнется суд, что в обществе нашем много говорили, предполагали, восклицали, мечтали уже целые два месяца. Все знали тоже, что дело это получило всероссийскую огласку, но все-таки не представляли себе, что оно до такой уже жгучей, до такой раздражительной степени потрясло всех и каждого, да и не у нас только, а повсеместно, как оказалось это на самом суде в этот день. К этому дню к нам съехались гости не только из нашего губернского города, но и из некоторых других городов России, а наконец из Москвы и из Петербурга. Приехали юристы, приехало даже несколько знатных лиц, а также и дамы. Все билеты были расхвачены. Для особенно почетных и знатных посетителей из мужчин отведены были даже совсем уже необыкновенные места сзади стола, за которым помещался суд: там появился целый ряд занятых разными особами кресел, чего никогда у нас прежде не допускалось. Особенно много оказалось дам, - наших и приезжих, я думаю, даже не менее половины всей публики. Одних только съехавшихся отовсюду юристов оказалось так много, что даже не знали уж, где их и поместить, так как все билеты давно уже были розданы, выпрошены и вымолены. Я видел сам, как в конце залы за эстрадой была временно и наскоро устроена особая загородка, в которую впустили всех этих съехавшихся юристов, и они почли себя даже счастливыми, что могли тут хоть стоять, потому что стулья, чтобы выгадать место, были из этой загородки совсем вынесены, и вся набравшаяся толпа простояла все "дело", густо сомкнувшеюся кучей, плечом к плечу. Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах залы чрезвычайно разряженные, но большинство дам даже и о нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое, жадное, болезненное почти любопытство. Одна из характернейших особенностей всего этого собравшегося в зале общества, и которую необходимо отметить, состояла в том, что, как и оправдалось потом по многим наблюдениям, почти все дамы, по крайней мере огромное большинство их, стояли за Митю и за оправдание его. Может быть, главное, потому что о нем составилось представление как о покорителе женских сердец. Знали, что явятся две женщины-соперницы. Одна из них, то есть Катерина Ивановна, особенно всех интересовала; про нее рассказывалось чрезвычайно много необыкновенного, про ее страсть к Мите, несмотря даже на его преступление, рассказывались удивительные анекдоты. Особенно упоминалось об ее гордости (она почти никому в нашем городе не сделала визитов), об "аристократических связях". Говорили, что она намерена просить правительство, чтоб ей позволили сопровождать преступника на каторгу и обвенчаться с ним где-нибудь в рудниках под землей. С неменьшим волнением ожидали появления на суде и Грушеньки, как соперницы Катерины Ивановны. С мучительным любопытством ожидали встречи пред судом двух соперниц - аристократической гордой девушки и "гетеры"; Грушенька впрочем была известнее нашим дамам, чем Катерина Ивановна. Ее, "по губительницу Федора Павловича и несчастного сына его", видали наши дамы и прежде, и все, почти до единой, удивлялись, как в такую "самую обыкновенную, совсем даже некрасивую собой русскую мещанку" могли до такой степени влюбиться отец и сын. Словом, толков было много. Мне положительно известно, что собственно в нашем городе произошло даже несколько серьезных семейных ссор из-за Мити. Многие дамы горячо поссорились со своими супругами за разность взглядов на все это ужасное дело, и естественно после того, что все мужья этих дам явились в залу суда уже не только нерасположенными к подсудимому, но даже

озлобленными против него. И вообще положительно можно было сказать, что, в противоположность дамскому, весь мужской элемент был настроен против подсудимого. Виднелись строгие, нахмуренные лица, другие даже совсем злобные, и это во множестве. Правда и то, что Митя многих из них сумел оскорбить лично во время своего у нас пребывания. Конечно иные из посетителей были почти даже веселы и весьма безучастны собственнно к судьбе Мити, но все же опять-таки не к рассматривавшемуся делу; все были заняты исходом его, и большинство мужчин решительно желало кары преступнику, кроме разве юристов, которым дорога была не нравственная сторона дела, а лишь так-сказать современно-юридическая. Всех волновал приезд знаменитого Фетюковича. Талант его был известен повсеместно, и это уже не в первый раз, что он являлся в провинции защищать громкие уголовные дела. И после его защиты таковые дела всегда становились знаменитыми на всю Россию и надолго памятными. Ходило несколько анекдотов и о нашем прокуроре и о председателе суда. Рассказывалось, что наш прокурор трепетал встречи с Фетюковичем, что это были старинные враги еще с Петербурга, еще с начала их карьеры, что самолюбивый наш Ипполит Кириллович, считавший себя постоянно кем-то обиженным еще с Петербурга, за то что не были надлежаще оценены его таланты, воскрес было духом над делом Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свое увядшее поприще, но что пугал его лишь Фетюкович. Но насчет трепета пред Фетюковичем суждения были не совсем справедливы. Прокурор наш был не из таких характеров, которые падают духом пред опасностью, а напротив из тех, чье самолюбие вырастает и окрыляется именно по мере возрастания опасности. Вообще же надо заметить, что прокурор наш был слишком горяч и болезненно восприимчив. В иное дело он клал всю свою душу и вел его так, как бы от решения его зависела вся его судьба и все его достоинство. В юридическом мире над этим несколько смеялись, ибо наш прокурор именно этим качеством своим заслужил даже некоторую известность, если далеко не повсеместно, то гораздо большую, чем можно было предположить в виду его скромного места в нашем суде. Особенно смеялись над его страстью к психологии. По-моему, все ошибались: наш прокурор, как человек и характер, кажется мне, был гораздо серьезнее, чем многие о нем думали. Но уж так не умел поставить себя этот болезненный человек с самых первых своих шагов еще в начале поприща, а затем и во всю свою жизнь.

Что же до председателя нашего суда, то о нем можно сказать лишь то, что это был человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей. Был он довольно самолюбив, но о карьере своей не очень заботился. Главная цель его жизни заключалась в том, чтобы быть передовым человеком. При том имел связи и состояние. На дело Карамазовых, как оказалось потом, он смотрел довольно горячо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классификация его, взгляд на него как на продукт наших социальных основ, как на характеристику русского элемента, и проч., и проч. К личному же характеру дела, к трагедии его, равно как и к личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он относился довольно безразлично и отвлеченно, как впрочем может быть и следовало.

Задолго до появления суда зала была уже набита битком. У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, звучная. Направо от членов суда, помещавшихся на некотором возвышении, был приготовлен стол и два ряда кресел для присяжных заседателей. Налево было место подсудимого и его защитника. На середине залы, близ помещения суда стоял стол с "вещественными доказательствами". На нем лежали окровавленный шелковый белый халат Федора Павловича, роковой медный пестик, коим было совершено предполагаемое убийство, рубашка Мити с запачканным кровью рукавом, его скюртук весь в кровавых пятнах сзади на месте кармана, в который он сунул тогда свой весь мокрый от крови платок, самый платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже совсем пожелтевший, пистолет, заряженный для самоубийства Митей у Перхотина и отобранный у него тихонько в Мокром Трифоном Борисовичем, конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки три тысячи, и розовая тоненькая ленточка, которою он был обвязан, и прочие многие предметы, которых и не упомяну. На некотором расстоянии дальше, в глубь залы, начинались места для публики, но еще пред балюстрадой стояло несколько кресел для тех свидетелей, уже давших свое показание, которые будут оставлены в зале. В десять часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и

прокурор. Председатель был плотный, коренастый человек, ниже среднего роста, с геморoidalным лицом, лет пятидесяти, с темными с проседью волосами, коротко обстриженными, и в красной ленте – не помню уж какого ордена. Прокурор же показался мне, – да и не мне, а всем, очень уж как-то бледным, почти с зеленым лицом, почему-то как бы внезапно похудевшим в одну может быть ночь, потому что я всего только третьего дня видел его совсем еще в своем виде. Председатель начал с вопроса судебному приставу: все ли явились присяжные заседатели?.. Вижу однако, что так более продолжать не могу, уже потому даже, что многого не расслышал, в другое пропустил вникнуть, третье забыл упомянуть, а главное потому что, как уже и сказал я выше, если все припоминать, что было сказано и что произошло, то буквально не достанет у меня ни времени, ни места. Знаю только, что присяжных заседателей, тою и другою стороною, то есть защитником и прокурором отведено было не очень много. Состав же двенадцати присяжных запомнил: четыре наших чиновника, два купца и шесть крестьян и мещан нашего города. У нас в обществе, я помню, еще задолго до суда, с некоторым удивлением спрашивали, особенно дамы: "Неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение каким-то чиновникам и наконец мужикам, и "что де поймет тут какой-нибудь такой чиновник, тем более мужик?" В самом деле, все эти четыре чиновника, попавшие в состав присяжных, были люди мелкие, малочиновные, седые, – один только из них был несколько помоложе, – в обществе нашем малоизвестные, прозябавшие на мелком жалованье, имевшие должно быть старых жен, которых никуда нельзя показать, и по куче детей, может быть даже босоногих, много-много что развлекавшие свой досуг где-нибудь картишками и, уж разумеется, никогда не прочитавшие ни одной книги. Два же купца имели хоть и степенный вид, но были как-то странно молчаливы и неподвижны; один из них брил бороду и был одет по-немецки; другой, с седенькою бородкой, имел на шее, на красной ленте, какую-то медаль. Про мещан и крестьян и говорить нечего. Наши скотопригоньевские мещане почти те же крестьяне, даже пахнут. Двое из них были тоже в немецком платье и оттого-то может быть грязнее и непригляднее на вид, чем остальные четверо. Так что действительно могла зайти мысль, как зашла и мне, например, только что я их рассмотрел: "что могут такие постичь в таком деле?" Тем не менее лица их производили какое-то странно-внушительное и почти грозящее впечатление, были строги и нахмурены.

Наконец председатель объявил к слушанию дело об убийстве отставного титулярного советника Федора Павловича Карамазова, – не помню вполне, как он тогда выразился. Судебному приставу велено было ввести подсудимого, и вот появился Митя. Все затихло в зале, муху можно было услышать. Не знаю как на других, но вид Мити произвел на меня самое неприятное впечатление. Главное, он явился ужасным франтом, в новом с иголочки сюртуке. Я узнал потом, что он нарочно заказал к этому дню себе сюртук в Москве, прежнему портному, у которого сохранилась его мерка. Был он в новешеньких черных лайковых перчатках и в щегольском белье. Он прошел своими длинными аршинными шагами, прямо до неподвижности смотря пред собою, и сел на свое место с самым бестрепетным видом. Тут же, сейчас же явился и защитник, знаменитый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронесся в зале. Это был длинный, сухой человек, с длинными, тонкими ногами, с чрезвычайно длинными, бледными тонкими пальцами, с обритым лицом, со скромно причесанными, довольно короткими волосами, с тонкими изредка кривившимися, не то насмешкой, не то улыбкой губами. На вид ему было лет сорок. Лицо его было бы и приятным, если бы не глаза его, сами по себе небольшие и невыразительные, но до редкости близко один от другого поставленные, так что их разделяла всего только одна тонкая косточка его продолговатого тонкого носа. Словом, физиономия эта имела в себе что-то резко птичье, что поражало. Он был во фраке и в белом галстуке. Помню первый опрос Мити председателем, то есть об имени, звании и пр. Митя ответил резко, но как-то неожиданно громко, так что председатель встряхнул даже головой и почти с удивлением посмотрел на него. Затем был прочитан список лиц, вызванных к судебному следствию, то есть свидетелей и экспертов. Список был длинный; четверо из свидетелей не явились: Миусов, бывший в настоящее время уже в Париже, но показание которого имелось еще в предварительном следствии, г-жа Хохлакова и помещик Максимов по болезни и Смердяков за внезапною смертью, при чем было представлено свидетельство от полиции. Известие о Смердякове вызвало сильное шевеление и шепот в зале. Конечно, в публике многие еще вовсе не знали об

этом внезапном эпизоде самоубийства. Но что особенно поразило, это - внезапная выходка Мити: только что донесли о Смердякове, как вдруг он со своего места воскликнул на всю залу.

- Собаке собачья смерть!

Помню, как бросился к нему его защитник и как председатель обратился к нему с угрозой принять строгие меры, если еще раз повторится подобная этой выходка. Митя отрывисто и кивая головой, но как будто совсем не раскаиваясь, несколько раз повторил вполголоса защитнику:

- Не буду, не буду! Сорвалось! Больше не буду! И уж конечно этот коротенький эпизод послужил не в его пользу во мнении присяжных и публики. Объявлялся характер и рекомендовал себя сам. Под этим-то впечатлением был прочитан секретарем суда обвинительный акт.

Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь главнейшие причины, почему привлечен такой-то, почему его должно было предать суду, и так далее. Тем не менее он произвел на меня сильное впечатление. Секретарь прочел четко, звучно, отчетливо. Вся эта трагедия как бы вновь появилась пред всеми выпукло, концентрично, освещенная роковым, неумолимым светом. Помню, как сейчас же по прочтении председатель громко и внушительно спросил Митю:

- Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?

Митя вдруг встал с места:

- Признаю себя виновным в пьянстве и разврате, - воскликнул он каким-то опять-таки неожиданным, почти исступленным голосом, - в лени и в дебоширстве. Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла судьба! Но в смерти старика, врага моего и отца - не виновен! Но в ограблении его - нет, нет, не виновен, да и не могу быть виновным: Дмитрий Карамазов подлец, но не вор!

Прокричав это, он сел на место, видимо весь дрожа. Председатель снова обратился к нему с кратким, но назидательным увещанием отвечать лишь на вопросы, а не вдаваться в посторонние и исступленные восклицания. Затем велел приступить к судебному следствию. Ввели всех свидетелей для присяги. Тут я увидел их всех разом. Впрочем, братья подсудимого были допущены к свидетельству без присяги. После увещания священника и председателя, свидетелей увели и рассадили по возможности порознь. Затем стали вызывать их по одному.

II. ОПАСНЫЕ СВИДЕТЕЛИ.

Не знаю, были ли свидетели прокурорские и от защиты разделены председателем как-нибудь на группы и в каком именно порядке предположено было вызывать их. Должно быть все это было. Знаю только, что первыми стали вызывать свидетелей прокурорских. Повторяю, я не намерен описывать все допросы и шаг за шагом. К тому же мое описание вышло бы отчасти и лишним, потому что в речах прокурора и защитника, когда приступили к прениям, весь ход и смысл всех данных и выслушанных показаний были сведены как бы в одну точку с ярким и характерным освещением, а эти две замечательные речи я по крайней мере местами записал в полноте и передам в свое время, равно как и один чрезвычайный и совсем неожиданный эпизод процесса, разыгравшийся внезапно еще до судебных прений и несомненно повлиявший на грозный и роковой исход его. Замечу только, что с самых первых минут суда выступила ярко некоторая особая характерность этого "дела", всеми замеченная, именно: необыкновенная сила обвинения сравнительно со средствами, какие имела защита. Это все поняли в первый миг, когда в этой грозной зале суда начали, концентрируясь, группироваться факты и стали постепенно выступать весь этот ужас и вся эта кровь наружу. Всем может быть стало понятно еще с самых первых шагов, что это совсем даже и не спорное дело, что тут нет сомнений, что в сущности никаких бы и прений не надо, что прения будут лишь только для формы, а что преступник виновен, виновен явно, виновен окончательно. Я думаю даже, что и все дамы, все до единой, с таким нетерпением жаждавшие оправдания интересного подсудимого, были в то же время совершенно уверены в

полной его виновности. Мало того, мне кажется, они бы даже огорчились, если бы виновность его не столь подтвердилась, ибо тогда не было бы такого эффекта в развязке, когда оправдают преступника. А что его оправдают - в этом, странное дело, все дамы были окончательно убеждены почти до самой последней минуты: "виновен, но оправдают из гуманности, из новых идей, из новых чувств, которые теперь пошли", и проч., и проч. Для того-то они и сбежались сюда с таким нетерпением. Мужчины же наиболее интересовались борьбой прокурора и славного Фетюковича. Все удивлялись и спрашивали себя: что может сделать из такого потерянного дела, из такого выеденного яйца даже и такой талант как Фетюкович? а потому с напряженным вниманием следили шаг за шагом за его подвигами. Но Фетюкович до самого конца, до самой речи своей остался для всех загадкой. Опытные люди предчувствовали, что у него есть система, что у него уже нечто составилось, что впереди у него есть цель. но какая она - угадать было почти невозможно. Его уверенность и самонадеянность бросались однако же в глаза. Кроме того, все с удовольствием сейчас же заметили, что он, в такое краткое пребывание у нас, всего в какие-нибудь три дня может быть, сумел удивительно ознакомиться с делом и "до тонкости изучил его". С наслаждением рассказывали например, потом, как он всех прокурорских свидетелей сумел во-время "подвести" и по возможности сбить, а главное, подмарать их нравственную репутацию, а стало быть само собой подмарать и их показания. Полагали впрочем, что он делает это много-много что для игры, так-сказать для некоторого юридического блеска, чтоб уж ничего не было забыто из принятых адвокатских приемов: ибо все были убеждены, что какой-нибудь большой и окончательной пользы он всеми этими "подмарываниями" не мог достичь, и вероятно это сам лучше всех понимает, имея какую-то свою идею в запасе, какое-то еще пока припрятанное оружие защиты, которое вдруг и обнаружит, когда придет срок. Но пока все-таки, сознавая свою силу, он как бы играл и резвился. Так например, когда опрашивали Григория Васильева, бывшего камердинера Федора Павловича, дававшего самое капитальное показание об "отворенной в сад двери", защитник так и вцепился в него, когда ему, в свою очередь, пришлось предлагать вопросы. Надо заметить, что Григорий Васильев предстал в залу не смутившись ни мало ни величием суда, ни присутствием огромной слушавшей его публики, с видом спокойным и чуть не величавым. Он давал свои показания с такою уверенностью, как если бы беседовал наедине со своею Марфой Игнатьевной, только разве почтительнее. Сбить его было невозможно. Его сначала долго расспрашивал прокурор о всех подробностях семейства Карамазовых. Семейная картина ярко выставилась наружу. Слышалось, виделось, что свидетель был простодушен и беспристрастен. При всей глубочайшей почтительности к памяти своего бывшего барина, он все-таки, например, заявил, что тот был к Мите несправедлив и "не так воспитал детей. Его, малого мальчика без меня вши бы заели", прибавил он, повествуя о детских годах Мити. "Тоже не годилось отцу сына в имени его материнском, родовом, обижать". На вопрос же прокурора о том, какие у него основания утверждать, что Федор Павлович обидел в расчете сына, Григорий Васильевич, к удивлению всех, основательных данных совсем никаких не представил, но все-таки стоял на том, что расчет с сыном был "неправильный", и что это точно ему "несколько тысяч следовало доплатить". Замечу кстати, что этот вопрос - действительно ли Федор Павлович не доплатил чего Мите, прокурор с особенною настойчивостью предлагал потом и всем тем свидетелям, которым мог его предложить, не исключая ни Алеши, ни Ивана Федоровича, но ни от кого из свидетелей не получил никакого точного сведения; все утверждали факт, и никто не мог представить хоть сколько-нибудь ясного доказательства. После того как Григорий описал сцену за столом, когда ворвался Дмитрий Федорович и избил отца, угрожая воротиться убить его, - мрачное впечатление пронеслось по зале, тем более, что старый слуга рассказывал спокойно, без лишних слов, своеобразным языком, а вышло страшно красноречиво. За обиду свою Митей, ударившим его тогда по лицу и сбившим его с ног, он заметил, что не сердится и давно простил. О покойном Смердякове выразился, перекрестясь, что малый был со способностью, да глуп и болезнью угнетен, а пуше безбожник, и что его безбожеству Федор Павлович и старший сын учили. Но о честности Смердякова подтвердил почти с жаром и тут же передал, как Смердяков, во время оно, найдя оброненные барские деньги, не утаил их, а принес барину, и тот ему за это "золотой подарил" и впредь во всем доверять начал. Отворенную же дверь в сад подтвердил с упорною настойчивостью. Впрочем его так много

расспрашивали, что я всего и припомнить не могу. Наконец, опросы перешли к защитнику, и тот первым делом начал узнавать о пакете, в котором "будто бы" спрятаны были Федором Павловичем три тысячи рублей для "известной особы". "Видели ли вы его сами – вы, столь многолетне-приближенный к вашему барину человек?" Григорий ответил, что не видел, да и не слышал о таких деньгах вовсе ни от кого, "до самых тех пор, как вот начали теперь все говорить". Этот вопрос о пакете Фетюкович со своей стороны тоже предлагал всем, кого мог об этом спросить из свидетелей, с такою же настойчивостью как и прокурор свой вопрос о разделе имения, и ото всех тоже получал лишь один ответ, что пакета никто не видал, хотя очень многие о нем слышали. Эту настойчивость защитника на этом вопросе все с самого начала заметили.

– Теперь могу ли обратиться к вам с вопросом, если только позволите, – вдруг и совсем неожиданно спросил Фетюкович, – из чего состоял тот бальзам, или так-сказать та настойка, посредством которой вы в тот вечер, пред сном, как известно из предварительного следствия, вытерли вашу страдающую поясницу, надеясь тем излечиться?

Григорий тупо посмотрел на опросчика и, помолчав несколько, пробормотал: "был шалфей положен".

– Только шалфей? Не припомните ли еще чего-нибудь?

– Подорожник был тоже.

– И перец может быть? – любопытствовал Фетюкович.

– И перец был.

– И так далее. И все это на водочке?

– На спирту.

В зале чуть-чуть пронесся смехок.

– Видите, даже и на спирту. Вытерши спину, вы ведь остальное содержание бутылки, с некоею благочестивою молитвою, известной лишь вашей супруге, изволили выпить, ведь так?

– Выпил.

– Много ли примерно выпили? Примерно? Рюмочку, другую?

– Со стакан будет.

– Даже и со стакан. Может быть и полтора стаканчика? Григорий замолк.

Он как бы что-то понял.

– Стаканчика полтора чистенького спиртику – оно ведь очень недурно, как вы думаете? Можно и "райские двери отверзты" увидеть, не то что дверь в сад?

Григорий все молчал. Опять прошел смехок в зале. Председатель пошевелился.

– Не знаете ли вы наверно, – впивался все более и более Фетюкович, – почивали вы или нет в ту минуту, когда увидели отворенную в сад дверь?

– На ногах стоял.

– Это еще не доказательство, что не почивали (еще и еще смехок в зале).

Могли ли например ответить в ту минуту, если бы вас кто спросил о чем, – ну например о том, который у нас теперь год?

– Этого не знаю.

– А который у нас теперь год, нашей эры, от Рождества Христова, не знаете ли?

Григорий стоял со сбитым видом, в упор смотря на своего мучителя. Странно это, казалось, повидимому, что он действительно не знает какой теперь год.

– Может быть знаете однако, сколько у вас на руке пальцев?

– Я человек подневольный, – вдруг громко и раздельно проговорил Григорий, – коли начальству угодно надо мною надсмехаться, так я снести должен.

Фетюковича как бы немножко осаждало, но ввязался и председатель и назидательно напомнил защитнику, что следует задавать более подходящие вопросы. Фетюкович, выслушав, с достоинством поклонился и объявил, что расспросы свои кончил. Конечно, и в публике, и у присяжных мог остаться маленький червячек сомнения в показании человека, имевшего возможность "видеть райские двери" в известном состоянии лечения и кроме того даже неведующего какой нынче год от Рождества Христова; так что защитник своей цели все-таки достиг. Но пред уходом Григория произошел еще эпизод. Председатель, обратившись к подсудимому, спросил: не имеет ли он чего заметить по поводу данных показаний?

– Кроме двери во всем правду сказал, – громко крикнул Митя. – Что вшей

мне вычесывал - благодарю, что побои мне простил - благодарю; старик был честен всю жизнь и верен отцу как семьсот пудел [ЕАСУТЕ]й.

- Подсудимый, выбирайте ваши слова, - строго проговорил председатель.

- Я не пудель, - проворчал и Григорий.

- Ну так это я пудель, я! - крикнул Митя. - Коли обидно, то на себя принимаю, а у него прощения прошу: был зверь и с ним жесток! С Езопом тоже был жесток.

- С каким Езопом? - строго поднял опять председатель.

- Ну с Пьеро... с отцом, с Федором Павловичем. Председатель опять и опять внушительно и строжайше уже подтвердил Мите, чтоб он осторожнее выбирал свои выражения.

- Вы сами вредите себе тем во мнении судей ваших. Точно - так же весьма ловко распорядился защитник и при спросе свидетеля Ракитина. Замечу, что Ракитин был из самых важных свидетелей, и которым несомненно дорожил прокурор. Оказалось, что он все знал, удивительно много знал, у всех-то он был, все-то видел, со всеми-то говорил, подробнейшим образом знал биографию Федора Павловича и всех Карамазовых. Правда, про пакет с тремя тысячами тоже слышал лишь от самого Мити. Зато подробно описал подвиги Мити в трактуре "Столичный город", все компрометирующие того слова и жесты и передал историю о "мочалке" штабс-капитана Снегирева. Насчет же того особого пункта, остался ли что-нибудь должен Федор Павлович Мите при расчете по имению - даже сам Ракитин не мог ничего указать и отделался лишь общими местами презрительного характера: "кто дескать мог бы разобрать из них виноватого и сосчитать кто кому остался должен при беспотковой Карамазовщине, в которой никто себя не мог ни понять, ни определить?" Вся трагедию судимого преступления он изобразил как продукт застарелых нравов крепостного права и погруженной в беспорядок России, страдающей без соответственных учреждений. Словом, ему дали кое-что высказать. С этого процесса господин Ракитин в первый раз заявил себя и стал заметен; прокурор знал, что свидетель готовит в журнал статью о настоящем преступлении, и потом уже в речи своей (что увидим ниже) цитовал несколько мыслей из этой статьи, значит уже был с нею знаком. Картина, изображенная свидетелем, вышла мрачною и роковою и сильно подкрепила "обвинение". Вообще же изложение Ракитина пленило публику независимостию мысли и необыкновенным благородством ее полета. Послышались даже два, три внезапно сорвавшиеся рукоплескания, именно в тех местах, где говорилось о крепостном праве и о страдающей от безурядицы России. Но Ракитин, все же как молодой человек, сделал маленький промах, которым тотчас же отменно успел воспользоваться защитник. Отвечая на известные вопросы насчет Грушеньки, он, увлеченный своим успехом, который конечно уже сам сознавал, и тою высотой благородства, на которую воспарил, позволил себе выразиться об Аграфене Александровне несколько презрительно, как о "содержанке купца Самсонова". Дорого дал бы он потом, чтобы воротить свое словечко, ибо на нем-то и поймал его тотчас же Фетюкович. И все потому, что Ракитин совсем не рассчитывал, что тот в такой короткий срок мог до таких интимных подробностей ознакомиться с делом.

- Позвольте узнать, - начал защитник с самою любезною и даже почтительною улыбкою, когда пришлось ему в свою очередь задавать вопросы, - вы конечно тот самый и есть г. Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным начальством, Житие в бозе почившего старца отца Зосимы, полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и благочестивым посвящением преосвященному, я недавно прочел с таким удовольствием?

- Я написал не для печати... это потом напечатали, - пробормотал Ракитин, как бы вдруг чем-то опешенный и почти со стыдом.

- О, это прекрасно! Мыслитель, как вы, может и даже должен относиться весьма широко ко всякому общественному явлению. Покровительством преосвященного ваша полезнейшая брошюра разошлась и доставила относительную пользу... Но я вот о чем, главное, желал бы у вас полюбопытствовать: вы только что заявили, что были весьма близко знакомы с г-жой Светловой? (Nota bene. Фамилия Грушеньки оказалась "Светлова". Это я узнал в первый раз только в этот день, во время хода процесса.)

- Я не могу отвечать за все мои знакомства... Я молодой человек... и кто же может отвечать за всех тех, кого встречает, - так и вспыхнул весь Ракитин.

- Понимаю, слишком понимаю! - воскликнул Фетюкович как бы сам

сконфуженный и как бы стремительно спеша извиниться, - вы, как и всякий другой, могли быть в свою очередь заинтересованы знакомством молодой и красивой женщины, охотно принимавшей к себе цвет здешней молодежи, но... я хотел лишь осведомиться: нам известно, что Светлова месяца два назад чрезвычайно желала познакомиться с младшим Карамазовым, Алексеем Федоровичем, и только за то, чтобы вы привели его к ней, и именно в его тогдашнем монастырском костюме, она пообещала вам выдать двадцать пять рублей, только что вы его к ней приведете. Это, как и известно, состоялось именно в вечер того дня, который закончился трагической катастрофой, послужившею основанием настоящему делу. Вы привели Алексея Карамазова к госпоже Светловой и - получили вы тогда эти двадцать пять рублей наградных от Светловой, вот что я желал бы от вас услышать?

- Это была шутка... Я не вижу, почему вас это может интересовать. Я взял для шутки... и чтобы потом отдать...

- Стало быть взяли. Но ведь не отдали же и до сих пор... или отдали?

- Это пустое... - бормотал Ракитин, - я не могу на этикие вопросы отвечать... Я конечно отдам.

Вступился председатель, но защитник возвестил, что он свои вопросы г. Ракитину кончил. Г. Ракитин сошел со сцены несколько подсаленный. Впечатление от высшего благородства его речи было-таки испорчено, и Фетюкович, провожая его глазами, как бы говорил, указывая публике: "вот дескать каковы ваши благородные обвинители!" Помню, не прошло и тут без эпизода со стороны Мити: взбешенный тоном, с каким Ракитин выразился о Грушеньке, он вдруг закричал со своего места: "Бернар!" Когда же председатель, по окончании всего опроса Ракитина, обратился к подсудимому: не желает ли он чего заметить со своей стороны, то Митя зычно крикнул:

- Он у меня уже у подсудимого деньги таскал займы! Бернар презренный и карьерист, и в бога не верует, преосвященного надул!

Митю, конечно, опять образумили за неистовство выражений, но г. Ракитин был dokonчен. Не повезло и свидетельству штабс-капитана Снегирева, но уже совсем от другой причины. Он предстал весь изорванный, в грязной одежде, в грязных сапогах, и несмотря на все предосторожности и предварительную "экспертизу", вдруг оказался совсем пьяненьким. На вопросы об обиде, нанесенной ему Митей, вдруг отказался отвечать.

- Бог с ними-с. Илюшечка не велел. Мне бог там заплатит-с.

- Кто вам не велел говорить? Про кого вы упоминаете?

- Илюшечка, сыночек мой: "Папочка, папочка, как он тебя унизил!" У камушка произнес. Теперь помирает-с...

Штабс-капитан вдруг зарыдал и с розмаху бухнулся в ноги председателю. Его поскорее вывели, при смехе публики. Подготовленное прокурором впечатление не состоялось вовсе.

Защитник же продолжал пользоваться всеми средствами и все более и более удивлял своим ознакомлением с делом до мельчайших подробностей. Так например показание Трифона Борисовича произвело было весьма сильное впечатление и уж конечно было чрезвычайно неблагоприятно для Мити. Он именно, чуть не по пальцам, высчитал, что Митя, в первый приезд свой в Мокрое, за месяц почти пред катастрофой, не мог истратить менее трех тысяч или "разве без самого только малого. На одних этих цыганок сколько раскидано! Нашим-то, нашим-то вшивым мужикам не то что "полтиною по улице шибали", а по меньшей мере двадцатипятирублевыми бумажками дарили, меньше не давали. А сколько у них тогда просто украли-с! Ведь кто украд, тот руки своей не оставил, где же его поймать, вора-то-с, когда сами зря разбрасывали! Ведь у нас народ разбойник, душу свою не хранят. А девкам-то, девкам-то нашим деревенским что пошло! Разбогатели у нас с той поры, вот что-с, прежде бедность была". Словом, он припомнил всякую издержку и вывел все точно на счетах. Таким образом предположение о том, что истрачены были лишь полторы тысячи, а другие отложены в ладонку, становилось невыносимым. "Сам видел, в руках у них видел три тысячи как одну копеечку, глазами созерцал, уж нам ли счету не понимать-с!" восклицал Трифон Борисович, изо всех сил желая угодить "начальству". Но когда опрос перешел к защитнику, тот, почти и не пробуя опровергать показание, вдруг завел речь о том, что ямщик Тимофей и другой мужик Аким подняли в Мокром, в этот первый кутеж, еще за месяц до ареста, сто рублей в сенях на полу, оброненные Митей в хмельном виде, и представили их Трифону Борисовичу, а тот дал им за это по рублю. "Ну так возвратили вы

тогда эти сто рублей г. Карамазову или нет?" Трифон Борисович как ни вилял, но после допроса мужиков в найденной сторублевой сознался, прибавив только, что Дмитрию Федоровичу тогда же свято все возвратил и вручил "по самой честности, и что вот только оне сами будучи в то время совсем пьяными-с вряд ли это могут припомнить". Но так как он все-таки до призыва свидетелей-мужиков в находке ста рублей отрицался, то и показание его о возврате суммы хмельному Мите естественно подверглось большому сомнению. Таким образом один из опаснейших свидетелей, выставленных прокуратурой, ушел опять-таки заподозренным и в репутации своей сильно осаленным. То же приключилось и с поляками: те явились гордо и независимо. Громко засвидетельствовали, что, во-первых, оба "служили короне" и что "пан Митя" предлагал им три тысячи, чтобы купить их честь, и что они сами видели большие деньги в руках его. Пан Муссялович вставлял страшно много польских слов в свои фразы и видя, что это только возвышает его в глазах председателя и прокурора, возвысил наконец свой дух окончательно и стал уже совсем говорить по-польски. Но Фетюкович поймал и их в свои тенета: как ни вилял позванный опять Трифон Борисович, а все-таки должен был сознаться, что его колода карт была подменена паном Врублевским своею, а что пан Муссялович, меча банк, передернул карту. Это уже подтвердил Калганов, давая в свою очередь показание, и оба пана удалились с некоторым срамом, даже при смехе публики.

Затем точно так произошло почти со всеми наиболее опаснейшими свидетелями. Каждого-то из них сумел Фетюкович нравственно размарать и отпустить с некоторым носом. Любители и христы только любовались и лишь недоумевали опять-таки, к чему такому большому и окончательному все это могло бы послужить, ибо, повторяю, все чувствовали неотразимость обвинения, все более и трагичнее нараставшего. Но по уверенности "великого мага" видели, что он был спокоен, и ждали: не даром же приехал из Петербурга "таков человек", не таков и человек, чтобы ни с чем назад воротиться.

III. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОДИН ФУНТ ОРЕХОВ.

Медицинская экспертиза тоже не очень помогла подсудимому. Да и сам Фетюкович кажется не очень на нее рассчитывал, что и оказалось впоследствии. В основании своем она произошла единственно по настоянию Катерины Ивановны, вызвавшей нарочно знаменитого доктора из Москвы. Защита конечно ничего не могла через нее проиграть, а в лучшем случае могла что-нибудь и выиграть. Впрочем отчасти вышло даже как бы нечто комическое, именно по некоторому разногласию докторов. Экспертами Явились - приехавший знаменитый доктор, затем наш доктор Герценштубе и наконец молодой врач Варвинский. Оба последние фигурировали тоже и как просто свидетели, вызванные прокурором. Первым спрошен был в качестве эксперта доктор Герценштубе. Это был семидесятилетний старик, седой и плешивый, среднего роста, крепкого сложения. Его все у нас в городе очень ценили и уважали. Был он врач добросовестный, человек прекрасный и благочестивый, какой-то гернгутер или "Моравский брат" - уж не знаю наверно. Жил у нас уже очень давно и держал себя с чрезвычайным достоинством. Он был добр и человеколюбив, лечил бедных больных и крестьян даром, сам ходил в их конуры и избы и оставлял деньги на лекарство, но при том был и упрям как мул. Сбить его с его идеи, если она засела у него в голове, было невозможно. Кстати, уже всем почти было известно в городе, что приезжий знаменитый врач в какие-нибудь два-три дня своего у нас пребывания позволил себе несколько чрезвычайно обидных отзывов насчет дарований доктора Герценштубе. Дело в том, что хоть московский врач и брал за визиты не менее двадцати пяти рублей, но все же некоторые в нашем городе обрадовались случаю его приезда, не пожалели денег и кинулись к нему за советами. Всех этих больных лечил до него конечно доктор Герценштубе, и вот знаменитый врач с чрезвычайною резкостью окриковал везде его лечение. Под конец даже, являясь к больному, прямо спрашивал: "Ну, кто вас здесь пачкал, Герценштубе? Хе-хе!" Доктор Герценштубе конечно все это узнал. И вот все три врача появились один за другим для опроса. Доктор Герценштубе прямо

заявил, что "ненормальность умственных способностей подсудимого усматривается сама собой". Затем, представив свои соображения, которые я здесь опускаю, он прибавил, что ненормальность эта усматривается, главное, не только из прежних многих поступков подсудимого, но и теперь, в сию даже минуту, и когда его попросили объяснить, в чем же усматривается теперь, в сию-то минуту, то старик-доктор со всею прямою своего простодушия указал на то, что подсудимый, войдя в залу, "имел необыкновенный и чудный по обстоятельствам вид, шагал вперед как солдат и держал глаза вперед себя, упираясь, тогда как вернее было ему смотреть налево, где в публике сидят дамы, ибо он был большой любитель прекрасного пола и должен был очень много думать о том, что теперь о нем скажут дамы", заключил старичок своим своеобразным языком. Надо прибавить, что он говорил по-русски много и охотно, но как-то у него каждая фраза выходила на немецкий манер, что впрочем никогда не смущало его, ибо он всю жизнь имел слабость считать свою русскую речь за образцовую, "за лучшую, чем даже у русских", и даже очень любил прибегать к русским пословицам, уверяя каждый раз, что русские пословицы лучшие и выразительнейшие из всех пословиц в мире. Замечу еще, что он, в разговоре, от рассеянности ли какой, часто забывал слова самые обычные, которые отлично знал, но которые вдруг почему-то у него из ума выскакивали. То же самое впрочем бывало, когда он говорил по-немецки, и при этом всегда махал рукой пред лицом своим, как бы ища ухватить потерянное словечко, и уж никто не мог бы принудить его продолжать начатую речь, прежде чем он не отыщет пропавшего слова. Замечание его насчет того, что подсудимый войдя должен был бы посмотреть на дам, вызвало игривый шепот в публике. Старичка нашего очень у нас любили все дамы, знали тоже, что он, холостой всю жизнь человек, благочестивый и целомудренный, на женщин смотрел как на высшие и идеальные существа. А потому неожиданное замечание его всем показалось ужасно странным.

Московский доктор, спрошенный в свою очередь, резко и настойчиво подтвердил, что считает умственное состояние подсудимого за ненормальное, "даже в высшей степени". Он много и умно говорил про "афект" и "манию" и выводил, что по всем собранным данным подсудимый пред своим арестом за несколько еще дней находился в несомненном болезненном афекте, и если совершил преступление, то хотя и сознавая его, но почти невольно, совсем не имея сил бороться с болезненным нравственным влечением, им овладевшим. Но кроме афекта, доктор усматривал и манию, что уже пророчило впереди, по его словам, прямую дорогу к совершенному уже помешательству. (NB. Я передаю своими словами, доктор же изъяснялся очень ученым и специальным языком.) "Все действия его наоборот здравому смыслу и логике", продолжал он. - "Уже не говорю о том, чего не видал, то есть о самом преступлении и всей этой катастрофе, но даже третьего дня, во время разговора со мной, у него был необъяснимый неподвижный взгляд. Неожиданный смех, когда вовсе его не надо. Непонятное постоянное раздражение, странные слова: "Бернар, эфика" и другие, которых не надо". Но особенно усматривал доктор эту манию в том, что подсудимый даже не может и говорить о тех трех тысячах рублей, в которых считает себя обманутым, без какого-то необычайного раздражения, тогда как обо всех других неудачах и обидах своих говорит и вспоминает довольно легко. Наконец, по справкам, он точно так же и прежде, всякий раз, когда касалось этих трех тысяч, приходил в какое-то почти исступление, а между тем свидетельствуют о нем, что он бескорыстен и нестяжателен. "Насчет же мнения ученого собрата моего, - иронически присовокупил московский доктор, заканчивая свою речь, - что подсудимый, входя в залу, должен был смотреть на дам, а не прямо пред собою, скажу лишь то, что, кроме игривости подобного заключения, оно сверх того и радикально ошибочно; ибо, хотя я вполне соглашаюсь, что подсудимый, входя в залу суда, в которой решается его участь, не должен был так неподвижно смотреть пред собой и что это действительно могло бы считаться признаком его ненормального душевного состояния в данную минуту, но в то же время я утверждаю, что он должен был смотреть не налево на дам, а напротив именно направо, ища глазами своего защитника, в помощи которого вся его надежда и от защиты которого зависит теперь вся его участь". Мнение свое доктор выразил решительно и настоятельно. Но особенный комизм разногласию обоих ученых экспертов придал неожиданный вывод врача Варвинского, спрошенного после всех. На его взгляд, подсудимый как теперь, так и прежде, находится в совершенно нормальном

состоянии, и хотя действительно он должен был пред арестом находиться в положении нервном и чрезвычайно возбужденном, но это могло происходить от многих самых очевидных причин: от ревности, гнева, беспрерывно пьяного состояния и проч. Но это нервное состояние не могло заключать в себе никакого особенного "афекта", о котором сейчас говорилось. Что же до того, налево или направо должен был смотреть подсудимый, входя в залу, то, "по его скромному мнению", подсудимый именно должен был, входя в залу, смотреть прямо перед собой, как и смотрел в самом деле, ибо прямо перед ним сидели председатель и члены суда, от которых зависит теперь вся его участь, "так что, смотря прямо перед собой, он именно тем самым и доказал совершенно нормальное состояние своего ума в данную минуту", - с некоторым жаром заключил молодой врач свое "скромное" показание.

- Браво, лекарь! - крикнул Митя со своего места, - именно так!

Митю конечно остановили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, ибо, как оказалось потом, все с ним согласились. Впрочем доктор Герценштубе, спрошенный уже как свидетель, совершенно неожиданно вдруг послужил в пользу Мити. Как старожил города, издавна знающий семейство Карамазовых, он дал несколько показаний весьма интересных для "обвинения", и вдруг, как бы что-то сообразив, присовокупил:

- И однако бедный молодой человек мог получить без сравнения лучшую участь, ибо был хорошего сердца и в детстве и после детства, ибо я знаю это. Но русская пословица говорит: "если есть у кого один ум, то это хорошо, а если придет в гости еще умный человек, то будет еще лучше, ибо тогда будет два ума, а не один только"...

- Ум хорошо, а два - лучше, - в нетерпении подсказал прокурор, давно уже знавший обычай старичка говорить медленно, растянуто, не смущаясь производимым впечатлением и тем, что заставляет себя ждать, а напротив, еще весьма ценя свое тугое, картофельное и всегда радостно-самодовольное немецкое остроумие. Старичок же любил острить.

- О, д-да, и я то же говорю, - упрямо подхватил он: - один ум хорошо, а два гораздо лучше. Но к нему другой с умом не пришел, а он и свой пустил... Как это, куда он его пустил? Это слово - куда он пустил свой ум, я забыл, - продолжал он, вертя рукой пред своими глазами, - ах да, шпацирен.

- Гулять?

- Ну да, гулять, и я то же говорю. Вот ум его и пошел прогуливаться и пришел в такое глубокое место, в котором и потерял себя. А между тем, это был благодарный и чувствительный юноша, о, я очень помню его еще вот таким малюткой, брошенным у отца в задний двор, когда он бегал по земле без сапожек и с панталончиками на одной пуговке...

Какая-то чувствительная и проникновенная нотка послышалась вдруг в голосе честного старичка. Фетюкович так и вздрогнул, как бы что-то предчувствуя, и мигом привязался.

- О, да, я сам был тогда еще молодой человек... Мне..., ну да. мне было тогда сорок пять лет, а я только-что сюда приехал. И мне стало тогда жаль мальчика, и я спросил себя: почему я не могу купить ему один фунт... Ну да, чего фунт? Я забыл, как это называется... фунт того, что дети очень любят, как это, - ну, как это... - замахал опять доктор руками, - это на дереве растет, и его собирают и всем дарят...

- Яблоки?

- О, н-не-е-ет! Фунт, фунт, яблоки десятком, а не фунт.... нет, их много и все маленькие, кладут в рот и кр-р-рах!..

- Орехи?

- Ну да, орехи, и я то же говорю, - самым спокойным образом, как бы вовсе и не искал слова, подтвердил доктор, - и я принес ему один фунт орехов, ибо мальчику никогда и никто еще не приносил фунт орехов, и я поднял мой палец и сказал ему: Мальчик! Gott der Vater, - он засмеялся и говорит: Gott der Vater. - Gott der Sohn. Он еще засмеялся и лепетал: Gott der Sohn. - Gott der heilige Geist. Тогда он еще засмеялся и проговорил сколько мог: Gott der heilige Geist. А я ушел. На третий день иду мимо, а он кричит мне сам: "Дядя, Gott der Vater, Gott der Sohn", и только забыл Gott der heilige Geist, но я ему вспомнил, и мне опять стало очень жаль его. Но его увезли, и я более не видал его. И вот прошло двадцать три года, я сижу в одно утро в моем кабинете, уже с белою головой, и вдруг входит цветущий молодой человек, которого я никак не могу узнать, но он поднял палец и смеясь говорит: "Gott

der Vater, Gott der Sohn und Gott der heilige Gest!" Я сейчас приехал и пришел вас благодарить за фунт орехов; ибо мне никто никогда не покупал тогда фунт орехов, а вы один купили мне фунт орехов". И тогда я вспомнил мою счастливую молодость и бедного мальчика на дворе без сапожек, и у меня повернулось сердце, и я сказал: Ты благодарный молодой человек, ибо всю жизнь помнил тот фунт орехов, который я тебе принес в твоём детстве. И я обнял его и благословил. И я заплакал. Он смеялся, но он и плакал... ибо русский весьма часто смеется там, где надо плакать. Но он и плакал, я видел это. А теперь, увы!..

- И теперь плачу, немец, и теперь плачу, божий ты человек! - крикнул вдруг Митя со своего места.

Как бы там ни было, а анекдотик произвел в публике некоторое благоприятное впечатление. Но главный эффект в пользу Мити произведен был показанием Катерины Ивановны, о котором сейчас скажу. Да и вообще, когда начались свидетели а decharge, то есть вызванные защитником, то судьба как бы вдруг и даже серьезно улыбнулась Мите и - что всего замечательнее - неожиданно даже для самой защиты. Но еще прежде Катерины Ивановны спрошен был Алеша, который вдруг припомнил один факт, имевший вид даже как будто положительного уже свидетельства против одного важнейшего пункта обвинения.

IV. СЧАСТЬЕ УЛЫБАЕТСЯ МИТЕ.

Случилось это вовсе нечаянно даже для самого Алеши. Он вызван был без присяги, и я помню, что к нему все стороны отнеслись с самых первых слов допроса чрезвычайно мягко и симпатично. Видно было, что ему предшествовала добрая слава. Алеша показывал скромно и сдержанно, но в показаниях его явно прорывалась горячая симпатия к несчастному брату. Отвечая по одному вопросу, он очертил характер брата как человека может быть и неистового и увлеченного страстями, но тоже и благородного, гордого и великодушного, готового даже на жертву, если б от него потребовали. Сознавался впрочем, что брат был в последние дни, из-за страсти к Грушеньке, из-за соперничества с отцом, в положении невыносимом. Но он с негодованием отверг даже предположение о том, что брат мог убить с целью грабежа, хотя и сознался, что эти три тысячи обратились в уме Мити в какую-то почти манию, что он считал их за недоданное ему, обманом отца, наследство, и что, будучи вовсе некорыстолюбивым, даже не мог заговорить об этих трех тысячах без исступления и бешенства. Про соперничество же двух "особ", как выразился прокурор, то-есть Грушеньки и Кати, отвечал уклончиво и даже на один или два вопроса совсем не пожелал отвечать.

- Говорил ли вам по крайней мере брат ваш, что намерен убить своего отца? - спросил прокурор. - Вы можете не отвечать, если найдете это нужным, - прибавил он.

- Прямо не говорил, - ответил Алеша.

- Как же? Косвенно?

- Он говорил мне раз о своей личной ненависти к отцу и что боится, что... в крайнюю минуту... в минуту омерзения... может быть и мог бы убить его.

- И вы услышав поверили тому?

- Боюсь сказать, что поверил. Но я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и спасло в самом деле, потому что не он убил отца моего, - твердо закончил Алеша громким голосом и на всю залу. Прокурор вздрогнул как боевой конь, заслышавший трубный сигнал.

- Будьте уверены, что я совершенно верю самой полной искренности убеждения вашего, не обуславливая и не ассимилируя его несколько с любовью к вашему несчастному брату. Своеобразный взгляд ваш на весь трагический эпизод, разыгравшийся в вашем семействе, уже известен нам по предварительному следствию. Не скрою от вас, что он в высшей степени особенный и противоречит всем прочим показаниям, полученным прокуратурой. А потому и нахожу нужным спросить вас уже с настойчивостью: какие именно данные

руководили мысль вашу и направили ее на окончательное убеждение в невинности брата вашего, и, напротив, в виновности Другого лица, на которого вы уже указали прямо на предварительном следствии?

- На предварительном следствии я отвечал лишь на вопросы, - тихо и спокойно проговорил Алеша, - а не шел сам с обвинением на Смердякова.

- И все же на него указали?

- Я указал со слов брата Дмитрия. Мне еще до допроса рассказали о том, что произошло при аресте его и как он сам показал тогда на Смердякова. Я верю вполне, что брат невиновен. А если убил не он, то...

- То Смердяков? Почему же именно Смердяков? И почему именно вы так окончательно убедились в невинности вашего брата?

- Я не мог не поверить брату. Я знаю, что он мне не солжет. Я по лицу его видел, что он мне не лжет.

- Только по лицу? В этом все ваши доказательства?

- Более не имею доказательств.

- И о виновности Смердякова тоже не основываетесь ни на малейшем ином доказательстве, кроме лишь слов вашего брата и выражения лица его?

- Да, не имею иного доказательства.

На этом прокурор прекратил расспросы. Ответы Алеши произвели было на публику самое разочаровывающее впечатление. О Смердякове у нас уже поговаривали еще до суда, кто-то что-то слышал, кто-то на что-то указывал, говорили про Алешу, что он накопил какие-то чрезвычайные доказательства в пользу брата и в виновности лакея, и вот - ничего, никаких доказательств, кроме каких-то нравственных убеждений, столь естественных в его качестве родного брата подсудимого.

Но начал спрашивать и Фетюкович. На вопрос о том: когда именно подсудимый говорил ему, Алеше, о своей ненависти к отцу и о том, что он мог бы убить его, и что слышал ли он это от него например при последнем свидании пред катастрофой, Алеша, отвечая, вдруг как бы вздрогнул, как бы нечто только теперь припомнив и сообразив:

- Я припоминаю теперь одно обстоятельство, о котором я было совсем и сам позабыл, но тогда оно было мне так неясно, а теперь...

И Алеша с увлечением, видимо сам только что теперь внезапно попав на идею, припомнил, как в последнем свидании с Митей, вечером, у дерева, по дороге к монастырю, Митя, ударяя себя в грудь, "в верхнюю часть груди", несколько раз повторил ему, что у него есть средство восстановить свою честь, что средство это здесь, вот тут, на его груди... "Я подумал тогда, что он, ударяя себя в грудь, говорил о своем сердце", продолжал Алеша, - "о том, что в сердце своем мог бы отыскать силы, чтобы выйти из одного какого-то ужасного позора, который предстоял ему и о котором он даже мне не смел признаться. Признаюсь, я именно подумал тогда, что он говорит об отце и что он содрогается как от позора, при мысли пойти к отцу и совершить с ним какое-нибудь насилие, а между тем он именно тогда как бы на что-то указывал на своей груди, так что, помню, у меня мелькнула именно тогда же какая-то мысль, что сердце совсем не в той стороне груди, а ниже, а он ударяет себя гораздо выше, вот тут, сейчас ниже шеи, и все указывает в это место. Моя мысль мне показалась тогда глупой, а он именно может быть тогда указывал на эту ладонку, в которой защиты были эти полторы тысячи!.."

- Именно! - крикнул вдруг Митя с места. - Это так, Алеша, так, я тогда об нее стучал кулаком!

Фетюкович бросился к нему впопыхах, умоляя успокоиться, и в тот же миг так и вцепился в Алешу. Алеша, сам увлеченный своим воспоминанием, горячо высказал свое предположение, что позор этот вероятнее всего состоял именно в том, что, имея на себе эти тысячу пятьсот рублей, которые бы мог возратить Катерине Ивановне, как половину своего ей долга, он все-таки решил не отдать ей этой половины и употребить на другое, то-есть на увоз Грушеньки, если б она согласилась...

- Это так, это именно так, - восклицал во внезапном возбуждении Алеша, - брат именно восклицал мне тогда, что половину, половину позора (он несколько раз выговорил: половину!), он мог бы сейчас снять с себя, но что до того несчастен слабостью своего характера, что этого не сделает... знает заранее, что этого не может и не в силах сделать!

- И вы твердо, ясно помните, что он ударял себя именно в это место груди? - жадно допрашивал Фетюкович,

- Ясно и твердо, потому что именно мне подумалось тогда: зачем это он ударяет так высоко, когда сердце ниже, и мне тогда же показалась моя мысль глупой... я это помню, что показалась глупой... это мелькнуло. Вот потому-то я сейчас теперь и вспомнил. И как я мог позабыть это до самых этих пор! Именно он на эту ладонку указывал как на то, что у него есть средства, но что он не отдаст эти полторы тысячи! А при аресте, в Мокром, он именно кричал, - я это знаю, мне передавали, - что считает самым позорным делом всей своей жизни, что, имея средства отдать половину (именно половину!) долга Катерине Ивановне и стать пред ней не вором, он все-таки не решился отдать и лучше захотел остаться в ее глазах вором, чем расстаться с деньгами! А как он мучился, как он мучился этим долгом! - закончил, восклицая, Алеша.

Разумеется, ввязался и прокурор. Он попросил Алешу еще раз описать, как это все было, и несколько раз настаивал спрашивая: точно ли подсудимый, бия себя в грудь, как бы на что-то указывал? Может быть просто бил себя кулаком по груди?

- Да и не кулаком! - восклицал Алеша, - а именно указывал пальцами, и указывал сюда, очень высоко... Но как я мог это так совсем забыть до самой этой минуты!

Председатель обратился к Мите с вопросом, что может он сказать насчет данного показания. Митя подтвердил, что именно все так и было, что он именно указывал на свои полторы тысячи, бывшие у него на груди, сейчас пониже шеи и, что конечно это был позор, - "позор, от которого не отрекаюсь, позорнейший акт во всей моей жизни!" вскричал Митя. "Я мог отдать и не отдал. Хотел лучше остаться в ее глазах вором, но не отдал, а самый главный позор был в том, что и вперед знал, что не отдам! Прав, Алеша! Спасибо, Алеша!"

Тем кончился допрос Алеши. Важно и характерно было именно то обстоятельство, что отыскался хоть один лишь факт, хоть одно лишь, положим, самое мелкое доказательство, почти только намек на доказательство, но которое все же хоть капельку свидетельствовало, что действительно существовала эта ладонка, что были в ней полторы тысячи, и что подсудимый не лгал на предварительном следствии, когда в Мокром объявил, что эти полторы тысячи "были мои". Алеша был рад; весь раскрасневшись, он проследовал на указанное ему место. Он долго еще повторял про себя: "Как это я забыл! Как мог я это забыть! И как это так вдруг только теперь припомнилось!"

Начался допрос Катерины Ивановны. Только что она появилась, в зале пронеслось нечто необыкновенное. Дамы схватились за лорнеты и бинокли, мужчины зашевелились, иные вставали с мест, чтобы лучше видеть. Все утверждали потом, что Митя вдруг побледнел "как платок", только что она вошла. Вся в черном, скромно и почти робко приблизилась она к указанному ей месту. Нельзя было угадать по лицу ее, что она была взволнована, но решимость сверкала в ее темном, сумрачном взгляде. Надо заметить, потом весьма многие утверждали, что она была удивительно хороша собой в ту минуту. Заговорила она тихо, но ясно, на всю залу. Выражалась чрезвычайно спокойно или по крайней мере усиливаясь быть спокойною. Председатель начал вопросы свои осторожно, чрезвычайно почтительно, как бы боясь коснуться "иных струн" и уважая великое несчастье. Но Катерина Ивановна сама, с самых первых слов, твердо объявила на один из предложенных вопросов, что она была помолвленной невестой подсудимого "до тех пор, пока он сам меня не оставил"... - тихо прибавила она. Когда ее спросили о трех тысячах, вверенных Мите для отсылки на почту ее родственникам, она твердо проговорила: "Я дала ему не прямо на почту; я тогда предчувствовала, что ему очень нужны деньги... в ту минуту... Я дала ему эти три тысячи под условием, чтоб он отослал их, если хочет, в течение месяца. Напрасно он так потом себя мучил из-за этого долга..."

Я не передаю всех вопросов и в точности всех ее ответов, я только передаю существенный смысл ее показаний.

- Я твердо была уверена, что он всегда успеет переслать эти три тысячи, только что получит от отца, - продолжала она, отвечая на вопросы. - Я всегда была уверена в его бескорыстии и в его честности... высокой честности... в денежных делах. Он твердо был уверен, что получит от отца три тысячи рублей и несколько раз мне говорил про это. Я знала, что у него с отцом распря, и всегда была и до сих пор тоже уверена, что он был обижен отцом. Я не помню никаких угроз отцу с его стороны. При мне по крайней мере он ничего не

говорил никаких угроз. Если б он пришел тогда ко мне, я тотчас успокоила бы его тревогу из-за должных мне им этих несчастных трех тысяч, но он не приходил ко мне более... а я сама... я была поставлена в такое положение... что не могла его звать к себе... Да я и никакого права не имела быть к нему требовательною за этот долг, - прибавила она вдруг, и что-то решительное зазвенело в ее голосе, - я сама однажды получила от него денежное одолжение еще большее, чем в три тысячи, и приняла его, несмотря на то, что и предвидеть еще тогда не могла, что хоть когда-нибудь в состоянии буду заплатить ему долг мой...

В тоне голоса ее как бы почувствовался какой-то вызов. Именно в эту минуту вопросы перешли к Фетюковичу.

- Это было еще не здесь, а в начале вашего знакомства? - осторожно подходя, подхватил Фетюкович, в миг запредчувствовав нечто благоприятное. (Замечу в скобках, что он, несмотря на то, что был вызван из Петербурга отчасти и самою Катериной Ивановной, - все-таки не знал ничего об эпизоде о пяти тысячах, данных ей Митей еще в том городе и о "земном поклоне". Она этого не сказала ему и скрыла! И это было удивительно. Можно с уверенностью предположить, что она сама, до самой последней минуты, не знала: расскажет она этот эпизод на суде или нет, и ждала какого-то вдохновения.)

Нет, никогда я не могу забыть этих минут! Она начала рассказывать, она все рассказала, весь этот эпизод, поведенный Митей Алеше, и "земной поклон", и причины, и про отца своего, и появление свое у Мити, и ни словом, ни единым намеком не упомянула о том, что Митя, чрез сестру ее, сам предложил "прислать к нему Катерину Ивановну за деньгами". Это она великодушно утаила и не устыдилась выставить наружу, что это она, она сама, прибежала тогда к молодому офицеру, своим собственным порывом, надеясь на что-то... чтобы выпросить у него денег. Это было нечто потрясающее. Я холодел и дрожал слушая, зала замерла, ловя каждое слово. Тут было что-то беспримерное, так что даже и от такой самовластной и презрительно-гордой девушки, как она, почти невозможно было ожидать такого высоко-откровенного показания, такой жертвы, такого самозаклания. И для чего, для кого? Чтобы спасти своего изменника и обидчика, чтобы послужить хоть чем-нибудь, хоть малым, к спасению его, произведя в его пользу хорошее впечатление! И в самом деле: образ офицера, отдающего свои последние пять тысяч рублей, - все, что у него оставалось в жизни, - и почтительно преклонившегося пред невинною девушкой, выставился весьма симпатично и привлекательно, но... у меня больно сжалось сердце! Я почувствовал, что может выйти потом (да и вышла потом, вышла!) клевета! Со злобным смешком говорили потом во всем городе, что рассказ может быть не совсем был точен, именно в том месте, где офицер отпустил от себя девицу "будто бы только с почтительным поклоном". Намакали, что тут нечто "пропущено". "Да если б и не было пропущено, если б и все правда была, - говорили даже самые почтенные наши дамы, - то и тогда еще неизвестно: очень ли благородно так поступить было девушке, даже хоть бы спасая отца?" И неужели Катерина Ивановна, с ее умом, с ее болезненною пронизательностью, не предчувствовала заранее, что так заговорят? Непременно предчувствовала, и вот решила же сказать все! Разумеется, все эти грязненькие сомнения в правде рассказа начались лишь потом, а в первую минуту все и все были потрясены. Что же до членов суда, то Катерину Ивановну выслушали в благоговейном, так-сказать даже стыдливом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого дальнейшего вопроса на эту тему. Фетюкович глубоко поклонился ей. О, он почти торжествовал! Многое было приобретено: человек, отдающий, в благородном порыве, последние пять тысяч, и потом тот же человек, убивающий отца ночью с целью ограбить его на три тысячи, - это было нечто отчасти и несвязуемое. По крайней мере хоть грабеж-то мог теперь устранить Фетюкович. "Дело" вдруг облилось каким-то новым светом. Что-то симпатичное пронеслось в пользу Мити. Он же... про него рассказывали, что он раз или два во время показания Катерины Ивановны вскочил было с места, потом упал опять на скамью и закрыл обеими ладонями лицо. Но когда она кончила, он вдруг рыдающим голосом воскликнул, простирая к ней руки:

- Катя, зачем меня погубила!

И громко зарыдал было на всю залу. Впрочем мигом сдержал себя и опять прокричал:

- Теперь я приговорен!

А затем как бы закоченел на месте, стиснув зубы и сжав крестом на груди

руки. Катерина Ивановна осталась в зале и села на указанный ей стул. Она была бледна и сидела потупившись. Рассказывали бывшие близ нее, что она долго вся дрожала как в лихорадке. К допросу явилась Грушенька.

Я подхожу близко к той катастрофе, которая, разразившись внезапно, действительно может быть погубила Митю. Ибо я уверен, да и все тоже, все юристы после так говорили, что не явись этого эпизода, преступнику по крайней мере дали бы снисхождение. Но об этом сейчас. Два слова лишь прежде о Грушеньке.

Она явилась в залу тоже вся одетая в черное, в своей прекрасной черной шали на плечах. Плавно, своею неслышною походкой, с маленькою раскачкой, как ходят иногда полные женщины, приблизилась она к балюстраде, пристально смотря на председателя и ни разу не взглянув ни направо, ни налево. По-моему, она была очень хороша собой в ту минуту и вовсе не бледна, как уверяли потом дамы. Уверяли тоже, что у ней было какое-то сосредоточенное и злое лицо. Я думаю только, что она была раздражена и тяжело чувствовала на себе презрительно-любопытные взгляды жадной к скандалу нашей публики. Это был характер гордый, не выносящий презрения, один из таких, которые, чуть лишь заподозрят от кого презрение – тотчас воспламеняются гневом и жаждой отпора. При этом была конечно и робость, и внутренний стыд за эту робость, так что немудрено, что разговор ее был неровен, – то гневлив, то презрителен и усиленно груб, то вдруг звучала искренняя сердечная нотка самоосуждения, самообвинения. Иногда же говорила так, как будто летела в какую-то пропасть: "все де равно, что бы ни вышло, а я все-таки скажу"... Насчет знакомства своего с Федором Павловичем она резко заметила: "Все пустяки, разве я виновата, что он ко мне привязался?" А потом через минуту прибавила: "Я во всем виновата, я смеялась над тем и другим, – и над стариком, и над этим, – и их обоих до того довела. Из-за меня все произошло". Как-то коснулось дело до Самсонова: "Какое кому дело, – с каким-то наглым вызовом тотчас же отгрызнулась она, – он был мой благодетель, он меня босоногую взял, когда меня родные из избы вышвырнули". Председатель, впрочем весьма вежливо, напомнил ей, что надо отвечать прямо на вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Грушенька покраснела, и глаза ее сверкнули.

Пакета с деньгами она не видала, а только слыхала от "злодея", что есть у Федора Павловича какой-то пакет с тремя тысячами. "Только это все глупости, я смеялась, и ни за что бы туда не пошла..."

– Про кого вы сейчас упомянули, как о "злодее"? – осведомился прокурор.

– А про лакея, про Смердякова, что барина своего убил, а вчера повесился.

Конечно, ее мигом спросили: какие же у ней основания для такого решительного обвинения, но оснований не оказалось тоже и у ней никаких.

– Так Дмитрий Федорович мне сам говорил, ему и верьте. Разлучница его погубила, вот что, всему одна она причиной, вот что, – вся как будто содрогаясь от ненависти, прибавила Грушенька, и злобная нотка зазвенела в ее голосе.

Осведомились, на кого она опять намекает.

– А на барышню, на эту вот Катерину Ивановну. К себе меня тогда зазвала, шоколатом потчевала, прельстить хотела. Стыда в ней мало истинного, вот что...

Тут председатель уже строго остановил ее, прося умерить свои выражения. Но сердце ревнивой женщины уже разгорелось, она готова была полететь хоть в бездну...

– При аресте в селе Мокром, – припоминая спросил прокурор, – все видели и слышали, как вы, выбежав из другой комнаты, закричали: "Я во всем виновата, вместе в каторгу пойдём!" Стало быть была уже и у вас в ту минуту уверенность, что он отцеубийца?

– Я чувств моих тогдашних не помню, – ответила Грушенька, – все тогда закричали, что он отца убил, я и почувствовала, что это я виновата, и что из-за меня он убил. А как он сказал, что неповинен, я ему тотчас поверила, и теперь верю, и всегда буду верить: не таков человек, чтобы солгал.

Вопросы перешли к Фетюковичу. Между прочим, я помню, он спросил про Ракитина и про двадцать пять рублей "за то, что привел к вам Алексея Федоровича Карамазова".

– А что ж удивительного, что он деньги взял, – с презрительною злобой усмехнулась Грушенька, – он и все ко мне приходил деньги канючить, рублей по

тридцати бывало в месяц выберет, все больше на баловство: пить-есть ему было на что и без моего.

- На каком же основании вы были так щедры к г. Ракитину? - подхватил Фетюкович, несмотря на то, что председатель сильно шевелился.

- Да ведь он же мне двоюродный брат. Моя мать с его матерью родные сестры. Он только все молил меня никому про то здесь не сказывать, стыдился меня уж очень.

Этот новый факт оказался совершенною неожиданностью для всех, никто про него до сих пор не знал во всем городе, даже в монастыре, даже не знал Митя. Рассказывали, что Ракитин побагровел от стыда на своем стуле. Грушенька еще до входа в залу как-то узнала, что он показал против Мити, а потому и озлилась. Вся давешняя речь г. Ракитина, все благородство ее, все выходки на крепостное право, на гражданское неустройство России, - все это уже окончательно на этот раз было похерено и уничтожено в общем мнении. Фетюкович был доволен: опять бог на шапку послал. Вообще же Грушеньку допрашивали не очень долго, да и не могла она конечно сообщить ничего особенно нового. Оставила она в публике весьма неприятное впечатление. Сотни презрительных взглядов устремились на нее, когда она, кончив показание, уселась в зале довольно далеко от Катерины Ивановны. Все время, пока ее спрашивали, Митя молчал, как бы окаменев, опустив глаза в землю.

Появился свидетелем Иван Федорович.

V. ВНЕЗАПНАЯ КАТАСТРОФА.

Замечу, что его вызвали было еще до Алеши. Но судебный пристав доложил тогда председателю, что, по внезапному нездоровью или какому-то припадку, свидетель не может явиться сейчас, но только что оправится, то когда угодно готов будет дать свое показание. Этого впрочем как-то никто не слышал, и узнали уже впоследствии. Появление его в первую минуту было почти не замечено: главные свидетели, особенно две соперницы, были уже допрошены; любопытство было пока удовлетворено. В публике чувствовалось даже утомление. Предстояло еще выслушать несколько свидетелей, которые вероятно ничего особенного не могли сообщить в виду всего, что было уже сообщено. Время же уходило. Иван Федорович приблизился как-то удивительно медленно, ни на кого не глядя и опустив даже голову, точно о чем-то нахмуренно соображая. Одет он был безукоризненно, но лицо его на меня по крайней мере произвело болезненное впечатление: было в этом лице что-то как бы тронутое землей, что-то похожее на лицо помирающего человека. Глаза были мутны; он поднял их и медленно обвел ими залу. Алеша вдруг вскочил было со своего стула и протонал: ах! Я помню это. Но и это мало кто уловил.

Председатель начал было с того, что он свидетель без присяги, что он может показывать или умолчать, но что конечно все показанное должно быть по совести, и т. д., и т. д. Иван Федорович слушал и мутно глядел на него; но вдруг лицо его стало медленно раздвигаться в улыбку, и только что председатель, с удивлением на него смотревший, кончил говорить, он вдруг рассмеялся.

- Ну и что же еще? - громко спросил он. Все затихло в зале, что-то как бы почувствовалось. Председатель забеспокоился.

- Вы... может быть еще не так здоровы? - проговорил он было, ища глазами судебного пристава.

- Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я достаточно здоров и могу вам кое-что рассказать любопытное, - ответил вдруг совсем спокойно и почтительно Иван Федорович.

- Вы имеете предъявить какое-нибудь особое сообщение? - все еще с недоверчивостью продолжал председатель.

Иван Федорович потупился, помедлил несколько секунд и, подняв снова голову, ответил как бы заикаясь:

- Нет... не имею. Не имею ничего особенного.

Ему стали предлагать вопросы. Он отвечал совсем как-то нехотя, как-то усиленно кратко, с каким-то даже отвращением, все более и более нараставшим,

хотя впрочем отвечал все-таки толково. На многое отговаривался незнанием. Про счета отца с Дмитрием Федоровичем ничего не знал. "И не занимался этим", - произнес он. Об угрозах убить отца слышал от подсудимого, про деньги в пакете слышал от Смердякова...

- Все одно и то же, - прервал вдруг с утомленным видом: - я ничего не могу сообщить суду особенного.

- Я вижу, вы нездоровы, и понимаю ваши чувства... - начал было председатель.

Он обратился было к сторонам, к прокурору и защитнику, приглашая их, если найдут нужным, предложить вопросы, как вдруг Иван Федорович изнеможенным голосом попросил:

- Отпустите меня, ваше превосходительство, я чувствую себя очень нездоровым.

И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошел было из залы. Но, пройдя шага четыре, остановился, как бы что-то вдруг обдумав, тихо усмехнулся и воротился опять на прежнее место.

- Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка...

знаете, как это: "захоцу - вскоцу, захоцу - не вскоцу". За ней ходят с сарафаном, али с паневой что ли, чтоб она вскочила, чтобы завязать и венчать везти, а она говорит: "захоцу - вскоцу, захоцу - н[ЕАСУТЕ] вскоцу"... Это в какой-то нашей народности...

- Что вы этим хотите сказать? - строго спросил председатель.

- А вот, - вынул вдруг Иван Федорович пачку денег, - вот деньги... те самые, которые лежали вот в том пакете (он кивнул на стол с вещественными доказательствами) и из-за которых убили отца. Куда положить? Господин судебный пристав, передайте.

Судебный пристав взял всю пачку и передал председателю.

- Каким образом могли эти деньги очутиться у вас... если это те самые деньги? - в удивлении проговорил председатель.

- Получил от Смердякова, от убийцы, вчера. Был у него пред тем, как он повесился. Убил отца он, а не брат. Он убил, а я его научил убить... Кто не желает смерти отца?..

- Вы в уме или нет? - вырвалось невольно у председателя.

- То-то и есть, что в уме... и в подлом уме, в таком же как и вы, как и все эти... р-рожи! - обернулся он вдруг на публику. - Убили отца, а притворяются, что испугались, - проскрежетал он с яростным презрением. - Друг пред другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину... Не будь отцеубийства - все бы они рассердились и разошлись злые... Зрелищ! "Хлеба и зрелищ!" Впрочем ведь и я хорош! Есть у вас вода или нет, дайте напиток Христу ради! - схватил он вдруг себя за голову.

Судебный пристав тотчас к нему приблизился. Алеша вдруг вскочил и закричал: "Он болен, не верьте ему, он в белой горячке!" Катерина Ивановна стремительно встала со своего стула и, неподвижная от ужаса, смотрела на Ивана Федоровича. Митя поднялся и с какою-то дикою искривленно улыбкой жадно смотрел и слушал брата.

- Успокойтесь, не помешанный, я только убийца! - начал опять Иван. - С убийцы нельзя же спрашивать красноречия... - прибавил он вдруг для чего-то и искривленно засмеялся.

Прокурор в видимом смятении нагнулся к председателю. Члены суда суетливо шептались между собой. Фетюкович весь наострил уши, прислушиваясь. Зала замерла в ожидании. Председатель вдруг как бы опомнился.

- Свидетель, ваши слова непонятны и здесь невозможны. Успокойтесь, если можете, и расскажите... если вправду имеете что сказать. Чем вы можете подтвердить такое признание... если вы только не бредите?

- То-то и есть, что не имею свидетелей. Собака Смердяков не пришлет с того света вам показание... в пакете. Вам бы все пакетов, довольно и одного. Нет у меня свидетелей... Кроме только разве одного, - задумчиво усмехнулся он.

- Кто ваш свидетель?

- С хвостом, ваше превосходительство, не по форме будет! Le diable n'existe point! Не обращайтесь внимания, дрянной, мелкий чорт, - прибавил он, вдруг перестав смеяться и как бы конфиденциально: - он наверно здесь где-нибудь, вот под этим столом с вещественными доказательствами, где ж ему сидеть как не там? Видите, слушайте меня: я ему сказал: не хочу молчать, а

он про геологический переворот... глупости! Ну, освободите же изверга... он гимн запел, это потому, что ему легко! Все равно, что пьяная каналья загорланит, как "поехал Ванька в Питер", а я за две секунды радости отдал бы квадрильон квадрильонов. Не знаете вы меня! О, как это все у вас глупо! Ну, берите же меня вместо него! Для чего же-нибудь я пришел... Отчего, отчего это все, что ни есть, так глупо!

И он опять стал медленно и как бы в задумчивости оглядывать залу. Но уже все заволновалось. Алеша кинулся-было к нему со своего места, но судебный пристав уже схватил Ивана Федоровича за руку.

- Это что еще такое? - вскричал тот, вглядываясь в упор в лицо пристава, и вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил об пол. Но стража уже подросла, его схватили, и тут он завопил неистовым воплем. И все время, пока его уносили, он вопил и выкрикивал что-то несвязное.

Поднялась суматоха. Я не упомяну всего в порядке, сам был взволнован и не мог уследить. Знаю только, что потом, когда уже все успокоилось и все поняли в чем дело, судебному приставу так досталось, хотя он и основательно объяснил начальству, что свидетель был все время здоров, что его видел доктор, когда час пред тем с ним сделалась легкая дурнота, но что до входа в залу он все говорил связно, так что предвидеть было ничего невозможно; что он сам, напротив, настаивал и непременно хотел дать показание. Но прежде чем хоть сколько-нибудь успокоились и пришли в себя, сейчас же вслед за этою сценой разразилась и другая: с Катериной Ивановной сделалась истерика. Она, громко взвизгивая, зарыдала, но не хотела уйти, рвалась, молила, чтоб ее не уводили и вдруг закричала председателю:

- Я должна сообщить еще одно показание, немедленно... немедленно!.. Вот бумага, письмо... возьмите, прочтите скорее, скорее! Это письмо этого изверга, вот этого, этого! - она указывала на Митю. - Это он убил отца, вы увидите сейчас, он мне пишет, как он убьет отца! А тот больной, больной, тот в белой горячке! Я уже три дня вижу, что он в горячке!

Так вскрикивала она вне себя. Судебный пристав взял бумагу, которую она протягивала председателю, а она, упав на свой стул и закрыв лицо, начала конвульсивно и беззвучно рыдать, вся сотрясаясь и подавляя малейший стон в боязни, что ее вышлют из залы. Бумага, поданная ею, была то самое письмо Мити из трактира "Столичный город", которое Иван Федорович называл "математической" важности документом. Увы! за ним именно признали эту математичность, и, не будь этого письма, может быть и не погиб бы Митя, или по крайней мере не погиб бы так ужасно! Повторяю, трудно было уследить за подробностями. Мне и теперь все это представляется в такой суматохе. Должно быть председатель тут же сообщил новый документ суду, прокурору, защитнику, присяжным. Я помню только, как свидетельницу начали спрашивать. На вопрос: успокоилась ли она? мягко обращенный к ней председателем, Катерина Ивановна стремительно воскликнула:

- Я готова, готова! Я совершенно в состоянии вам отвечать, - прибавила она, видимо все еще ужасно боясь, что ее почему-нибудь не выслушают. Ее попросили объяснить подробнее: какое это письмо, и при каких обстоятельствах она его получила?

- Я получила его накануне самого преступления, а писал он его еще за день из трактира, стало быть за два дня до своего преступления, - посмотрите, оно написано на каком-то счете! - прокричала она задыхаясь. - Он меня тогда ненавидел, потому что сам сделал подлый поступок и пошел за этой тварью... и потому еще, что должен был мне эти три тысячи... О, ему было обидно за эти три тысячи из-за своей же низости! Эти три тысячи вот как были - я вас прошу, я вас умоляю меня выслушать: еще за три недели до того, как убил отца, он пришел ко мне утром. Я знала, что ему надо деньги, и знала на что, - вот, вот именно на то, чтобы соблазнить эту тварь и увезти с собой. Я знала тогда, что уж он мне изменил и хочет бросить меня, и я, я сама протянула тогда ему эти деньги, сама предложила будто бы для того, чтоб отослать моей сестре в Москве, - и когда отдавала, то посмотрела ему в лицо и сказала, что он может когда хочет послать, "хоть еще через месяц". Ну как же, как же бы он не понял, что я в глаза ему прямо говорила: "тебе надо денег для измены мне с твоею тварью, так вот тебе эти деньги, я сама тебе их даю, возьми, если ты так бесчестен, что возьмешь!"... Я уличить его хотела, и что же? он взял, он их взял и унес, и истратил их с этою тварью там, в одну ночь... Но он понял, он понял, что я все знаю, уверяю вас, что он тогда

понял и то, что я, отдавая ему деньги, только пытаю его: будет ли он так бесчестен, что возьмет от меня, или нет? В глаза ему глядела, и он мне глядел в глаза и все понимал, все понимал, и взял, и взял и унес мои деньги!

- Правда, Катя! - завопил вдруг Митя, - в глаза смотрел и понимал, что бесчестишь меня и все-таки взял твои деньги! Презирайте подлеца, презирайте все, заслужил!

- Подсудимый, - вскричал председатель, - еще слово - я вас велю вывести.

- Эти деньги его мучили, - продолжала, судорожно торопясь, Катя, - он хотел мне их отдать, он хотел, это правда, но ему деньги нужны были и для этой твари. Вот он и убил отца, а денег все-таки мне не отдал, а уехал с ней в ту деревню, где его схватили. Там он опять прокутил эти деньги, которые украл у убитого им отца. А за день до того, как убил отца, и написал мне это письмо, написал пьяный, я сейчас тогда увидела, написал из злобы и зная, наверно зная, что я никому не покажу этого письма, даже если б он и убил. А то бы он не написал. Он знал, что я не захочу ему мстить и его погубить! Но прочтите, прочтите внимательно, пожалуйста внимательнее, и вы увидите, что он в письме все описал, все заранее: как убьет отца и где у того деньги лежат. Посмотрите, пожалуйста не пропустите, там есть одна фраза: "убью, только бы уехал Иван". Значит, он заранее уж обдумал, как он убьет, - злорадно и ехидно подсказывала суду Катерина Ивановна. О, видно было, что она до тонкости вчиталась в это роковое письмо и изучила в нем каждую черточку. - Не пьяный он бы мне не написал, но посмотрите, там все описано вперед, все точь-в-точь, как он потом убил, вся программа!

Так восклицала она вне себя и уж конечно презирая все для себя последствия, хотя разумеется их предвидела еще может за месяц тому, потому что и тогда еще может быть, содрогаясь от злобы, мечтала: "не прочесть ли это суду?" Теперь же как бы полетела с горы. Помню, кажется именно тут же письмо было прочитано вслух секретарем, и произвело потрясающее впечатление. Обратились к Мите с вопросом:

признает ли он это письмо?

- Мое, мое! - воскликнул Митя. - Не пьяный бы не написал!.. За многое мы друг друга ненавидели, Катя, но клянусь, клянусь, я тебя и ненавидя любил, а ты меня - нет!

Он упал на свое место, ломая руки в отчаянии. Прокурор и защитник стали предлагать перекрестные вопросы, главное в том смысле: "что, дескать, побудило вас давеча утаить такой документ и показывать прежде совершенно в другом духе и тоне?"

- Да, да, я давеча солгала, все лгала, против чести и совести, но я хотела давеча спасти его, потому что он меня так ненавидел и так презирал, - как безумная воскликнула Катя. - О, он презирал меня ужасно, презирал всегда, и знаете, знаете - он презирал меня с самой той минуты, когда я ему тогда в ноги за эти деньги поклонилась. Я увидела это... Я сейчас, тогда же это почувствовала, но я долго себе не верила. Сколько раз я читала в глазах его: "все-таки ты сама тогда ко мне пришла". О, он не понял, он не понял ничего, зачем я тогда прибежала, он способен подозревать только низость! Он мерил на себя, он думал, что и все такие как он, - яростно проскрежетала Катя, совсем уже в исступлении. - А жениться он на мне захотел потому только, что я получила наследство, потому, потому! Я всегда подозревала, что потому! О, это зверь! Он всю жизнь был уверен, что я всю жизнь буду пред ним трепетать от стыда за то, что тогда приходила, и что он может вечно за это презирать меня, а потому первенствовать, - вот почему он на мне захотел жениться! Это так, это все так! Я пробовала победить его моею любовью, любовью без конца, даже измену его хотела снести, но он ничего, ничего не понял. Да разве он может что-нибудь понять! Это изверг! Это письмо я получила только на другой день вечером, мне из трактира принесли, а еще утром, еще утром в тот день, я хотела было все простить ему, все, даже его измену!

Конечно председатель и прокурор ее успокаивали. Я уверен, что им всем было даже может быть самым стыдно так пользоваться ее исступлением и выслушивать такие признания. Я помню, я слышал, как они говорили ей: "Мы понимаем, как вам тяжело, поверьте, мы способны чувствовать", и проч., и проч., - а показания-то все-таки вытянули от обезумевшей женщины в истерике. Она наконец описала с необычайной ясностью, которая так часто, хотя и

мгновенно, мелькает даже. в минуты такого напряженного состояния, как Иван Федорович почти сходил с ума во все эти два месяца на том, чтобы спасти "изверга и убийцу", своего брата.

- Он себя мучил, - восклицала она, - он все хотел уменьшить его вину, признаваясь мне, что он и сам не любил отца и может быть сам желал его смерти. О, это глубокая, глубокая совесть! Он замучил себя совестью! Он все мне открывал, все, он приходил ко мне и говорил со мной каждый день как с единственным другом своим. Я имею честь быть его единственным другом! - воскликнула она вдруг, точно как бы с каким-то вызовом, засверкав глазами. - Он ходил к Смердякову два раза. Однажды он пришел ко мне и говорит: если убил не брат, а Смердяков (потому что эту басню пустили здесь все, что убил Смердяков), то может быть виновен и я, потому что Смердяков знал, что я не люблю отца и может быть думал, что я желаю смерти отца. Тогда я вынула это письмо и показала ему, и он уж совсем убедился, что убил брат, и это уже совсем сразило его. Он не мог снести, что его родной брат - отцеубийца! Еще неделю назад я видела, что он от этого болен. В последние дни он, сидя у меня, бредил. Я видела, что он мешается в уме. Он ходил и бредил, его видели так по улицам. Приезжий доктор, по моей просьбе, его осматривал третьего дня и сказал мне, что он близок к горячке, - все чрез него, все чрез изверга! А вчера он узнал, что Смердяков умер - это его так поразило, что он сошел с ума... и все от изверга, все на том, чтобы спасти изверга!

О, разумеется, так говорить и так признаваться можно только какой-нибудь раз в жизни, - в предсмертную минуту например, всходя на эшафот. Но Катя именно была в своем характере и в своей минуте. Это была та же самая стремительная Катя, которая кинулась тогда к молодому развратнику, чтобы спасти отца; та же самая Катя, которая давеча, пред всею этою публикой, гордая и целомудренная, принесла себя и девичий стыд свой в жертву, рассказав про "благородный поступок Мити", чтобы только лишь сколько-нибудь смягчить ожидавшую его участь. И вот теперь точно так же она тоже принесла себя в жертву, но уже за другого, и может быть только лишь теперь, только в эту минуту, впервые почувствовав и осмыслив вполне, как дорог ей этот другой человек! Она пожертвовала собою в испуге за него. вдруг вообразив, что он погубил себя своим показанием, что это он убил, а не брат, пожертвовала, чтобы спасти его, его славу, его репутацию! И однако промелькнула страшная вещь: лгала ли она на Митю, описывая бывшие свои к нему отношения, - вот вопрос. Нет, нет, она не клеветала намеренно, крича, что Митя презирал ее за земной поклон! Она сама верила в это, она была глубоко убеждена, с самого может быть этого поклона, что простодушный, обожавший ее еще тогда Митя смеется над ней и презирает ее. И только из гордости она сама привязалась к нему тогда любовью, истерической и надорванной, из уязвленной гордости, и эта любовь походила не на любовь, а на мщение. О, может быть эта надорванная любовь и выродилась бы в настоящую, может Катя ничего и не желала, как этого, но Митя оскорбил ее изменой до глубины души, и душа не простила. Минута же мщения слетела неожиданно, и все так долго и больно скоплявшееся в груди обиженной женщины разом, и опять-таки неожиданно, вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя! И разумеется, только что успела высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика, она упала, рыдая и выкрикивая. Ее унесли. В ту минуту, когда ее выносили, с воплем бросилась к Мите Грушенька со своего места, так что ее и удержать не успели:

- Митя! - завопила она, - погубила тебя твоя змея! Вон она вам себя показала! - прокричала она, сотрясаясь от злобы, суду. По мановению председателя ее схватили и стали выводить. из залы. Она не давалась, билась и рвалась назад к Мите. Митя завопил и тоже рванулся к ней. Им овладели.

Да, полагаю, что наши зрительницы дамы остались довольны: зрелище было богатое. Затем помню, как появился приезжий московский доктор. Кажется, председатель еще и прежде того посылал пристава, чтобы распорядиться оказать Ивану Федоровичу пособие. Доктор доложил суду, что больной в опаснейшем припадке горячки и что следовало бы немедленно его увезти. На вопросы прокурора и защитника подтвердил, что пациент сам приходил к нему третьего дня и что он предрек ему тогда же скорую горячку, но что лечиться он не захотел. "Был же он положительно не в здравом состоянии ума, сам мне признавался, что наяву видит видения, встречается на улице разных лиц, которые уже померли, и что к нему каждый вечер ходит в гости сатана", - заключил

доктор. Дав свое показание, знаменитый врач удалился. Представленное Катериной Ивановной письмо было присоединено к вещественным доказательствам. По совещании суд постановил: продолжать судебное следствие, а оба неожиданные показания (Катерины Ивановны и Ивана Федоровича) занести в протокол...

Но уже не буду описывать дальнейшего судебного следствия. Да и показания остальных свидетелей были лишь повторением и подтверждением прежних, хотя все со своими характерными особенностями. Но повторяю, все сведется в одну точку в речи прокурора, к которой и перейду сейчас. Все были в возбуждении, все были наэлектризованы последнею катастрофой и со жгучим нетерпением ждали поскорее лишь развязки, речей сторон и приговора. Фетюкович был видимо потрясен показаниями Катерины Ивановны. Зато торжествовал прокурор. Когда кончилось судебное следствие, был объявлен перерыв заседания, продолжавшийся почти час. Наконец председатель открыл судебные прения. Кажется, было ровно восемь часов вечера, когда наш прокурор, Ипполит Кириллович, начал свою обвинительную речь.

VI. РЕЧЬ ПРОКУРОРА. ХАРАКТЕРИСТИКА.

Начал Ипполит Кириллович свою обвинительную речь, весь сотрясаясь нервной дрожью, с холодным, болезненным потом на лбу и висках, чувствуя озноб и жар во всем теле попеременно. Он сам так потом рассказывал. Он считал эту речь за свой *chef d'oeuvre*, за *chef d'oeuvre* всей своей жизни, за лебединую песнь свою. Правда, девять месяцев спустя он и помер от злой чахотки, так что действительно, как оказалось, имел бы право сравнить себя с лебедем, поющим свою последнюю песнь, если бы предчувствовал свой конец заранее. В эту речь он вложил все свое сердце и все сколько было у него ума и неожиданно доказал, что в нем таились и гражданское чувство, и "проклятые" вопросы, по крайней мере поскольку наш бедный Ипполит Кириллович мог их вместить в себе. Главное, тем взяло его слово, что было искренно: он искренно верил в виновность подсудимого; не на заказ, не по должности только обвинял его, и, взывая к "отмщению", действительно сотрясался желанием "спасти общество". Даже дамская наша публика, в конце концов враждебная Ипполиту Кирилловичу, сознавалась однако в чрезвычайном вынесенном впечатлении. Начал он надтреснутым, срывающимся голосом, но потом очень скоро голос его окреп и зазвенел на всю залу, и так до конца речи. Но только что кончил ее, то чуть не упал в обморок.

"Господа присяжные заседатели, - начал обвинитель, - настоящее дело прогремело по всей России. Но чему бы кажется удивляться, чего так особенно ужасаться? Нам-то, нам-то особенно? Ведь мы такие привычные ко всему этому люди! В том и ужас наш, что такие мрачные дела почти перестали для нас быть ужасными! Вот чему надо ужасаться, привычке нашей, а не единичному злодеянию того или другого индивидуума. Где же причины нашего равнодушия, нашего чуть тепленького отношения к таким делам, к таким знамениям времени, пророчествующим нам незавидную будущность? В цинизме ли нашем, в раннем ли истощении ума и воображения столь молодого еще нашего общества, но столь безвременно одряхлевшего? В расшатанных ли до основания нравственных началах наших, или в том наконец, что этих нравственных начал может быть у нас совсем даже и не имеется. Не разрешаю эти вопросы, тем не менее они мучительны, и всякий гражданин не то что должен, а обязан страдать ими. Наша начинающаяся, робкая еще наша пресса оказала уже обществу некоторые услуги, ибо никогда бы мы без нее не узнали, сколько-нибудь в полноте, про те ужасы разнузданной воли и нравственного падения, которые беспрерывно передает она на своих страницах уже всем, не одним только посещающим залы нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование. И что же мы читаем почти повседневно? О, про такие вещи поминутно, пред которыми даже теперешнее дело бледнеет и представляется почти чем-то уже обыкновенным. Но важнее всего то, что множество наших русских, национальных наших уголовных дел, свидетельствуют именно о чем-то всеобщем, о какой-то общей беде, прижившейся с нами, и с которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться.

Вот там молодой блестящий офицер высшего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, подло, в тиши, безо всякого угрызения совести, зарезывает мелкого чиновника, отчасти бывшего своего благодетеля, и служанку его, чтобы похитить свой долговой документ, а вместе и остальные денежки чиновника: "пригодятся-де для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди". Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки. Там молодой герой, обвешанный крестами за храбрость, разбойнически умерщвляет на большой дороге мать своего вождя и благодетеля и, подговаривая своих товарищей, уверяет, что "она любит его как родного сына, и потому последует всем его советам и не примет предосторожностей". Пусть это изверг, но я теперь, в наше время, не смею уже сказать, что это только единичный изверг. Другой и не зарежет, но подумает и почувствует точно так же как он, в душе своей бесчестен точно так же как он. В тиши, наедине со своею совестью, может быть спрашивает себя: "Да что такое честь и не предрассудок ли кровь?" Может быть крикнут против меня и скажут, что я человек болезненный, истерический, клевету чудовищно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть, - и боже, как бы я был рад тому первый! О, не верьте мне, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: ведь если только хоть десятая, хоть двадцатая доля в словах моих правда, - то ведь и тогда ужасно! Посмотрите, господа, посмотрите, как у нас застреливаются молодые люди: О, без малейших гамлетовских вопросов о том: "Что будет там?" без признаков этих вопросов, как будто эта статья о духе нашем и о всем, что ждет нас за гробом, давно похерена в их природе, похоронена и песком засыпана. Посмотрите, наконец, на наш разврат, на наших сладострастников. Федор Павлович, несчастная жертва текущего процесса, есть пред иными из них почти невинный младенец. А ведь мы все его знали, "он между нами жил"... Да, психологией русского преступления займутся, может быть, когда-нибудь первенствующие умы, и наши и европейские, ибо тема стоит того. Но это изучение произойдет когда-нибудь после, уже на досуге, и когда вся трагическая безалаберщина нашей настоящей минуты отойдет на более отдаленный план, так что ее уже можно будет рассмотреть и умнее и беспристрастнее чем, например, люди как я могут сделать. Теперь же мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся, а сами, напротив, смакуем зрелище как любители ощущений сильных, эксцентрических, шевелящих нашу цинически-ленивую праздность, или, наконец, как малые дети, отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем голову в подушку, пока пройдет страшное видение с тем, чтобы потом тотчас же забыть его в веселии и играх. Но когда-нибудь надо же и нам начать нашу жизнь трезво и вдумчиво, надо же и нам бросить взгляд на себя как на общество, надо же и нам хоть что-нибудь в нашем общественном деле осмыслить или только хоть начать осмысление наше. Великий писатель предшествовавшей эпохи, в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки, восклицает: "Ах тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!" - и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущей сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы. Так, господа, это пусть, пусть сторонятся, почтительно или нет, но на мой грешный взгляд гениальный художник закончил так или в припадке младенчески невинного прекрасномыслия, или просто боясь тогдашней цензуры. Ибо, если в его тройку впрячь только его же героев, Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь! А это только еще прежние кони, которым далеко до теперешних, у нас почище..."

Здесь речь Ипполита Кирилловича была прервана рукоплесканиями. Либерализм изображения русской тройки понравился. Правда, сорвалось лишь два, три клака, так что председатель не нашел даже нужным обратиться к публике с угрозой "очистить залу" и лишь строго поглядел в сторону клакеров. Но Ипполит Кириллович был ободрен: никогда-то ему до сих пор не аплодировали! Человека столько лет не хотели слушать и вдруг возможность на всю Россию высказаться!

"В самом деле, - продолжал он, - что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества, - о, не все элементы, да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, "как солнце в малой капле вод", но все же нечто

отразилось, все же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого "отца семейства", столь печально покончившего свое существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, чрез нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капиталчик, вначале мелкий плут и лживый шут, с зародышем умственных способностей довольно впрочем не слабых, и прежде всего ростовщик. С годами, то-есть с нарастанием капиталчика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная, свелась на то, что кроме сладострастных наслаждений он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей - никаких. Он над ними смеется, он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика - *apres moi le deluge*. Все, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее, даже враждебное отъединение от общества: "Гори хоть весь свет огнем, было бы одному мне хорошо". И ему хорошо, он вполне доволен, он жаждет прожить так еще двадцать-тридцать лет. Он обсчитывает родного сына, и на его же деньги, на наследство матери его, которые не хочет отдать ему, отбивает у него, у сына же своего, любовницу. Нет, я не хочу уступать защиту подсудимого высокоталантливому защитнику, прибывшему из Петербурга. Я и сам скажу правду, я и сам понимаю ту сумму негодования, которую он накопил в сердце своего сына. Но довольно, довольно об этом несчастном старике, он получил свою мзду. Вспомним однако, что это отец и один из современных отцов. Обижу ли я общество, сказав, что это один даже из многих современных отцов? Увы, столь многие из современных отцов лишь не высказываются столь цинически как этот, иболучше воспитаны, лучше образованы, а в сущности - почти такой же как и он философии. Но пусть я пессимист, пусть, мы уж условились, что вы меня прощаете. Уговоримся заранее: вы мне не верьте, не верьте, я буду говорить, а вы не верьте. Но все-таки дайте мне высказаться, все-таки кое-что из моих слов не забудьте. Но вот однако дети этого старика, этого отца семейства: один пред нами на скамье подсудимых, об нем вся речь впереди; про других скажу лишь вскользь. Из этих других, старший - есть один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь-в-точь как и родитель его. Мы все его слышали, он в нашем обществе был принят дружелюбно. Мнений своих он не скрывал, даже напротив, совсем напротив, что и дает мне смелость говорить теперь о нем несколько откровенно, конечно не как о частном лице, а лишь как о члене семьи Карамазовых. Здесь умер вчера, самоубийством, на краю города, один болезненный идиот, сильно привлеченный к настоящему делу, бывший слуга и, может быть, побочный сын Федора Павловича, Смердяков. Он с истерическими слезами рассказывал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов, Иван Федорович, ужаснул его своим духовным безудержем: "Все дескать, по-ихнему, позволено, что ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено, - вот они чему меня все учили". Кажется идиот на этом тезисе, которому обучили его, и сошел с ума окончательно, хотя, конечно, повлияли на умственное расстройство его и падающая болезнь, и вся эта страшная, разразившаяся в их доме катастрофа. Но у этого идиота промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его наблюдателю, вот почему даже я об этом и заговорил: "Если есть, сказал он мне, который из сыновей более похожий на Федора Павловича по характеру, так это он, Иван Федорович!" На этом замечании я прерываю начатую характеристику, не считая деликатным продолжать далее. О, я не хочу выводить дальнейших заключений и как ворон каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели еще сегодня здесь, в этой зале, что непосредственная сила правды еще живет в его молодом сердце, что еще чувства семейной привязанности не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом, приобретенным больше по наследству, чем истинным страданием мысли. Затем другой сын, - о, это еще юноша, благочестивый и смиренный, в противоположность мрачному растлевающему мировоззрению его брата, ищущий прилепиться, так-сказать, к "народным началам", или к тому, что у нас называют этим мудреным словечком в иных теоретических углах мыслящей интеллигенции нашей. Он, видите ли, прилепился к монастырю; он чуть было сам не постригся в монахи. В нем, кажется мне, как бы бессознательно, и так

рано, выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном. обществе, убоясь цинизма и разврата его и, ошибочно приписывая все зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к "родной почве", так сказать, в материнские объятия родной земли, как дети, напуганные призраками, и у иссохшей груди расслабленной матери жаждут хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспять, лишь бы не видеть их пугающих ужасов. С моей стороны я желаю доброму и даровитому юноше всего лучшего, желаю, чтоб его юное прекрасноедушие и стремление к народным началам не обратилось впоследствии, как столь часто оно случается, со стороны нравственной в мрачный мистицизм, а со стороны гражданской в тупой шовинизм - два качества, грозящие, может быть, еще большим злом нации, чем даже раннее растрепание от ложно понятого и даром добытого европейского просвещения, каким страдает старший брат его".

За шовинизм и мистицизм опять раздалось было два-три клада. И уж конечно Ипполит Кириллович увлекся, да и все это мало подходило к настоящему делу, не говоря уже о том, что вышло довольно неясно, но уж слишком захотелось высказаться чахоточному и озлобленному человеку хоть раз в своей жизни. У нас потом говорили, что в характеристике Ивана Федоровича он руководился чувством даже не деликатным, потому что тот раз или два публично осадил его в спорах, и Ипполит Кириллович, помня это, захотел теперь отомстить. Но не знаю, можно ли было так заключить. Во всяком случае все это было только введением, затем речь пошла прямее и ближе к делу.

"Но вот третий сын отца современного семейства, - продолжал Ипполит Кириллович, - он на скамье подсудимых, он перед нами. Перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его: пришел срок, и все развернулось, все обнаружилось. В противоположность "европеизму" и "народным началам" братьев своих, он как бы изображает собою Россию непосредственную, - о, не всю, не всю, и боже сохрани, если бы всю! И однако же, тут она, наша Россеешка, пахнет ею, слышится она матушка. О, мы непосредственны, мы зло и добро в удивительнейшем смешении, мы любители просвещения и Шиллера, и в то же время мы бушем по трактирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников наших, бородачки. О, и мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы, - именно обуреваемы, - благороднейшими идеалами, но только с тем условием, чтоб они достигались сами собою, упали бы к нам на стол с неба и, главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем. О дайте, дайте нам всевозможные блага жизни (именно всевозможные, дешевле не помиримся) и особенно не препятствуйте нашему нраву ни в чем, и тогда и мы докажем, что можем быть хороши и прекрасны. Мы не жадны, нет, но однако же подавайте нам денег, больше, больше, как можно больше денег, и вы увидите, как великодушно, с каким презрением к презренному металлу мы разбросаем их в одну ночь в безудержном кутеже. А не дадут нам денег, так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется. Но об этом после, будем следить по порядку. Прежде всего пред нами бедный заброшенный мальчик, "на заднем дворе без сапожек", как выразился давеча наш почтенный и уважаемый согражданин, увы, происхождения иностранного! Еще раз повторю, - никому не уступлю защиту подсудимого! Я обвинитель, я и защитник. Да-с, и мы люди, и мы человеки, и мы сумеем взвесить то, как могут повлиять на характер первые впечатления детства и родного гнездышка. Но вот мальчик уже юноша, уже молодой человек, офицер; за буйные поступки и за вызов на поединок ссылают его в один из отдаленных пограничных городков нашей благодатной России. Там он служит, там и кутит, и конечно - большому кораблю большое и плавание. Нам надо средств-с, средств прежде всего, и вот, после долгих споров, порешено у него с отцом на последних шести тысячах рублях, и их ему высылают. Заметьте, он выдал документ, и существует письмо его, в котором он от остального почти отрекается и этими шестью тысячами препирание с отцом по наследству оканчивает. Тут происходит его встреча с молодой, высокого характера и развития девушкой. О, я не смею повторять подробностей, вы их только что слышали: тут честь, тут самопожертвование, и я умолкаю. Образ молодого человека, легкомысленного и развратного, но склонившегося пред истинным благородством, пред высшею идеей, мелькнул перед нами чрезвычайно симпатично. Но вдруг после того, в этой же самой зале суда последовала совсем неожиданно и обратная сторона медали. Опять-таки не смею пускаться в

догадки и удержусь анализировать – почему так последовало. Но однако были же причины – почему так последовало. Эта же самая особа, вся в слезах негодования, долго таившегося, объявляет нам, что он же, он же первый и презирал ее за ее неосторожный, безудержный, может быть, порыв, но все же возвышенный, все же великодушный. У него же, у жениха этой девушки, и промелькнула прежде всех та насмешливая улыбка, которую она лишь от него одного не могла снести. Зная, что он уже изменил ей (изменил в убеждении, что она уже все должна впредь сносить от него, даже измену его), зная это, она нарочно предлагает ему три тысячи рублей и ясно, слишком ясно дает ему при этом понять, что предлагает ему деньги на измену ей же: "Что ж, примешь или нет, будешь ли столь циничен", говорит она ему молча своим судящим и испытующим взглядом. Он глядит на нее, понимает ее мысли совершенно (он ведь сам сознался здесь при вас, что он все понимал) и безусловно присволяет себе эти три тысячи и прокучивает их в два дня с своею новою возлюбленною! Чему же верить? Первой ли легенде – порыву ли высокого благородства, отдающего последние средства для жизни и преклоняющегося пред добродетелью, или обратной стороне медали, столь отвратительной? Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посредине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он был искренно благороден, а во втором случае так же искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы натуры широкие, Карамазовские, – я ведь к тому и веду, – способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, г. Ракиным: "Ощущение низости падения так же необходимо этим разнуданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства", – и это правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и непрерывно. Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент, – без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки как вся наша матушка Россия, мы все вместим и со всем уживемся! Кстати, господа присяжные заседатели, мы коснулись теперь этих трех тысяч рублей, и я позволю себе несколько забежать вперед. Вообразите только, что он, этот характер, получив тогда эти деньги, да еще таким образом, чрез такой стыд, чрез такой позор, чрез последней степени унижение. – вообразите только, что он в тот же день возмог будто бы отделить из них половину, зашить в ладонку и целый месяц потом иметь твердость носить их у себя на шее, несмотря на все соблазны и чрезвычайные нужды! Ни в пьяном кутеже по трактирам, ни тогда, когда ему пришлось лететь из города доставать бог знает у кого деньги, необходимейшие ему, чтоб увезти свою возлюбленную от соблазнов соперника, отца своего, – он не осмеливается притронуться к этой ладонке. Да хоть именно для того только, чтобы не оставлять свою возлюбленную на соблазны старика, к которому он так ревновал, он должен бы был распечатать свою ладонку и остаться дома неотступным сторожем своей возлюбленной, ожидая той минуты, когда она скажет ему наконец: "Я твоя", чтоб лететь с нею куда-нибудь подальше, из теперешней роковой обстановки. Но нет, он не касается своего талисмана и под каким же предлогом? Первоначальный предлог, мы сказали, был именно тот, что когда ему скажут: "я твоя, вези меня, куда хочешь", – то было бы на что увезти. Но этот первый предлог, по собственным словам подсудимого, побледнел перед вторым. Поколь дескать я ношу на себе эти деньги – "я подлец, но не вор", ибо всегда могу пойти к оскорбленной мною невесте и, выложив пред нею эту половину всей обманна присвоенной от нее суммы, всегда могу ей сказать: "Видишь, я прокутил половину твоих денег и доказал тем, что я слабый и безнравственный человек и, если хочешь, подлец (я выражаюсь языком самого подсудимого), – но хоть и подлец, а не вор, ибо если бы был вором, то не принес бы тебе этой половины оставшихся денег, а присвоил бы и ее как и первую половину". Удивительное объяснение факта! Этот самый бешеный, но слабый человек, не могший отказаться от соблазна принять три тысячи рублей при таком позоре, – этот самый человек ощущает вдруг в себе такую стоическую твердость и носит на своей шее тысячи рублей, не смея до них дотронуться! Сообразно ли это хоть сколько-нибудь с разбираемым нами характером? Нет, и я позволю себе вам рассказать, как бы поступил в таком случае настоящий Дмитрий Карамазов, если бы даже и в самом деле решился зашить свои деньги в ладонку. При первом же

соблазне, – ну хоть чтоб опять чем потешить ту же новую возлюбленную, с которой уже прокутил первую половину этих же денег, он бы расшил свою ладонку и отделил от нее, – ну положим на первый случай хоть только сто рублей, – ибо к чему де непременно относить половину, то-есть полторы тысячи, довольно и тысячи четырехсот рублей; – ведь все то же выйдет: "подлец дескать, а не вор, потому, что все же хоть тысячу четыреста рублей да принес назад, . а вор бы все взял и ничего не принес". Затем еще через несколько времени опять расшил бы ладонку и опять вынул уже вторую сотню, затем третью, затем четвертую, и не далее как к концу месяца вынул бы наконец предпоследнюю сотню: дескать и одну сотню принесу назад все то же ведь выйдет: "подлец, а не вор. Двадцать девять сотен прокутил, а все же одну возвратил, вор бы и ту не возвратил". И наконец уже, прокутив эту предпоследнюю сотню, посмотрел бы на последнюю и сказал бы себе: "А ведь и впрямь не стоит относить одну сотню, – давай и ту прокучу!" Вот как бы поступил настоящий Дмитрий Карамазов, какого мы знаем! Легенда же об ладонке – это такое противоречие с действительностью, какого более и представить нельзя. Можно предположить все, а не это. Но мы к этому еще вернемся".

Обозначив в порядке все, что известно было судебному следствию об имущественных спорах и семейных отношениях отца с сыном и еще, и еще раз выведя заключение, что по известным данным нет ни малейшей возможности определить в этом вопросе о дележе наследства, кто кого обсчитал или кто на кого насчитал, Ипполит Кириллович по поводу этих трех тысяч рублей, засевших в уме Мити, как неподвижная идея, упомянул об медицинской экспертизе.

VII. ОБЗОР ИСТОРИЧЕСКИЙ.

"Экспертиза медиков стремилась доказать нам, что подсудимый не в своем уме и маньяк. Я утверждаю, что он именно в своем уме, но что это-то и всего хуже: был бы не в своем, то оказался бы может быть гораздо умнее. Что же до того, что он маньяк, то с этим я бы и согласился, но именно в одном только пункте, – в том самом, на который и экспертиза указывала, именно во взгляде подсудимого на эти три тысячи, будто бы недоплаченные ему отцом. Тем не менее, может быть, можно найти несравненно ближайшую точку зрения, чтоб объяснить это всегдашнее исступление подсудимого по поводу этих денег, чем склонность его к помешательству. С своей стороны, я вполне согласен с мнением молодого врача, находившего, что подсудимый пользуется и пользовался полными и нормальными умственными способностями, а был лишь раздражен и озлоблен. Вот в этом и дело: не в трех тысячах, не в сумме собственно заключался предмет постоянного и исступленного озлобления подсудимого, а в том, что была тут особая причина, возбуждавшая его гнев. Причина эта – ревность!"

Здесь Ипполит Кириллович пространно развернул всю картину роковой страсти подсудимого к Грушеньке. Начал он с самого того момента, когда подсудимый отправился к "молодой особе", чтоб "избить ее", – выражаясь его собственными словами, пояснил Ипполит Кириллович, – "но вместо того, чтоб избить, остался у ног ее, – вот начало этой любви. В то же время бросает взгляд на ту же особу и старик, отец подсудимого. – совпадение удивительное и роковое, ибо оба сердца зажглись вдруг, в одно время, хотя прежде и тот и другой знали же и встречали эту особу, – и зажглись эти оба сердца самую безудержную, самую Карамазовскую страстью. Тут мы имеем ее собственное признание: "Я, говорит она, смеялась над тем и другим". Да, ей захотелось вдруг посмеяться над тем и другим; прежде не хотелось, а тут вдруг влетело ей в ум это намерение, – и кончилось тем, что оба пали перед ней побежденные. Старик, поклонявшийся деньгам как богу, тотчас же приготовил три тысячи рублей лишь за то только, чтоб она посетила его обитель, но вскоре доведен был и до того, что за счастье почел бы положить к ногам ее свое имя и все свое состояние, лишь бы согласилась стать законною супругой его. На это мы имеем свидетельства твердые. Что же до подсудимого, то трагедия его очевидна, она пред нами. Но такова была "игра" молодой особы. Несчастному молодому человеку обольстительница не подавала даже и надежды,

ибо надежда, настоящая надежда была ему подана лишь только в самый последний момент, когда он, стоя перед своею мучительницей на коленях, простирал к ней уже обгаренные кровью своего отца и соперника руки: в этом именно положении он и был арестован. "Меня, меня вместе с ним в каторгу пошлите, я его до того довела, я больше всех виновата!" восклицала эта женщина сама, уже в искреннем раскаянии, в минуту его ареста. Талантливый молодой человек, взявший на себя описать настоящее дело, - все тот же г. Ракин, о котором я уже упоминал, - в нескольких сжатых и характерных фразах определяет характер этой героини: "Раннее разочарование, ранний обман и падение, измена обольстителя-жениха, ее бросившего, затем бедность, проклятие честной семьи и наконец покровительство одного богатого старика, которого она впрочем сама считает и теперь своим благодетелем. В молодом сердце, может быть заключавшем в себе много хорошего, затаился, гнев еще слишком с ранней поры. Образовался характер расчетливый, копящий капитал. Образовалась насмешливость и мстительность обществу". После этой характеристики понятно, что она могла смеяться над тем и другим единственно для игры, для злобной игры. И вот в этот месяц безнадежной любви, нравственных падений, измены своей невесте, присвоения чужих денег, вверенных его чести, - подсудимый кроме того доходит почти до исступления, до бешенства, от непрерывной ревности, и к кому же, к своему отцу! И главное, безумный старик сманивает и прельщает предмет его страсти - этими же самыми тремя тысячами, которые сын его считает своими родовыми, наследством матери, в которых укоряет отца. Да, я согласен, это было тяжело перенести! Тут могла явиться даже и мания. Не в деньгах было дело, а в том, что этими же деньгами с таким омерзительным цинизмом разбивалось счастье его!"

Затем Ипполит Кириллович перешел к тому, как постепенно зарождалась в подсудимом мысль отцеубийства, и проследил ее по фактам.

"Сначала мы только кричим по трактирам, - весь этот месяц кричим. О, мы любим жить на людях и тотчас же сообщать этим людям все, даже самые inferнальные и опасные наши идеи, мы любим делиться с людьми, и, неизвестно почему, тут же, сейчас же и требуем, чтоб эти люди тотчас же отвечали нам полнейшею симпатией, входили во все наши заботы и тревоги, нам поддакивали и нраву нашему не препятствовали. Не то мы озлимся и разнесем весь трактир. (Следовал анекдот о штабс-капитане Снегиреве.) Видевшие я слышавшие подсудимого в этот месяц почувствовали наконец, что тут уже могут быть не одни крики и угрозы отцу, но что при таком исступлении угрозы пожалуй перейдут и в дело. (Тут прокурор описал семейную встречу в монастыре, разговоры с Алешей и безобразную сцену насилия в доме отца, когда подсудимый ворвался к нему после обеда.) Не думаю настойчиво утверждать, - продолжал Ипполит Кириллович, - что до этой сцены подсудимый уже обдуманно и преднамеренно положил покончить с отцом своим убийством его. Тем не менее идея эта уже несколько раз предостояла ему, и он обдуманно созерцал ее - на это мы имеем факты, свидетелей и собственное сознание его. Признаюсь, господа присяжные заседатели, - присовокупил Ипполит Кириллович, - я даже до сегодня колебался оставить за подсудимым полное и сознательное преднамерение напрашивавшегося к нему преступления. Я твердо был убежден, что душа его уже многократно созерцала роковой момент впереди, но лишь созерцала, представляла его себе лишь в возможности, но еще не определяла ни срока исполнения, ни обстоятельств. Но я колебался лишь до сегодня, до этого рокового документа, представленного сегодня суду г-же Верховцевой. Вы сами слышали, господа, ее восклицание: "Это план, это программа убийства!" вот как определяла она несчастное "пьяное" письмо несчастного подсудимого. И действительно, за письмом этим все значение программы и преднамерения. Оно написано за двое суток до преступления, - и, таким образом, нам твердо теперь известно, что, за двое суток до исполнения своего страшного замысла, подсудимый с клятвой объявлял, что если не достанет завтра денег, то убьет отца, с тем чтобы взять у него деньги из-под подушки "в пакете с красною ленточкой, только бы уехал Иван". Слышите: "только бы уехал Иван", - тут стало быть уже все обдуманно, обстоятельства взвешены, - и что же: все потом и исполнено как по писаному! Преднамеренность и обдуманность несомненны, преступление должно было совершиться с целью грабежа, это прямо объявлено, это написано и подписано. Подсудимый от своей подписи не отрицается. Скажут: это писал пьяный. Но это ничего не уменьшает и тем важнее: в пьяном виде написал то, что задумал в трезвом. Не было бы задумано в трезвом, не

написалось бы в пьяном. Скажут пожалуй: к чему же он кричал о своем намерении по трактирам? Кто на такое дело решается преднамеренно, тот молчит и таит про себя. Правда, но кричал он тогда, когда еще не было планов и преднамерения, а лишь стояло одно желание, созревало лишь стремление. Потом он об этом уже меньше кричит. В тот вечер, когда было написано это письмо, напившись в трактире "Столичный Город", он, против обыкновения, был молчалив, не играл на биллиарде, сидел в стороне, ни с кем не говорил и лишь согнал с места одного здешнего купеческого приказчика, но это уже почти бессознательно, по привычке к ссоре, без которой, войдя в трактир, он уже не мог обойтись. Правда, вместе с окончательным решением подсудимому должно же было придти в голову опасение, что он слишком много накричал по городу предварительно и что это может весьма послужить к его уличению и его обвинению, когда он исполнит задуманное. Но уж что же делать, факт огласки был совершен, его не воротить, и, наконец, вывозила же прежде кривая, вывезет и теперь. Мы на звезду свою надеялись, господа! Я должен к тому же признаться, что он много сделал, чтоб обойти роковую минуту, что он употребил весьма много усилий, чтоб избежать кровавого исхода. "Буду завтра просить три тысячи у всех людей, как пишет он своим своеобразным языком, а не дадут люди, то прольется кровь". Опять-таки в пьяном виде написано и опять-таки в трезвом виде как по писаному исполнено!"

Тут Ипполит Кириллович приступил к подробному описанию всех стараний Мити добыть себе деньги, чтоб избежать преступления. Он описал его похождения у Самсонова, путешествие к Лягавому - все по документам. "Измученный, осмеянный, голодный, продавший часы на это путешествие (имея однако на себе полторы тысячи рублей - и будто, о будто!), мучаясь ревностью по оставленному в городе предмету любви, подозревая, что она без него уйдет к Федору Павловичу, он возвращается наконец в город. Слава богу! Она у Федора Павловича не была. Он же сам ее и провожает к ее покровителю Самсонову. (Странное дело, к Самсонову мы не ревнивы и это весьма характерная психологическая особенность в этом деле!) Затем стремится на наблюдательный пост "на задах" и там - и там узнает, что Смердяков в падучей, что другой слуга болен - поле чисто, а "знаки" в руках его - какой соблазн! Тем не менее он все-таки сопротивляется; он идет к высокоуважаемой всеми нами временной здешней жительнице г-же Хохлаковой. Давно уже сострадающая его судьбе, эта дама предлагает ему благоразумнейший из советов: бросить весь этот кутеж, эту безобразную любовь, эти праздношатания по трактирам, бесплодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золотые прииски: "там исход вашим бушующим силам, вашему романическому характеру, жаждущему приключений". Описав исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг получил известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, описав мгновенное испуганное несчастье несчастного, измученного нервами ревнивого человека при мысли, что она именно обманула его и теперь у него, Федора Павловича, Ипполит Кириллович заключил, обращая внимание на роковое значение случая: успеи ему сказать служанка, что возлюбленная его в Мокром, с "прежним" и "беспорным" - ничего бы и не было. Но она опешила от страха, заклалась-забожилась, и, если подсудимый не убил ее тут же, то это потому что сломя голову пустился за своей изменницей. Но заметьте: как ни был он вне себя, а захватил-таки с собою медный пестик. Зачем именно пестик, зачем не другое какое оружие? Но, если мы уже целый месяц созерцали эту картину и к ней приготавливались, то чуть мелькнуло нам что-то в виде оружия, мы и схватываем его как оружие. А о том, что какой-нибудь предмет в этом роде может послужить оружием, - это мы уже целый месяц представляли себе. Потому-то так мгновенно и бесспорно и признали его за оружие! А потому все же не бессознательно, все же не неволью схватил он этот роковой пестик. И вот он в отцовском саду - поле чисто, свидетелей нет, глубокая ночь, мрак и ревность. Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объятиях, и, может быть, смеется над ним в эту минуту - захватывает его дух. Да и не подозрение только, - какие уж теперь подозрения, обман явен, очевиден: она тут, вот в этой комнате, откуда свет. она у него там за ширмами, - и вот несчастный подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, благонравно смиряется и благоразумно уходит, поскорее вон от беды, чтобы чего не произошло, опасного и безнравственного - и нас в этом хотят уверить, нас, знающих характер подсудимого, понимающих в каком он был состоянии духа, в состоянии нам известном по фактам, а главное обладая

знаками, которыми тотчас же мог отпереть дом и войти!" Здесь по поводу "знаков" Ипполит Кириллович оставил на время свое обвинение и нашел необходимым распространиться о Смердякове, с тем чтоб уж совершенно исчерпать весь этот вводный эпизод о подозрении Смердякова в убийстве и покончить с этою мыслию раз навсегда. Сделал он это весьма обстоятельно, и все поняли, что несмотря на все выказываемое им презрение к этому предположению, он все-таки считал его весьма важным.

VIII. ТРАКТАТ О СМЕРДЯКОВЕ.

"Во-первых, откуда взялась возможность подобного подозрения?" - начал с этого вопроса Ипполит Кириллович. - Первый крикнувший, что убил Смердяков, был сам подсудимый в минуту своего ареста и однако не представивший с самого первого крика своего и до самой сей минуты суда ни единого факта в подтверждение своего обвинения, - и не только факта, но даже сколько-нибудь сообразного с человеческим смыслом намека на какой-нибудь факт. Затем подтверждают обвинение это только три лица: оба брата подсудимого и г-жа Светлова. Но старший брат подсудимого объявил свое подозрение только сегодня, в болезни, в припадке бесспорного умоисступления и горячки, а прежде, во все два месяца, как нам положительно это известно, совершенно разделял убеждение о виновности своего брата, даже не искал возражать против этой идеи. Но мы этим займемся особенно еще потом. Затем младший брат подсудимого нам объявляет давеча сам, что фактов в подтверждение своей мысли о виновности Смердякова не имеет никаких, ни малейших, а заключает так лишь со слов самого подсудимого и "по выражению его лица" - да, это колоссальное доказательство было дважды произнесено давеча его братом. Г-жа же Светлова выразилась даже, может быть, и еще колоссальнее: "Что подсудимый вам скажет, тому и верьте, не таков человек, чтобы солгал". Вот все фактические доказательства на Смердякова от этих трех лиц, слишком заинтересованных в судьбе подсудимого. И между тем обвинение на Смердякова ходило и держалось, и держится, - можно этому поверить, можно это представить?"

Тут Ипполит Кириллович нашел нужным слегка очертить характер покойного Смердякова, "прекратившего жизнь свою в припадке болезненного умоисступления и помешательства". Он представил его человеком слабоумным, с зачатком некоторого смутного образования, сбитого с толку философскими идеями не под силу его уму и испугавшегося иных современных учений о долге и обязанности, широко преподанных ему - практически-бесшабашною жизнью покойного его барина, а может быть и отца, Федора Павловича, а теоретически - разными странными философскими разговорами с старшим сыном барина, Иваном Федоровичем, охотно позволявшим себе это развлечение, - вероятно от скуки, или от потребности насмешки, не нашедшей лучшего приложения. Он мне сам рассказывал о своем душевном состоянии в последние дни своего пребывания в доме своего барина, - пояснил Ипполит Кириллович, - но свидетельствуют о том же и другие: сам подсудимый, брат его и даже слуга Григорий, т. е. все те, которые должны были знать его весьма близко. Кроме того, удрученный падучею болезнию, Смердяков был "труслив как курица". "Он падал мне в ноги и целовал мои ноги", сообщал нам сам подсудимый в ту минуту, когда еще не сознавал некоторой для себя невыгоды в таком сообщении, - "это курица в падучей болезни", выразился он про него своим характерным языком. И вот его-то подсудимый (о чем и сам свидетельствует) выбирает в свои доверенные и запугивает настолько, что тот соглашается наконец служить ему шпионом и переносчиком. В этом качестве домашнего соглядатая он изменяет своему барину, сообщает подсудимому и о существовании пакета с деньгами, и про знаки, по которым можно проникнуть к барину, - да и как бы он мог не сообщить! "Убьют-с, видел прямо, что убьют меня-с", говорил он на следствии, трясаясь и трепеща даже перед нами, несмотря на то, что запугавший его мучитель был уже сам тогда под арестом и не мог уже придти наказать его. "Подозревали меня всякую минуту-с, сам в страхе и трепете, чтобы только их гнев утолить, спешил сообщать им всякую тайну-с, чтобы тем самым невинность мою перед ними видеть могли-с, и живого на покаяние отпустили-с". Вот

собственные слова его, я их записал и запомнил: "Как закричит, бывало, на меня, я так на коленки перед ними и паду". Будучи высококачественным от природы своей молодым человеком и войдя тем в доверенность своего барина, отличившего в нем эту честность, когда тот возвратил ему потерянные деньги, несчастный Смердяков, надо думать, страшно мучился раскаянием в измене своему барину, которого любил как своего благодетеля. Сильно страдающие от падучей болезни, по свидетельству глубочайших психиатров, всегда наклонны к непрерывному и конечно болезненному самообвинению. Они мучаются от своей "виновности" в чем-то и перед кем-то, мучаются угрызениями совести, часто, даже безо всякого основания, преувеличивают и даже сами выдумывают на себя разные вины и преступления. И вот подобный-то субъект становится действительно виновным и преступным от страха и от запугивания. Кроме того, он сильно предчувствовал, что из слагающихся на глазах его обстоятельств может выйти нечто недоброе. Когда старший сын Федора Павловича, Иван Федорович, перед самою катастрофой уезжал в Москву, Смердяков умолял его остаться, не смея однако же, по трусливому обычаю своему, высказать ему все опасения свои в виде ясного и категорического. Он лишь удовольствовался намеками, но намеков не поняли. Надо заметить, что в Иване Федоровиче он видел как бы свою защиту, как бы гарантию в том, что пока тот дома, то не случится беды. Вспомните выражение в "пьяном" письме Дмитрия Карамазова: "убью старика, если только уедет Иван", стало быть присутствие Ивана Федоровича казалось всем как бы гарантией тишины и порядка в доме. И вот он-то и уезжает, а Смердяков тотчас же, почти через час по отъезде молодого барина, упадает в падучей болезни. Но это совершенно понятно. Здесь надо упомянуть, что, удрученный страхами и своего рода отчаянием, Смердяков в последние дни особенно ощущал в себе возможность приближения припадков падучей, которая и прежде всегда случалась с ним в минуты нравственного напряжения и потрясения. День и час этих припадков угадать конечно нельзя, но расположение к припадку каждый epilepticus ощутить в себе может заранее. Так говорит медицина. И вот только-что съезжает со двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего так сказать сиротства и своей беззащитности, идет за домашним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и думает: "будет или не будет припадок, а что коль сейчас придет?" - И вот именно от этого настроения, от этой мнительности, от этих вопросов и схватывает его горловая спазма, всегда предшествующая падучей, и он летит стремглав без сознания, на дно погреба. И вот, в этой самой естественной случайности ухищряются видеть какое-то подозрение, какое-то указание, какой-то намек на то, что он нарочно притворился больным! Но если нарочно, то является тотчас вопрос: для чего же? Из какого расчета, с какою же целью? Я уже не говорю про медицину; наука дескать лжет, наука ошибается, доктора не сумели отличить истины от притворства, - пусть. пусть, но ответьте же мне однако на вопрос: для чего ему было притвориться? Не для того ли, чтобы, замыслив убийство, обратиться на себя случившимся припадком заранее и поскорее внимание в доме? Видите ли, господа присяжные заседатели, в доме Федора Павловича в ночь преступления было и перебывало пять человек: во-первых, сам Федор Павлович, - но ведь не он же убил себя, это ясно; во-вторых, слуга его Григорий, но ведь того самого чуть не убили, - в-третьих, жена Григория, служанка Марфа Игнатьева, - но представить ее убийцей своего барина просто стыдно. Остаются стало быть на виду два человека; подсудимый и Смердяков. Но так как подсудимый уверяет, что убил не он, то стало быть должен был убить Смердяков, другого выхода нет, ибо никого другого нельзя найти, никакого другого убийцы не подберешь. Вот, вот стало быть откуда произошло это "хитрое" и колоссальное обвинение на несчастного, вчера покончившего с собой, идиота! Именно только по тому одному, что другого некого подобрать! Будь хоть тень, хоть подозрение на кого другого, на какое-нибудь шестое лицо, то я убежден, что даже сам подсудимый постыдился бы показать тогда на Смердякова, а показал бы на это шестое лицо, ибо обвинять Смердякова в этом убийстве есть совершенный абсурд.

"Господа, оставим психологию, оставим медицину, оставим даже самую логику, обратимся лишь к фактам, к одним только фактам и посмотрим, что скажут нам факты. Убил Смердяков, но как? Один или в сообществе с подсудимым? Рассмотрим сперва первый случай, то-есть, что Смердяков убивает один. Конечно, если убил. то для чего же-нибудь, из какой-нибудь выгоды. Но, не имея ни тени мотивов к убийству из таких, какие имел подсудимый, то есть

ненависти, ревности и проч., и проч., Смердяков без сомнения, мог убить только лишь из-за денег, чтобы присвоить себе именно эти три тысячи, которые сам же видел, как барин его укладывал в пакет. И вот, замыслив убийство, он заранее сообщает другому лицу, - и к тому же в высочайшей степени заинтересованному лицу, именно подсудимому, - все обстоятельства о деньгах и знаках: где лежит пакет, что именно на пакете написано, чем он обернут, а главное, главное сообщает про эти "знаки", которыми к барину можно пройти. Что ж, он прямо, чтобы выдать себя, это делает? Или чтобы найти себе соперника, который пожалуй и сам пожелает войти и приобрести пакет? Да, скажут мне, но ведь он сообщил от страху. Но как же это? Человек, не смигнувший задумать такое бесстрашное и зверское дело и потом исполнить его, - сообщает такие известия, которые знает только он в целом мире, и о которых, если бы только он об них умолчал, никто и не догадался бы никогда в целом мире. Нет, уж как бы ни был труслив человек, а уж если такое дело задумал, то уже ни за что бы не сказал никому по крайней мере про пакет и про знаки, ибо это значило бы вперед всего себя выдать. Что-нибудь выдумал бы нарочно, что-нибудь налгал бы другое, если уж от него непременно требовали известий, а уж об этом бы умолчал. Напротив, повторяю это, если б он промолчал хоть только о деньгах, а потом убил и присвоил эти деньги себе, то никто бы никогда в целом мире не мог обвинить его по крайней мере в убийстве для грабежа, ибо денег этих ведь никто кроме него не видал, никто не знал, что они существуют в доме. Если бы даже и обвинили его, то непременно сочли бы, что он из другого какого-нибудь мотива убил. Но так как мотивов этих за ним никто предварительно не приметил, а все видели, напротив, что он барином любим, почтен бариновою доверенностью, то конечно бы его последнего и заподозрили, а заподозрили бы прежде всего такого, который бы имел эти мотивы, кто сам кричал, что имеет эти мотивы, кто их не скрывал, перед всеми обнаруживал, одним словом, заподозрили бы сына убитого. Дмитрия Федоровича. Смердяков бы убил и ограбил, а сына бы обвинили, - ведь Смердякову убийце уж конечно было бы это выгодно? Ну, так вот этому-то сыну Дмитрию, Смердяков. замыслив убийство, и сообщает вперед про деньги, про пакет и про знаки, - как это логично, как это ясно!

"Приходит день замышленного Смердяковым убийства, и вот он летит с ног, притворившись, в припадке падучей болезни, для чего? Уж конечно для того, чтобы, во-первых, слуга Григорий, замысливший свое лечение и, видя, что совершенно некому стеречь дом, может быть отложил бы свое лечение и сел караулить. Во-вторых, конечно для того, чтобы сам барин, видя, что его никто не караулит и страшно опасаясь прихода сына, чего не скрывал, усугубил свою недоверчивость и свою осторожность. Наконец, и главное, конечно для того, чтоб его, Смердякова, разбитого припадком, тотчас же перенесли из кухни, где он всегда отдельно ото всех ночевал и где имел свой особенный вход и выход, в другой конец флигеля, в комнатку Григория, к ним обоим за перегородку, в трех шагах от их собственной постели, как всегда это бывало, спокон века, чуть только его разбивала падучая, по распоряжениям барина и сердобольной Марфы Игнатьевны. Там, лежа за перегородкой, он вероятнее всего, чтоб вернее изобразиться больным, начнет конечно стонать, то-есть будить их всю ночь - (как и было по показанию Григория и жены его), - и все это, все это для того, чтоб тем удобнее вдруг встать и потом убить барина!

"Но скажут мне, может быть он именно притворился, чтобы на него, как на больного, не подумали, а подсудимому сообщил про деньги и про знаки именно для того, чтобы тот соблазнился и сам пришел, и убил, и когда, видите ли, тот, убив, уйдет и унесет деньги, и при этом пожалуй нашумит, нагремит, разбудит свидетелей, то тогда видите ли, встанет и Смердяков, и пойдет, - ну, что же делать пойдет? А вот именно пойдет в другой раз убить барина и в другой раз унести уже унесенные деньги. Господа, вы смеетесь? Мне самому стыдно делать такие предположения, а между тем, представьте себе это, именно ведь подсудимый это самое и утверждает: после меня-дескать, когда я уж вышел из дому, повалив Григория и наделав тревоги, он встал, пошел, убил и ограбил. Уж я и не говорю про то, как бы мог Смердяков рассчитать это все заранее и все предугадать как по пальцам, то-есть что раздраженный и бешеный сын придет единственно для того только чтобы почтительно заглянуть в окно, и, обладая знаками, отретироваться, оставив ему, Смердякову, всю добычу! Господа, я серьезно ставлю вопрос: где тот момент, когда Смердяков совершил свое преступление? Укажите этот момент, ибо без этого нельзя обвинять.

"А может быть падучая была настоящая. Больной вдруг очнулся, услышал крик, вышел, - ну и что же? Посмотрел, да и сказал себе: дай пойду убью барина? А почему он узнал, что тут было, что тут происходило, ведь он до сих пор лежал в беспамятстве? А впрочем, господа, есть предел и фантазиям.

"Так-с, скажут тонкие люди, а ну как оба были в согласии, а ну как это они оба вместе убили и денежки поделили, ну тогда как же?

"Да, действительно, подозрение важное, и во-первых - тотчас же колоссальные улики, его подтверждающие: один убивает и берет все труды на себя, а другой сообщник лежит на боку, притворившись в падучей, - именно для того, чтобы предварительно возбудить во всех подозрение, тревогу в барине, тревогу в Григории. Любопытно, из каких мотивов оба сообщника могли бы выдумать именно такой сумасшедший план? Но может быть это было вовсе не активное сообщество со стороны Смердякова, а так сказать пассивное и страдальческое: может быть запуганный Смердяков согласился лишь не сопротивляться убийству и, предчувствуя, что его же ведь обвинят, что он дал убить барина, не кричал, не сопротивлялся, - заранее выговорил себе у Дмитрия Карамазова позволение пролежать это время как бы в падучей, "а ты там убивай себе как угодно, моя изба с краю". Но если и так, то так как и опять-таки эта падучая должна была произвести в доме переполох, предвидя это, Дмитрий Карамазов уж никак не мог бы согласиться на такой уговор. Но я уступаю, пусть он согласился; так-ведь все-таки вышло бы тогда, что Дмитрий Карамазов - убийца, прямой убийца и зачинщик, а Смердяков лишь пассивный участник, да и не участник даже, а лишь попуститель от страха и против воли, ведь суд-то это бы уже непременно мог различить, и вот, что же мы видим? Только что арестовали подсудимого, как он мигом сваливает все на одного Смердякова и его одного обвиняет. Не в сообщничестве с собой обвиняет, а его одного: один дескать, он это сделал, он убил и ограбил, его рук дело! Ну что это за сообщники, которые тотчас же начинают говорить один на другого, - да этого никогда не бывает. И заметьте, какой риск для Карамазова: он главный убийца, а тот не главный, тот только попуститель и пролежал за перегородкой, и вот он сваливает на лежачего. Так ведь тот, лежачий-то мог рассердиться, и из-за одного только самосохранения поскорее объявить правду истинную: оба дескать участвовали, только я не убивал, а лишь дозволил и попустил, от страху. Ведь он же, Смердяков, мог понять, что суд тотчас бы различил степень его виновности, а стало быть мог и рассчитать, что если его и накажут, то несравненно ничтожнее, чем того, главного убийцу, желающего все свалить на него. Но тогда, стало быть уж поневоле сделал бы признание. Этого мы однако же не видали. Смердяков и не заикнулся о сообщничестве, несмотря на то, что убийца твердо обвинял его и все время указывал на него, как на убийцу единственного. Мало того: Смердяков же и открыл следствию, что о пакете с деньгами и о знаках сообщил подсудимому он сам, и что без него тот и не узнал бы ничего. Если б он был действительно в сообщничестве и виновен, сообщил ли бы он так легко об этом следствию, т.-е., что это он все сам сообщили ли подсудимому? Напротив, стал бы заператься и уж непременно искажать факты и уменьшать их. Но он не искажал и не уменьшал. Так может делать только невинный, не боящийся, что его обвинят в сообщничестве. И вот он, в припадке болезненной меланхолии от своей падучей и от всей этой разразившейся катастрофы, вчера повесился. Повесившись, оставил записку, писанную своеобразным слогом: "Истребляю себя своею волей и охотой, чтобы никого не винить". Ну, что б ему прибавить в записке; убийца я, а не Карамазов. Но этого он не прибавил: на одно совести хватило, а на другое нет?

И что же: давеча сюда, в суд, приносят деньги, три тысячи рублей, - "те самые, дескать, которые лежали вот в этом самом пакете, что на столе с вещественными доказательствами, получил, дескать, вчера от Смердякова". Но вы, господа присяжные заседатели, сами помните грустную давешнюю картину. Я не возобновлю подробностей, однако же позволю себе сделать лишь два-три соображения, выбирая из самых незначительнейших, - именно потому, что они незначительны, а стало быть, не всякому придут в голову и забудутся. Во-первых, и опять-таки: от угрызения совести Смердяков вчера отдал деньги и сам повесился. (Ибо без угрызений совести он бы денег не отдал). И уж конечно только вчера вечером в первый раз признался Ивану Карамазову в своем преступлении, как объявил и сам Иван Карамазов, иначе зачем бы он молчал до сих пор? Итак, он признался, почему же, опять повторю это, в

предсмертной записке не объявил нам всей правды, зная, что завтра же для безвинного подсудимого страшный суд? Одни деньги ведь не доказательство. Мне, например, и еще двум лицам в этой зале совершенно случайно стал известен, еще неделю назад, один факт, именно, что Иван Федорович Карамазов посылал в губернский город для размена два пятипроцентные билета по пяти тысяч каждый, всего, стало быть, на десять тысяч. Я только к тому, что деньги у всех могут случиться к данному сроку и что, принеся три тысячи, нельзя доказать непременно, что это вот те самые деньги, вот именно из того самого ящика или пакета. Наконец, Иван Карамазов, получив вчера такое важное сообщение от настоящего убийцы, пребывает в покое. Но почему бы ему не заявить об этом тотчас же? Почему он отложил всё до утра? Полагаю, что имею право догадываться почему: уже неделю как расстроенный в своем здоровье, сам признавшийся доктору и близким своим, что видит видения, что встречает уже умерших людей; накануне белой горячки, которая сегодня именно и поразила его, он, внезапно узнав о кончине Смердякова, вдруг составляет себе следующее рассуждение: "Человек мертв, на него сказать можно, а брата спасу. Деньги же есть у меня: возьму пачку и скажу, что Смердяков пред смертью мне отдал". Вы скажете, это нечестно; хоть на мертвого, но нечестно же лгать, даже и для спасения брата? Так, ну а что, если он солгал бессознательно, если он сам вообразил, что так и было, именно окончательно пораженный в рассудке своим известием об этой внезапной смерти лакея? Вы ведь видели давешнюю сцену, видели, в каком положении был этот человек. Он стоял на ногах и говорил, но где был ум его? За давешним показанием горячечного последовал документ, письмо подсудимого к госпоже Верховцевой, писанное им за два дня до совершения преступления, с подробною программой преступления вперед. Ну так чего же мы ищем программу и ее составителей? Точь-в-точь по этой программе и совершилось, и совершилось не кем другим, как ее составителем. Да, господа присяжные заседатели, "совершилось как по писаному!" И вовсе, вовсе мы не бежали почтительно и боязливо от отцова окошка, да еще в твердой уверенности, что у того теперь наша возлюбленная. Нет, это нелепо и неправдоподобно. Он вошел и – покончил дело. Вероятно, он убил в раздражении, разгоревшись злобой, только что взглянул на своего ненавистника и соперника, но убив, что сделал, может быть, одним разом, одним взмахом руки, вооруженной медным пестом, и убедившись затем уже после подробного обыска, что ее тут нет, он, однако же, не забыл засунуть руку под подушку и достать конверт с деньгами, разорванная обложка которого лежит теперь здесь на столе с вещественными доказательствами. Я говорю к тому, чтобы вы заметили одно обстоятельство, по-моему прехарактерное. Будь это опытный убийца и именно убийца с целью одного грабежа, – ну, оставил ли бы он обложку конверта на полу, в том виде, как нашли ее подле трупа? Ну будь это, например, Смердяков, убивающий для грабежа, – да он бы просто унес весь пакет с собой, вовсе не трудясь распечатывать над трупом жертвы своей; так как знал наверно, что в пакете есть деньги – ведь при нем же их вкладывали и запечатывали, – а ведь унеси он пакет совсем, и тогда становится неизвестным, существовало ли ограбление? Я вас спрашиваю, господа присяжные, поступил ли бы так Смердяков, оставил ли бы он конверт на полу? Нет, именно так должен был поступить убийца исступленный, уже плохо рассуждающий, убийца не вор и никогда ничего до тех пор не укравший, да и теперь – то вырвавший из-под постели деньги не как вор укравший, а как свою же вещь у вора укравшего унесший – ибо таковы именно были идеи Дмитрия Карамазова об этих трех тысячах, дошедшие в нем до мании. И вот, захватив пакет, которого он прежде никогда не видал, он и рвет обложку, чтоб удостовериться, есть ли деньги, затем бежит с деньгами в кармане, даже и подумать забыв, что оставляет на полу колоссальнейшее на себя обвинение в виде разорванной обложки. Всё потому, что Карамазов, а не Смердяков, не подумал, не сообразил, да и где ему! Он убегает, он слышит вопль настигающего его слуги, слуга хватает его, останавливает и падает, пораженный медным пестом. Подсудимый соскакивает к нему вниз из жалости. Представьте, он вдруг уверяет нас, что он соскочил тогда к нему вниз из жалости, из сострадания, чтобы посмотреть, не может ли ему чем помочь. Ну такова ли эта минута, чтобы выказать подобное сострадание? Нет, он соскочил именно для того, чтоб убедиться: жив ли единственный свидетель его злодеяния? Всякое другое чувство, всякий другой мотив были бы неестественны! Заметьте, он над Григорием трудится, обтирает ему платком

голову и, убедаясь, что он мертв, как потерянный, весь в крови, прибегает опять туда, в дом своей возлюбленной – как же не подумал он, что он весь в крови и что его тотчас изобличат? Но подсудимый сам уверяет нас, что он даже и внимания не обратил, что весь в крови; это допустить можно, это очень возможно, это всегда бывает в такие минуты с преступниками. На одно – адский расчет, а на другое не хватает соображения. Но он думал в ту минуту лишь о том, где она. Ему надо было поскорее узнать, где она, и вот он прибегает в ее квартиру и узнает неожиданное и колоссальнейшее для себя известие: она уехала в Мокрое со своим "прежним", "беспорным"!"

IX. ПСИХОЛОГИЯ НА ВСЕХ ПАРАХ.

СКАЧУЩАЯ ТРОЙКА. ФИНАЛ РЕЧИ ПРОКУРОРА

Дойдя до этого момента в своей речи, Ипполит Кириллович, очевидно избравший строго исторический метод изложения, к которому очень любят прибегать все нервные ораторы, ищущие нарочно строго поставленных рамок, чтобы сдерживать собственное нетерпеливое увлечение, – Ипполит Кириллович особенно распространился о "прежнем" и "беспорном" и высказал на эту тему несколько в своем роде занимательных мыслей. "Карамазов, ревновавший ко всем до бешенства, вдруг и разом как бы падает и исчезает перед "прежним" и "беспорным". И тем более это странно, что прежде он совсем почти и не обращал внимания на эту новую для себя опасность, грядущую в лице неожиданного для него соперника. Но он всё представлял себе, что это еще так далеко, а Карамазов всегда живет лишь настоящею минутой. Вероятно, он считал его даже фикцией. Но мигом поняв больным сердцем своим, что, может быть, потому-то эта женщина и скрывала этого нового соперника, потому-то и обманывала его давеча, что этот вновь прилетевший соперник был слишком для нее не фантазией и не фикцией, а составлял для нее всё, всё ее упование в жизни, – мигом поняв эта он смирился. Что же, господа присяжные, я не могу обойти умолчанием эту внезапную черту в душе подсудимого, который бы, казалось, ни за что не способен был проявить ее, высказалась вдруг неумолимая потребность правды, уважения к женщине, признания прав ее сердца, и когда же – в тот момент, когда из-за нее же он обогрел свои руки кровью отца своего! Правда и то, что и пролитая кровь уже закричала в эту минуту об отмщении, ибо он, погубивший душу свою и всю земную судьбу свою, он невольно должен был почувствовать и спросить себя в то мгновение: "Что значит он и что может он значить теперь для нее, для этого любимого им больше души своей существа, в сравнении с этим "прежним" и "беспорным", покаявшимся и воротившимся к этой когда-то погубленной им женщине с новой любовью, с предложениями честными, с обетом возрожденной и уже счастливой жизни. А он, несчастный, что даст он ей теперь, что ей предложит?" Карамазов всё это понял, понял, что преступление его заперло ему все дороги и что он лишь приговоренный к казни преступник, а не человек, которому жить! Эта мысль его раздавила и уничтожила. И вот он мгновенно останавливается на одном исступленном плане, который, при характере Карамазова, не мог не представиться ему как единственным и фатальным исходом из страшного его положения. Этот исход – самоубийство. Он бежит за своими заложенными чиновнику Перхотину пистолетами и в то же время дорогой, на бегу, выхватывает из кармана все свои деньги, из-за которых только что забрызгал руки свои отцовскою кровью. О, деньги теперь ему нужнее всего: умирает Карамазов, застреливается Карамазов, и это будут помнить! Недаром же мы поэт, недаром же мы прожигали нашу жизнь, как свечку с обоих концов. "К ней, к ней, – и там, о, там я задаю пир на весь мир, такой, какого еще не бывало, чтобы помнили и долго рассказывали. Среди диких криков, безумных цыганских песен и плясок мы подыдем заздравный бокал и поздравим обожаемую женщину с ее новым счастьем, а затем – тут же, у ног ее, разможем перед нею наш череп и казним нашу жизнь! Вспомнит когда-нибудь Митю Карамазова, увидит, как любил ее Митя, пожалеет Митю!" Много картинности, романического исступления, дикого карамазовского безудержу и чувствительности – ну и еще

чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и отравляет его сердце до смерти; это что-то - это совесть, господа присяжные, это суд ее, это страшные ее угрызения! Но пистолет всё помирят, пистолет - единственный выход, и нет другого, а там - я не знаю, думал ли в ту минуту Карамазов, "что будет там", и может ли Карамазов по-гамлетовски думать о том, что там будет? Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!"

Тут Ипполит Кириллович развернул подробнейшую картину сборов Мити, сцену у Перхотина, в лавке, с ямщиками. Он привел массу слов, изречений, жестов, всё подтвержденных свидетелями, - и картина страшно повлияла на убеждение слушателей. Главное, повлияла совокупность фактов. Винодность этого исступленно мятущегося и уже не берегущего себя человека выставилась неотразимо. "Нечего уже ему было беречь себя, - говорил Ипполит Кириллович, - два-три раза он чуть-чуть было не сознался вполне, почти намекал и только разве не договаривал (здесь следовали показания свидетелей). Даже ямщику в дороге крикнул: "Знаешь ли, что ты убийцу везешь!" Но договорить все-таки ему нельзя было: надо было попасть сперва в село Мокрое и уже там закончить поэму. Но что же, однако, ожидает несчастного? Дело в том, что почти с первых же минут в Мокром он видит и, наконец, постигает совершенно, что "беспорный" соперник его вовсе, может быть, уж не так беспорен и что поздравлений с новым счастьем и заздравного бокала от него не хотят и не принимают. Но вы уже знаете факты, господа присяжные, по судебному следствию. Торжество Карамазова над соперником оказалось неоспоримым и тут - о, тут начался совсем уже новый фазис в его душе, и даже самый страшный фазис изо всех, какие пережила и еще переживет когда-либо эта душа! Положительно можно признать, господа присяжные, - воскликнул Ипполит Кириллович, - что поруганная природа и преступное сердце - сами за себя мстители полнее всякого земного правосудия! Мало того: правосудие и земная казнь даже облегчают казнь природы, даже необходимы душе преступника в эти моменты как спасение ее от отчаяния, ибо я и представить себе не могу того ужаса и тех нравственных страданий Карамазова, когда он узнал, что она его любит, что для него отвергает своего "прежнего" и "беспорного", что его, его, "Митю", зовет с собою в обновленную жизнь, обещает ему счастье, и это когда же? Когда уже всё для него покончено и когда уже ничего невозможно! Кстати, сделаю вскользь одну весьма важную для нас заметку для пояснения настоящей сущности тогдашнего положения подсудимого: эта женщина, эта любовь его до самой этой последней минуты, до самого даже мига ареста, пребывала для него существом недоступным, страстно желаемым, но недостижимым. Но почему, почему он не застрелился тогда же, почему оставил принятое намерение и даже забыл, где лежит его пистолет? А вот именно эта страстная жажда любви и надежда ее тогда же, тут же утолить и удержали его. В чаду пира он приковался к своей возлюбленной, тоже вместе с ним пирующей, прелестной и обольстительной для него более, чем когда-либо, - он не отходит от нее, любит ее, исчезает пред нею. Эта страстная жажда даже могла на миг подавить не только страх ареста, но и самые угрызения совести! На миг, о, только на миг! Я представляю себе тогдашнее состояние души преступника в беспорном рабском подчинении трем элементам, подавившим ее совершенно: во-первых, пьяное состояние, чад и гам, топот пляски, визг песен, и она, она, раскрасневшаяся от вина, поющая и пляшущая, пьяная и смеющаяся ему! Во-вторых, ободряющая отдаленная мечта о том, что роковая развязка еще далеко, по крайней мере не близко, - разве на другой только день, лишь наутро придут и возьмут его. Стало быть, несколько часов, это много, ужасно много! В несколько часов можно много придумать. Я представляю себе, что с ним было нечто похожее на то, когда преступника везут на смертную казнь, на виселицу: еще надо проехать длинную-длинную улицу, да еще шагом, мимо тысяч народа, затем будет поворот в другую улицу и в конце только этой другой улицы страшная площадь! Мне именно кажется, что в начале шествия осужденный, сидя на позорной своей колеснице, должен именно чувствовать, что пред ним еще бесконечная жизнь. Но вот, однако же, уходят дома, колесница всё подвигается - о, это ничего, до поворота во вторую улицу еще так далеко, и вот он всё еще бодро смотрит направо и налево и на эти тысячи безучастно любопытных людей, приковавшихся к нему взглядами, и ему всё еще мерещится, что он такой же, как и они, человек. Но вот уже и поворот в другую улицу - о! это ничего, ничего, еще целая улица. И сколько бы ни

уходило домов, он всё будет думать: "Еще осталось много домов". И так до самого конца, до самой площади. Так, представляю себе, было тогда и с Карамазовым. "Еще там не успели, - думает он, - еще можно что-нибудь подыскать, о, еще будет время сочинить план защиты, сообразить отпор, а теперь, теперь - теперь она так прелестна!" Смутно и страшно в душе его, но он успевает, однако же, отложить от своих денег половину и где-то их спрятать - иначе я не могу объяснить себе, куда могла исчезнуть целая половина этих трех тысяч, только что взятых им у отца из-под подушки. Он в Мокром уже не раз, он там уже кутил двое суток. Этот старый, большой деревянный дом ему известен, со всеми сараями, галереями. Я именно предполагаю, что часть денег скрылась тогда же, и именно в этом доме, незадолго пред арестом, в какую-нибудь щель, в расщелину, под какую-нибудь половицу, где-нибудь в углу, под кровлей - для чего? Как для чего? Катастрофа может совершиться сейчас, конечно мы еще не обдумали, как ее встретить, да и некогда нам, да и стучит у нас в голове, да и к ней-то тянет, ну а деньги? - деньги во всяком положении необходимы! Человек с деньгами - везде человек. Может быть, такая расчетливость в такую минуту вам покажется неестественною? Но ведь уверяет же он сам, что еще за месяц пред тем, в один тоже самый тревожный и роковой для него момент, он отделил от трех тысяч половину и зашил себе в ладонку, и если, конечно, это неправда, что и докажем сейчас, то всё же эта идея Карамазову знакомая, он ее созерцал. Мало того, когда он уверял потом следователя, что отделил полторы тысячи в ладонку (которой никогда не бывало), то, может быть, и выдумал эту ладонку, тут же мгновенно, именно потому, что два часа пред тем отделил половину денег и спрятал куда-нибудь там в Мокром, на всякий случай, до утра, только чтобы не хранить на себе, по внезапно представившемуся вдохновению. Две бездны, господа присяжные, вспомните, что Карамазов может созерцать две бездны, и обе разом! В том доме мы искали, но не нашли. Может, эти деньги и теперь еще там, а может, и на другой день исчезли и теперь у подсудимого. Во всяком случае, арестовали его подле нее, перед ней на коленях, она лежала на кровати, он простирал к ней руки и до того забыл всё в ту минуту, что не расслышал и приближения арестующих. Он ничего еще не успел приготовить в уме своем для ответа. И он и ум его были взяты врасплох.

И вот он пред своими судьями, пред решителями судьбы своей. Господа присяжные заседатели, бывают моменты, когда, при нашей обязанности, нам самим становится почти страшно пред человеком, страшно и за человека! Это минуты созерцания того животного ужаса, когда преступник уже видит, что всё пропало, но всё еще борется, всё еще намерен бороться с вами. Это минуты, когда все инстинкты самосохранения восстают в нем разом и он, спасая себя, глядит на вас пронизывающим взглядом, вопрошающим и страдающим, ловит и изучает вас, ваше лицо, ваши мысли, ждет, с которого боку вы ударите, и создает мгновенно в сотрясающемся уме своем тысячи планов, но все-таки боится говорить, боится проговориться! Эти унижительные моменты души человеческой, это хождение ее по мытарствам, эта животная жажда самоспасения - ужасны и вызывают иногда содрогание и сострадание к преступнику даже в следователе! И вот мы этому всему были тогда свидетелями. Сначала он был ошеломлен, и в ужасе у него вырвалось несколько слов, его сильно компрометирующих: "Кровь! Заслужил!" Но он быстро сдержал себя. Что сказать, как ответить - всё это пока ещё у него не готово, но готово лишь одно голословное отрицание: "В смерти отца не виновен!" Вот пока наш забор, а там, за забором, мы, может быть, еще что и устроим, какую-нибудь баррикаду. Компрометирующие первые восклицания свои он спешит, предупреждая вопросы наши, объяснить тем, что считает себя виновным лишь в смерти слуги Григория. "В этой крови виновен, но кто же убил отца, господа, кто убил? Кто же мог убить его, если не я?" Слышите это: спрашивает он нас же, нас же, пришедших к нему самому с этим самым вопросом! Слышите вы это забегающее вперед словечко: "если не я", эту животную хитрость, эту наивность и эту карамазовскую нетерпеливость? Не я убил, и думать не могу, что я: "Хотел убить, господа, хотел убить, - признается он поскорее (спешит, о, спешит ужасно!), - но всё же неповинен, не я убил!" Он уступает нам, что хотел убить: видите, дескать, сами, как я искренен, ну так тем скорее поверьте, что не я убил. О, в этих случаях преступник становится иногда невероятно легкомыслен и легковерен. И вот тут, совсем как бы нечаянно,

следствие вдруг задало ему самый простодушный вопрос: "Да не Смердяков ли убил?" Так и случилось, чего мы ожидали: он страшно рассердился за то, что предупредили его и поймали врасплох, когда он еще не успел приготовить, выбрать и ухватить тот момент, когда вывести Смердякова будет всего вероятнее. По натуре своей он тотчас же бросился в крайность и сам начал нас изо всех сил уверять, что Смердяков не мог убить, не способен убить. Но не верьте ему, это лишь его хитрость: он вовсе, вовсе еще не отказывается от Смердякова, напротив, он еще его выставит, потому что кого же ему выставить как не его, но он сделает это в другую минуту, потому что теперь это дело пока испорчено. Он выставит его только, может быть, завтра или даже через несколько дней, приискав момент, в который сам же крикнет нам: "Видите, я сам отрицал Смердякова больше, чем вы, вы сами это помните, но теперь и я убедился: это он убил, и как же не он!" А пока он впадает с нами в мрачное и раздражительное отрицание, нетерпение и гнев подсказывают ему, однако, самое неумелое и неправдоподобное объяснение о том, как он глядел отцу в окно и как он почтительно отошел от окна. Главное, он еще не знает обстоятельств, степени показаний очнувшегося Григория. Мы приступаем к осмотру и обыску. Осмотр гневит его, но и ободряет: всех трех тысяч не разыскали, разысканы только полторы. И уж конечно, лишь в этот момент гневливого молчания и отрицания вскакивает ему в голову в первый раз в жизни идея об ладонке. Без сомнения, он чувствует сам всю невероятность выдумки и мучится, страшно мучится, как бы сделать ее вероятнее, так сочинить, чтоб уж вышел целый правдоподобный роман. В этих случаях самое первое дело, самая главная задача следствия - не дать приготовить, накрыть неожиданно, чтобы преступник высказал заветные идеи свои во всем выдающем их простодушии, неправдоподобности и противоречии. Заставить же говорить преступника можно лишь внезапным и как бы нечаянным сообщением ему какого-нибудь нового факта, какого-нибудь обстоятельства дела, которое по значению своему колоссально, но которого он до сих пор ни за что не предполагал и никак не мог усмотреть. Этот факт был у нас наготове, о, уже давно наготове: это показание очнувшегося слуги Григория об отворенной двери, из которой выбежал подсудимый. Про эту дверь он совсем забыл, а что Григорий мог ее видеть, и не предполагал. Эффект вышел колоссальный. Он вскочил и вдруг закричал нам: "Это Смердяков убил, Смердяков!" - и вот выдал свою заветную, свою основную мысль, в самой неправдоподобной форме ее, ибо Смердяков мог убить лишь после того, как он поверг Григория и убежал. Когда же мы ему сообщили, что Григорий видел отпертую дверь раньше своего падения, а выходя из своей спальни, слышал стонущего за перегородкой Смердякова - Карамазов был воистину раздавлен. Сотрудник мой, наш почтенный и остроумный Николай Парфенович, передавал мне потом, что в это мгновение ему стало его жалко до слез. И вот в это-то мгновение, чтоб поправить дело, он и спешит нам сообщить об этой пресловутой ладонке: так и быть, дескать, услышьте эту повесть! Господа присяжные, я уже выразил вам мои мысли, почему считаю всю эту выдумку об зашитых за месяц перед тем деньгах в ладонку не только нелепицей, но и самым неправдоподобным измышлением, которое только можно было приискать в данном случае. Если б даже искать на пари: что можно сказать и представить неправдоподобнее, - то и тогда нельзя бы было выдумать хуже этого. Тут, главное, можно осадить и в прах разбить торжествующего романиста подробностями, теми самыми подробностями, которыми всегда так богата действительность и которые всегда, как совершенно будто бы незначащая и ненужная мелочь, пренебрегаются этими несчастными и невольными сочинителями и даже никогда не приходят им в голову. О, им в ту минуту не до того, их ум создает лишь грандиозное целое - и вот смеют им предлагать этакую мелочь! Но на этом-то их и ловят! Задают подсудимому вопрос: "Ну, а где вы изволили взять материал для вашей ладонки, кто вам сшил ее?" - "Сам зашил". - "А полотно где изволили взять?" Подсудимый уже обижается, он считает это почти обидною для себя мелочью и, верите ли, искренно, искренно! Но таковы все они. "Я от рубашки моей оторвал". - "Прекрасно-с. Стало быть, в вашем белье мы завтра же отыщем эту рубашку с вырванным из нее клочком". И сообщайте, господа присяжные, ведь если бы только мы нашли в самом деле эту рубашку (а как бы ее не найти в его чемодане или комодке, если бы такая рубашка в самом деле существовала), - то ведь это уж факт, факт осязательный в пользу справедливости его показаний! Но этого он не может сообразить. - "Я не помню, может, не от

рубашки, я в хозяйкин чепчик зашил".-"В какой такой чепчик?"-"Я у ней взял, у нее валялся, старая коленкоровая дрянь".-"И вы это твердо помните?"-"Нет, твердо не помню..." И сердится, сердится, а между тем представьте: как бы это не помнить? В самые страшные минуты человеческие, ну на казнь везут, вот именно эти-то мелочи и запоминаются. Он обо всем забудет, а какую-нибудь зеленую кровлю, мелькнувшую ему по дороге, или галку на кресте - вот это он запомнит. Ведь он, зашивая ладонку свою, прятался от домашних, он должен был помнить, как унижительно страдал он от страху с иглой в руках, чтобы к нему не вошли и его не накрыли; как при первом стуке вскакивал и бежал за перегородку (в его квартире есть перегородка)... Но, господа присяжные, для чего я вам это всё сообщаю, все эти подробности, мелочи! - воскликнул вдруг Ипполит Кириллович.- А вот именно потому, что подсудимый стоит упорно на всей этой нелепице до самой сей минуты! Во все эти два месяца, с той самой роковой для него ночи, он ничего не разъяснил, ни одного объяснительного реального обстоятельства к прежним фантастическим показаниям своим не прибавил; всё это, дескать, мелочи, а вы верьте на честь! О, мы рады верить, мы жаждем верить, хотя бы даже на честь! Что же мы, шакалы, жаждущие крови человеческой? Дайте, укажите нам хоть один факт в пользу подсудимого, и мы обрадуемся, - но факт осязательный, реальный, а не заключение по выражению лица подсудимого родным его братом или указание на то, что он, бия себя в грудь, непременно должен был на ладонку указывать, да еще в темноте. Мы обрадуемся новому факту, мы первые откажемся от нашего обвинения, мы поспешим отказаться. Теперь же вопиет справедливость, и мы настаиваем, мы ни от чего отказаться не можем". Ипполит Кириллович перешел тут к финалу. Он был как в лихорадке, он вопиял за пролитую кровь, за кровь отца, убитого сыном "с низкой целью ограбления". Он твердо указывал на трагическую и вопиющую совокупность фактов. "И что бы вы ни услышали от знаменитого своим талантом защитника подсудимого, - не удержался Ипполит Кириллович, - какие бы ни раздались здесь красноречивые и трогательные слова, бьющие в вашу чувствительность, всё же вспомните, что в эту минуту вы в святилище нашего правосудия. Вспомните, что вы защитники правды нашей, защитники священной нашей России, ее основ, ее семьи, ее всего святого! Да, вы здесь представляете Россию в данный момент, и не в одной только этой зале раздастся ваш приговор, а на всю Россию, и вся Россия выслушает вас как защитников и судей своих и будет ободрена или удручена приговором вашим. Не мучьте же Россию и ее ожидания, роковая тройка наша несется стремглав и, может, к гибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса - это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердо стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите их всё нарастающей ненависти приговором, оправдывающим убийство отца родным сыном!.."

Одним словом, Ипполит Кириллович хоть и очень увлекся, но кончил-таки патетически - и, действительно, впечатление, произведенное им, было чрезвычайное. Сам он, окончив речь свою, поспешно вышел и, повторяю, почти упал в другой комнате в обморок. Зала не аплодировала, но серьезные люди были довольны. Не так довольны были только одни дамы, но всё же и им понравилось красноречие, тем более что за последствия они совсем не боялись и ждали всего от Фетюковича: "наконец-то он заговорит и, уж конечно, всех победит!" Все поглядывали на Митю; всю речь прокурора он просидел молча, сжав руки, стиснув зубы, потупившись. Изредка только подымал голову и прислушивался. Особенно, когда заговорили о Грушеньке. Когда прокурор передавал о ней мнение Ракитина, в лице его выразилась презрительная и злобная улыбка, и он довольно слышно проговорил: "Бернары!" Когда же Ипполит Кириллович сообщил о том, как он допрашивал и мучил его в Мокром, Митя поднял голову и прислушивался со страшным любопытством. В одном месте речи как будто хотел даже вскочить и что-то крикнуть, но, однако, осилил себя и только презрительно вскинул плечами. Про этот финал речи, именно про

подвиги прокурора в Мокром, при допросе преступника, потом у нас в обществе говорили и над Ипполитом Кирилловичем подсмеивались: "Не утерпел, дескать, человек, чтобы не похвастаться своими способностями". Заседание было прервано, но на очень короткий срок, на четверть часа, много на двадцать минут. В публике раздавались разговоры и восклицания. Я иные запомнил:

- Серьезная речь! - нахмуренно заметил господин в одной группе.

- Психологии наворотел уж много, - раздался другой голос.

- Да ведь все правда, неотразимая истина!

- Да, это он мастер.

- Итог подвел.

- И нам, и нам тоже итог подвел, - присоединился третий голос, - в начале-то речи, помните, что все такие же, как Федор Павлович?

- И в конце тоже. Только он это соврал.

- Да и неясности были.

- Увлёкся маленько.

- Несправедливо, несправедливо-с.

- Ну нет, все-таки ловко. Долго ждал человек, а вот и сказал, хе-хе!

- Что-то защитник скажет?

В другой группе:

- А петербургского-то он напрасно сейчас задел: "бьющих-то на чувствительность" помните?

- Да, это он неловко.

- Поспешил.

- Нервный человек-с.

- Вот мы смеемся, а каково подсудимому?

- Да-с. Митеньке-то каково?

- А вот что-то защитник скажет?

В третьей группе:

- Это какая такая дама, с лорнетом, толстая, с краю сидит?

- Это генеральша одна, разводка, я ее знаю.

- То-то, с лорнетом.

- Шушера.

- Ну нет, пикантненькая.

- Подле нее через два места сидит блондиночка, та лучше.

- А ловко они его тогда в Мокром накрыли, а?

- Ловко-то ловко. Опять рассказал. Ведь он про это здесь по домам уж сколько рассказывал.

- И теперь не утерпел. Самолюбие.

- Обиженный человек, хе-хе!

- И обидчивый. Да и реторики много, фразы длинные.

- Да и пугает, заметьте, всё пугает. Про тройку-то помните? "Там Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!" Это он ловко.

- Это он либерализму подкуривал. Боится!

- Да и адвоката боится.

- Да, что-то скажет господин Фетюкович?

- Ну, что бы ни сказал, а наших мужичков не прошибет.

- Вы думаете?

В четвертой группе:

- А про тройку-то ведь у него хорошо, это где про народы-то.

- И ведь правда, помнишь, где он говорит, что народы не будут ждать.

- А что?

- Да в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе, по поводу нигилистов, и спрашивал министерство: не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас образовать. Ипполит это про него, я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил.

- Далеко куликам.

- Каким куликам? Почему далеко?

- А мы запрем Кронштадт да и не дадим им хлеба. Где они возьмут?

- А в Америке? Теперь в Америке.

- Врешь.

Но зазвонил колокольчик, всё бросилось на места. Фетюкович взошел на кафедру.

Х. РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА. ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Всё затихло, когда раздались первые слова знаменитого оратора. Вся зала впиалась в него глазами. Начал он чрезвычайно прямо, просто и убежденно, но без малейшей заносчивости. Ни малейшей попытки на красноречие, на патетические нотки, на звенящие чувством словечки. Это был человек, заговоривший в интимном кругу сочувствующих людей. Голос у него был прекрасный, громкий и симпатичный, и даже в самом голосе этом как будто слышалось уже нечто искреннее и простодушное. Но всем тотчас же стало понятно, что оратор может вдруг подняться до истинно патетического – и "ударить по сердцам с неведомою силой". Говорил он, может быть, неправильнее Ипполита Кирилловича, но без длинных фраз и даже точнее. Одно не понравилось было дамам: он всё как-то изгибался спиной, особенно в начале речи, не то что кланяясь, а как бы стремясь и летя к своим слушателям, причем нагибался именно как бы половиной своей длинной спины, как будто в середине этой длинной и тонкой спины его был устроен такой шалнер, так что она могла сгибаться чуть не под прямым углом. В начале речи говорил как-то раскидчиво, как будто без системы, схватывая факты наразбив, а в конце концов вышло целое. Речь его можно было бы разделить на две половины: первая половина – это критика, это опровержение обвинения, иногда злое и саркастическое. Но во второй половине речи как бы вдруг изменил и тон и даже прием свой и разом возвысился до патетического, а зала как будто ждала того и вся затрепетала от восторга. Он прямо подошел к делу и начал с того, что хотя поприще его и в Петербурге, но он уже не первый раз посещает города России для защиты подсудимых, но таких, в невинности которых он или убежден, или предчувствует ее заранее. "То же самое произошло со мной и в настоящем случае, – объяснил он. – Даже только из одних первоначальных газетных корреспонденции мне уже мелькнуло нечто, чрезвычайно меня поразившее в пользу подсудимого. Одним словом, меня прежде всего заинтересовал некоторый юридический факт, хотя и часто повторяющийся в судебной практике, но никогда, мне кажется, в такой полноте и с такими характерными особенностями, как в настоящем деле. Факт этот надо бы мне формулировать лишь в финале моей речи, когда я закончу мое слово, но, однако, я выскажу мою мысль и в самом начале, ибо имею слабость приступить прямо к предмету, не припрятывая эффектов и не экономизируя впечатлений. Это, может быть, с моей стороны нерасчетливо, но зато искренно. Эта мысль моя, формула моя – следующая: подавляющая совокупность фактов против подсудимого и в то же время ни одного факта, выдерживающего критику, если рассматривать его единично, самого по себе! Следя далее по слухам и по газетам, я утверждался в моей мысли всё более и более, и вдруг я получил от родных подсудимого приглашение защищать его. Я тотчас же поспешил сюда и здесь уже окончательно убедился. Вот чтобы разбить эту страшную совокупность фактов и выставить недоказанность и фантастичность каждого обвиняющего факта в отдельности, я и взялся защищать это дело".

Так начал защитник и вдруг возгласил: "Господа присяжные заседатели, я здесь человек свежий. Все впечатления легли на меня непредвзято. Подсудимый, буйный характером и разнузданный, не обидел меня предварительно, как сотню, может быть, лиц в этом городе, отчего многие и предупреждены против него заранее. Конечно, и я сознаюсь, что нравственное чувство здешнего общества возбуждено справедливо: подсудимый буен и необуздан. В здешнем обществе его, однако же, принимали, даже в семействе высокоталантливого обвинителя он был обласкан. (Nota bene. При этих словах в публике раздались два-три смешка, хотя и быстро подавленные, но всеми замеченные. Всем у нас было известно, что прокурор допускал к себе Митю против воли, потому единственно, что его почему-то находила любопытным прокурорша – дама в высшей степени добродетельная и почтенная, но фантастическая и своенравная и любившая в некоторых случаях, преимущественно в мелочах, оппонировать своему супругу. Митя, впрочем, посещал их дом довольно редко). Тем не менее я осмелюсь допустить, – продолжал защитник, – что даже и в таком независимом уме и справедливом характере, как у моего оппонента, могло составиться против моего

несчастливого клиента некоторое ошибочное предубеждение. О, это так естественно: несчастный слишком заслужил, чтобы к нему относились даже с предубеждением. Оскорбленное же нравственное и, еще хуже того, эстетическое чувство иногда бывает неумолимо. Конечно, в высокоталантливой обвинительной речи мы услышали все строгий анализ характера и поступков подсудимого, строгое критическое отношение к делу, а главное, выставлены были такие психологические глубины для объяснения нам сути дела, что проникновение в эти глубины не могло бы вовсе состояться при сколько-нибудь намеренно и злобно предубежденном отношении к личности подсудимого. Но ведь есть вещи, которые даже хуже, даже губительнее в подобных случаях, чем самое злобное и преднамеренное отношение к делу. Именно, если нас, например, обуряет некоторая, так сказать, художественная игра, потребность художественного творчества, так сказать, создания романа, особенно при богатстве психологических даров, которыми бог оделил наши способности. Еще в Петербурге, еще только собираясь сюда, я был предварен - да и сам знал безо всякого предварения, что встречу здесь оппонентом глубокого и тончайшего психолога, давно уже заслужившего этим качеством своим некоторую особливую славу в нашем молодом еще юридическом мире. Но ведь психология, господа, хоть и глубокая вещь, а все-таки похожа на палку о двух концах (смешок в публике). О, вы, конечно, простите мне тривиальное сравнение мое; я слишком красноречиво говорить не мастер. Но вот, однако же, пример - беру первый попавшийся из речи обвинителя. Подсудимый, ночью, в саду, убегаая перелезает через забор и повергает медным пестом вцепившегося в его ногу лакея. Затем тотчас же соскакивает обратно в сад и целых пять минут хлопочет над поверженным, стараясь угадать: убил он его или нет? И вот обвинитель ни за что не хочет поверить в справедливость показания подсудимого, что соскочил он к старику Григорию из жалости. "Нет, дескать, может ли быть такая чувствительность в такую минуту; это-де неестественно, а соскочил он именно для того, чтоб убедиться: жив или убит единственный свидетель его злодеяния, а стало быть, тем и засвидетельствовал, что он совершил это злодеяние, так как не мог соскочить в сад по какому-нибудь другому поводу, влечению или чувству". Вот психология; но возьмем ту же самую психологию и приложим ее к делу, но только с другого конца, и выйдет совсем не менее правдоподобно. Убийца соскакивает вниз из предосторожности, чтоб убедиться, жив или нет свидетель, а между тем только что оставил в кабинете убитого им отца своего, по свидетельству самого же обвинителя, колоссальную на себя улику в виде разорванного пакета, на котором было написано, что в нем лежали три тысячи. "Ведь унеси он этот пакет с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был и существовал пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым". Это изречение самого обвинителя. Ну так на одно, видите ли, не хватило предосторожности, потерялся человек, испугался и убежал, оставив на полу улику, а как вот минуты две спустя ударил и убил другого человека, то тут сейчас же является самое бессердечное и расчетливое чувство предосторожности к нашим услугам. Но пусть, пусть это так и было: в том-то де и тонкость психологии, что при таких обстоятельствах я сейчас же кровожаден и зорок, как кавказский орел, а в следующую минуту слеп и робок, как ничтожный крот. Но если уж я так кровожаден и жестоко расчетлив, что, убив, соскочил лишь для того, чтобы посмотреть, жив ли на меня свидетель или нет, то к чему бы, кажется, возиться над этою новою жертвою моею целых пять минут, да еще нажать, пожалуй, новых свидетелей? К чему мочить платок, обтирая кровь с головы поверженного, с тем чтобы платок этот послужил потом против меня же уликой? Нет, если мы уж так расчетливы и жестокосерды, то не лучше ли бы было, соскочив, просто огорошить поверженного слугу тем же самым пестом еще и еще раз по голове, чтоб уж убить его окончательно и, искоренив свидетеля, снять с сердца всякую заботу? И наконец, я соскакиваю, чтобы проверить, жив или нет на меня свидетель, и тут же на дорожке оставляю другого свидетеля, именно этот самый пестик, который я захватил у двух женщин и которые обе всегда могут признать потом этот пестик за свой и засвидетельствовать, что это я у них его захватил. И не то что забыл его на дорожке, обронил в рассеянности, в потерянности: нет, мы именно отбросили наше оружие, потому что нашли его шагах в пятнадцати от того места, где был повержен Григорий. Спрашивается, для чего же мы так сделали? А вот именно потому и сделали, что нам горько стало, что мы человека убили, старого слугу, а потому в

досаде, с проклятием и отбросили пестик, как оружие убийства, иначе быть не могло, для чего же его было бросать с такого размаху? Если же могли почувствовать боль и жалость, что человека убили, то, конечно, уж потому, что отца не убили: убив отца, не соскочили бы к другому поверженному из жалости, тогда уже было бы иное чувство, не до жалости бы было тогда, а до самоспасения, и это, конечно, так. Напротив, повторяю, разможили бы ему череп окончательно, а не возились бы с ним пять минут. Явилось место жалости и доброму чувству именно потому, что была пред тем чиста совесть. Вот, стало быть, другая уж психология. Я ведь нарочно, господа присяжные, прибежал теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из нее можно вывести всё что угодно. Всё дело, в каких она руках. Психология подзывает на роман даже самых серьезных людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологию, господа присяжные, про некоторое злоупотребление ею". Здесь опять послышались одобрительные смешки в публике, и всё по адресу прокурора. Не буду приводить всей речи защитника в подробности, возьму только некоторые из нее места, некоторые главнейшие пункты.

XI. ДЕНЕГ НЕ БЫЛО. ГРАВЕЖА НЕ БЫЛО

Был один пункт, даже всех поразивший в речи защитника, а именно полное отрицание существования этих роковых трех тысяч рублей, а стало быть, и возможности их грабежа.

"Господа присяжные заседатели, - приступил защитник, - в настоящем деле всякого свежего и непредубежденного человека поражает одна характернейшая особенность, а именно: обвинение в грабеже и в то же время совершенная невозможность фактически указать на то: что именно было ограблено? Ограблены, дескать, деньги, именно три тысячи - а существовали ли они в самом деле - этого никто не знает. Рассудите: во-первых, как мы узнали, что были три тысячи, и кто их видел? Видел их и указал на то, что они были уложены в пакет с надписью, один только слуга Смердяков. Он же сообщил о сем сведении еще до катастрофы подсудимому и его брату Ивану Федоровичу. Дано было тоже знать госпоже Светловой. Но все эти три лица сами этих денег, однако, не видали, видел опять-таки лишь Смердяков, но тут сам собою вопрос: если и правда, что они были и что видел их Смердяков, то когда он их видел в последний раз? А что, если барин эти деньги из-под постели вынул и опять положил в шкатулку, ему не сказавши? Заметьте, по словам Смердякова, деньги лежали под постелью, под тюфяком, подсудимый должен был их вырвать из-под тюфяка, и однако же, постель была ничуть не помята, и об этом старательно записано в протокол. Как мог подсудимый совсем-таки ничего не помять в постели и вдобавок с окровавленными еще руками не замарать свежайшего, тонкого постельного белья, которое нарочно на этот раз было послано? Но скажут нам: а пакет-то на полу? Вот об этом-то пакете и стоит поговорить. Давеча я был даже несколько удивлен: высокоталантливый обвинитель, заговорив об этом пакете, вдруг сам - слышите, господа, сам - заявил про него в своей речи, именно в том месте, где он указывает на нелепость предположения, что убил Смердяков: "Не было бы этого пакета, не останься он на полу как улика, унеси его грабитель с собою, то никто бы и не узнал в целом мире, что был пакет, а в нем деньги, и что, стало быть, деньги были ограблены подсудимым". Итак, единственно только этот разорванный клочок бумаги с надписью, даже по признанию самого обвинителя, и послужил к обвинению подсудимого в грабеже, "иначе-де не узнал бы никто, что был грабеж, а может быть, что были и деньги" Но неужели одно то, что этот клочок валялся на полу, есть доказательство, что в нем были деньги и что деньги эти ограблены? "Но, отвечают, ведь видел их в пакете Смердяков", но когда, когда он их видел в последний раз, вот об чем я спрашиваю? Я говорил с Смердяковым, и он мне сказал, что видел их за два дня пред катастрофой! Но почему же я не могу предположить, например, хоть такое обстоятельство, что старик Федор Павлович, запершись дома, в нетерпеливом истерическом ожидании своей возлюбленной вдруг вздумал бы, от нечего

делать, вынуть пакет и его распечатать: "Что, дескать, пакет, еще, пожалуй, и не поверит, а как тридцать-то радужных в одной пачке ей покажу, небось сильнее подействует, потекут слюнки", - и вот он разрывает конверт, вынимает деньги, а конверт бросает на пол властной рукой хозяина и уж, конечно, не боясь никакой улики. Послушайте, господа присяжные, есть ли что возможнее такого предположения и такого факта? Почему это невозможно? Но ведь если хоть что-нибудь подобное могло иметь место, то ведь тогда обвинение в грабеже само собою уничтожается: не было денег, не было, стало быть, и грабежа. Если пакет лежал на полу как улика, что в нем были деньги, то почему я не могу утверждать обратное, а именно, что пакет валялся на полу именно потому, что в нем уже не было денег, взятых из него предварительно самим хозяином? "Да, но куда ж в таком случае делись деньги, если их выбрал из пакета сам Федор Павлович, в его доме при обыске не нашли?" Во-первых, в шкатулке у него часть денег нашли, а во-вторых, он мог вынуть их еще утром, даже еще накануне, распорядиться ими иначе, выдать их, отослать, изменить, наконец, свою мысль, свой план действий в самом основании и при этом совсем даже не найдя нужным докладывать об этом предварительно Смердякову? А ведь если существует хотя бы даже только возможность такого предположения, то как же можно столь настойчиво и столь твердо обвинять подсудимого, что убийство совершено им для грабежа и что действительно существовал грабеж? Ведь мы, таким образом, вступаем в область романов. Ведь если утверждать, что такая-то вещь ограблена, то надобно указать эту вещь или по крайней мере доказать непреложно, что она существовала. А ее даже никто и не видал. Недавно в Петербурге один молодой человек, почти мальчик, восемнадцати лет, мелкий разnochик с лотка, вошел среди бела дня с топором в меняльную лавку и с необычайною, типическою дерзостью убил хозяина лавки и унес с собою тысячу пятьсот рублей денег. Часов через пять он был арестован, на нем, кроме пятнадцати рублей, которые он уже успел истратить, нашли все эти полторы тысячи. Кроме того, воротившийся после убийства в лавку приказчик сообщил полиции не только об украденной сумме, но и из каких именно денег она состояла, то есть сколько было кредиток радужных, сколько синих, сколько красных, сколько золотых монет и каких именно, и вот на арестованном убийце именно такие же деньги и монеты и найдены. Вдобавок ко всему последовало полное и чистосердечное признание убийцы в том, что он убил и унес с собою эти самые деньги. Вот это, господа присяжные, я называю уликой! Вот тут уж я знаю, вижу, осязаю деньги и не могу сказать, что их нет или не было. Так ли в настоящем случае? А между тем ведь дело идет о жизни и смерти, о судьбе человека. "Так, скажут, но ведь он в ту же ночь кутил, сорил деньгами, у него обнаружено полторы тысячи рублей - откуда же он взял их?" Но ведь именно потому, что обнаружено было всего только полторы тысячи, а другой половины суммы ни за что не могли отыскать и обнаружить, именно тем и доказывается, что эти деньги могли быть совсем не те, совсем никогда не бывшие ни в каком пакете. По расчету времени (и уже строжайшему) дознано и доказано предварительным следствием, что подсудимый, выбежав от служанок к чиновнику Перхотину, домой не заходил, да и никуда не заходил, а затем всё время был на людях, а стало быть, не мог отделить от трех тысяч половины и куда-нибудь спрятать в городе. Вот именно это соображение и было причиной предположения обвинителя, что деньги где-то спрятаны в расщелине в селе Мокром. Да уж не в подвалах ли Удольфского замка, господа? Ну не фантастическое ли, не романическое ли это предположение. И заметьте, ведь уничтожись только это одно предположение, то есть что спрятано в Мокром, - и всё обвинение в грабеже взлетает на воздух, ибо где же, куда же девались тогда эти полторы тысячи? Каким чудом они могли исчезнуть, если доказано, что подсудимый никуда не заходил? И такими-то романами мы готовы погубить жизнь человеческую! Скажут: "Все-таки он не умел объяснить, где взял эти полторы тысячи, которые на нем обнаружены, кроме того, все знали, что до этой ночи у него не было денег". А кто же это знал? Но подсудимый дал ясное и твердое показание о том, откуда взял деньги, и если хотите, господа присяжные заседатели, если хотите, - никогда ничего не могло и не может быть вероятнее этого показания и, кроме того, более совместного с характером и душой подсудимого. Обвинению понравился собственный роман: человек с слабою волей, решившийся взять три тысячи, столь позорно ему предложенные невестой его, не мог, дескать, отделить половину и зашить ее в ладонку, напротив, если б и зашил,

то расшивал бы каждые два дня и отколупывал бы по сотне и таким образом извел бы всё в один месяц. Вспомните, всё это было изложено тоном, не терпящим никаких возражений. Ну а что, если дело происходило вовсе не так, а ну как вы создали роман, а в нем совсем другое лицо? В том-то и дело, что вы создали другое лицо! Возразят, пожалуй: "Есть свидетели, что он прокутил в селе Мокром все эти три тысячи, взятые у госпожи Верховцевой, за месяц перед катастрофой, разом, как одну копейку, стало быть, не мог отделить от них половину". Но кто же эти свидетели? Степень достоверности этих свидетелей на суде уже обнаружилась. Кроме того, в чужой руке ломоть всегда больше кажется. Наконец, никто из этих свидетелей денег этих сам не считал, а лишь судил на свой глаз. Ведь показал же свидетель Максимов, что у подсудимого было в руках двадцать тысяч. Видите, господа присяжные, так как психология о двух концах, то уж позвольте мне и тут другой конец приложить, и посмотрим, то ли выйдет.

За месяц до катастрофы подсудимому были вверены для отсылки по почте три тысячи рублей госпожой Верховцевой, но вопрос: справедливо ли, что были вверены с таким позором и с таким унижением, как провозглашено было давеча? В первом показании о том же предмете у госпожи Верховцевой выходило не так, совершенно не так; во втором же показании мы слышали лишь крики озлобления, отщениа, крики долго таившейся ненависти. Но уж одно то, что свидетельница раз в первом показании своем показала неверно, дает право нам заключить, что и второе показание могло быть неверно. Обвинитель "не хочет, не смеет" (его слова) дотрогиваться до этого романа. Ну и пусть, я тоже не стану дотрогиваться, но, однако, позволю себе лишь заметить, что если чистая и высоко нравственная особа, какова бесспорно и есть высокоуважаемая госпожа Верховцева, если такая особа, говорю я, позволяет себе вдруг, разом, на суде, изменить первое свое показание, с прямою целью погубить подсудимого, то ясно и то, что это показание ее было сделано не беспристрастно, не хладнокровно. Неужели же у нас отнимут право заключить, что отомщавшая женщина могла многое преувеличить? Да, именно преувеличить тот стыд и позор, с которым были ею предложены деньги. Напротив, они были предложены именно так, что их еще можно было принять, особенно такому легкомысленному человеку, как наш подсудимый. Главное, он имел тогда в виду скорое получение от отца этих должных ему по расчету трех тысяч. Это легкомысленно, но именно по легкомыслию своему он и был твердо уверен, что тот их выдаст ему, что он их получит и, стало быть, всегда может отправить вверенные ему госпожой Верховцевой деньги по почте и расквитаться с долгом. Но обвинитель ни за что не хочет допустить, что он мог в тот же день, в день обвинения, отделить из полученных денег половину и зашить в ладонку: "не таков, дескать, это характер, не мог иметь таких чувств". Но ведь сами же вы кричали, что широк Карамазов, сами же вы кричали про две крайние бездны, которые может созерцать Карамазов. Карамазов именно такая натура о двух сторонах, о двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановиться, если что-нибудь его поразит с другой стороны. А ведь другая-то сторона - любовь, именно вот эта новая загоревшаяся тогда как порох любовь, а на эту любовь нужны деньги, и нужнее, о! гораздо нужнее, чем даже на кутеж с этою самою возлюбленною. Скажет она ему: "Твоя, не хочу Федора Павловича", и он схватит ее и увезет - так было бы на что увезти. Это ведь важнее кутежа. Карамазову ль этого не понять? Да он именно этим и болен был, этою заботой, - что ж невероятного, что он отделил эти деньги и припрятал на всякий случай? Но вот, однако, время уходит, а Федор Павлович трех тысяч подсудимому не выдает, напротив, слышно, что определил их именно на то, чтобы сманить ими его же возлюбленную. "Если не отдаст Федор Павлович, - думает он, - то ведь я перед Катериной Ивановной выйду вором". И вот у него рождается мысль, что эти же полторы тысячи, которые он продолжает носить на себе в этой ладонке, он придет, положит пред госпожой Верховцевой и скажет ей: "Я подлец, но не вор". И вот, стало быть, уже двойная причина хранить эти полторы тысячи как зеницу ока, отнюдь не расшивать ладонку и не отколупывать по сту рублей. Отчего откажете вы подсудимому в чувстве чести? Нет, чувство чести в нем есть, положим неправильное, положим весьма часто ошибочное, но оно есть, есть до страсти, и он доказал это. Но вот, однако же, дело усложняется, мучения ревности достигают высшей степени, и всё те же, всё прежние два вопроса обрисовываются всё мучительнее и мучительнее в воспаленном мозгу

подсудимого: "Отдам Катерине Ивановне: на какие же средства увезу я Грушеньку?" Если он безумствовал так, и напивался, и бушевал по трактирам во весь этот месяц, то это именно, может быть, потому, что самому было горько, невмочь переносить. Эти два вопроса до того наконец обострились, что довели его наконец до отчаяния. Он послал было своего младшего брата к отцу просить у него эти три тысячи в последний раз, но, не дождавшись ответа, ворвался сам и кончил тем, что избил старика при свидетелях. После этого получить, значит, уже не у кого, избитый отец не даст. В тот же день вечером он бьет себя по груди, именно по верхней части груди, где эта ладонка, и клянется брату, что у него есть средство не быть подлецом, но что все-таки он останется подлецом, ибо предвидит, что не воспользуется средством, не хватит силы душевной, не хватит характера. Почему, почему обвинение не верит показанию Алексея Карамазова, данному так чисто, так искренно, неподготовленно и правдоподобно? Почему, напротив, заставляет меня верить деньгам в какой-то расщелине, в подвалах Удольфского замка? В тот же вечер, после разговора с братом, подсудимый пишет это роковое письмо, и вот это-то письмо и есть самое главное, самое колоссальное уличение подсудимого в грабеже! "Буду просить у всех людей, а не дадут люди, убью отца и возьму у него под тюфяком, в пакете с розовою ленточкой, только бы уехал Иван" - полная-де программа убийства, как же не он? "Совершилось по написанному!" - восклицает обвинение. Но, во-первых, письмо пьяное и написано в страшном раздражении; во-вторых, опять-таки о пакете он пишет со слов Смердякова, потому что сам пакета не видал, а в-третьих, написано-то оно написано, но совершилось ли по написанному, это чем доказать? Достал ли подсудимый пакет под подушкой, нашел ли деньги, существовали ли они даже? Да и за деньгами ли подсудимый побежал, припомните, припомните! Он побежал сломя голову не грабить, а лишь узнать, где она, эта женщина, его сокрушившая, - не по программе, стало быть, не по написанному он побежал, то есть не для обдуманного грабежа, а побежал внезапно, нечаянно, в ревнивом бешенстве! "Да, скажут, но все-таки, прибежав и убив, захватил и деньги". Да, наконец, убил ли он еще или нет? Обвинение в грабеже я отвергаю с негодованием: нельзя обвинять в грабеже, если нельзя указать с точностью, что именно ограблено, это аксиома! Но убил ли еще он, без грабежа-то убил ли? Это-то доказано ли? Уж не роман ли и это?"

XII. ДА И УБИЙСТВА НЕ БЫЛО

"Позвольте, господа присяжные, тут жизнь человеческая, и надо быть осторожнее. Мы слышали, как обвинение само засвидетельствовало, что до самого последнего дня, до сегодня, до дня суда, колебалось обвинить подсудимого в полной и совершенной преднамеренности убийства, колебалось до самого этого рокового "пьяного" письма, представленного сегодня суду. "Совершилось как по писаному!" Но опять-таки повторю: он побежал к ней, за ней, единственно только узнать, где она. Ведь это факт непреложный. Случись она дома, он никуда бы не побежал, а остался при ней и не сдержал бы того, что в письме обещал. Он побежал нечаянно и внезапно, а о "пьяном" письме своим он, может быть, вовсе тогда и не помнил. "Захватил, дескать, пестик" - и помните, как из этого одного пестика нам вывели целую психологию: почему-де он должен был принять этот пестик за оружие, схватить его как оружие, и проч., и проч. Тут мне приходит в голову одна самая обыкновенная мысль: ну что, если б этот пестик лежал не на виду, не на полке, с которой схватил его подсудимый, а был прибран в шкаф? - ведь подсудимому не мелькнул бы он тогда в глаза, и он бы убежал без оружия, с пустыми руками, и вот, может быть, никого бы тогда и не убил. Каким же образом я могу заключать о пестике как о доказательстве вооружения и преднамерения? Да, но он кричал по трактирам, что убьет отца, а за два дня, в тот вечер, когда написал свое пьяное письмо, был тих и поссорился в трактире лишь с одним только купеческим приказчиком, "потому-де, что Карамазов не мог не поссориться". А я отвечаю на это, что уж если замыслил такое убийство, да

еще по плану, по написанному, то уж наверно бы не поссорился и с приказчиком, да, может быть, и в трактир не зашел бы вовсе, потому что душа, замыслившая такое дело, ищет тишины и ступеньки, ищет исчезновения, чтобы не видали, чтобы не слышали: "Забудьте-де обо мне, если можете", и это не по расчету только, а по инстинкту. Господа присяжные, психология о двух концах, и мы тоже умеем понимать психологию. Что же до всех этих трактирных криков во весь этот месяц, то мало ли раз кричат дети али пьяные гуляки, выходя из кабаков и ссорясь друг с другом: "Я убью тебя", но ведь не убивают же. Да и самое это роковое письмо - ну не пьяное ли оно раздражение тоже, не крик ли из кабака выходящего: убью, дескать, всех вас убью! Почему не так, почему не могло быть так? Почему это письмо роковое, почему, напротив, оно не смешное? А вот именно потому, что найден труп убитого отца, потому что свидетель видел подсудимого в саду, вооруженного и убегающего, и сам был повержен им, стало быть, и совершилось всё по написанному, а потому и письмо не смешное, а роковое. Слава богу, мы дошли до точки: "коли был в саду, значит, он и убил". Этими двумя словечками: коли был, так уж непременно и значит, всё исчерпывается, всё обвинение - "был, так и значит". А если не значит, хотя бы и был? О, я согласен, что совокупность фактов, совпадение фактов действительно довольно красноречивы. Но рассмотрите, однако, все эти факты отдельно, не внушаясь их совокупностью: почему, например, обвинение ни за что не хочет допустить правдивости показания подсудимого, что он убежал от отца окошка? Вспомните даже сарказмы, в которые пускается здесь обвинение насчет почтительности и "благочестивых" чувств, вдруг обуйавших убийцу. А что, если и в самом деле тут было нечто подобное, то есть хоть не почтительность чувств, но благочестивость чувств? "Должно быть, мать за меня замолила в эту минуту", - показывает на следствии подсудимый, и вот он убежал, чуть лишь уверился, что Светловой у отца в доме нет. "Но он не мог увериться чрез окно", - возражает нам обвинение. А почему же не мог? Ведь окно отворилось же на поданные подсудимым знаки. Тут могло быть произнесено одно какое-нибудь такое слово Федором Павловичем, мог вырваться какой-нибудь такой крик - и подсудимый мог вдруг удостовериться, что Светловой тут нет. Почему непременно предполагать так, как мы воображаем, как предположили воображать? В действительности может мелькнуть тысяча вещей, ускользающих от наблюдения самого тонкого романиста. "Да, но Григорий видел дверь отворенною, а стало быть, подсудимый был в доме наверно, а стало быть, и убил". Об этой двери, господа присяжные... Видите ли, об отворенной этой двери свидетельствует лишь одно лицо, бывшее, однако, в то время в таком состоянии само, что... Но пусть, пусть была дверь отворена, пусть подсудимый отперся, солгал из чувства самозащиты, столь понятного в его положении, пусть, пусть он проник в дом, был в доме - ну и что же, почему же непременно коли был, то и убил? Он мог ворваться, пробежать по комнатам, мог оттолкнуть отца, мог даже ударить отца, но, удостоверившись, что Светловой нет у него, убежал, радуясь, что ее нет и что убежал, отца не убив. Именно потому, может быть, и соскочил через минуту с забора к поверженному им в азарте Григорию, что в состоянии был ощущать чувство чистое, чувство сострадания и жалости, потому что убежал от искушения убить отца, потому что ощущал в себе сердце чистое и радость, что не убил отца. Красноречиво до ужаса описывает нам обвинитель страшное состояние подсудимого в селе Мокром, когда любовь вновь открылась ему, зовя его в новую жизнь, и когда ему уже нельзя было любить, потому что сзади был окровавленный труп отца его, а за трупом казнь. И однако же, обвинитель все-таки допустил любовь, которую и объяснил по своей психологии: "Пьяное, дескать, состояние, преступника везут на казнь, еще долго ждать, и проч., и проч.". Но не другое ли вы создали лицо, господин обвинитель, опять-таки спрашиваю? Так ли, так ли груб и бездушен подсудимый, что мог еще думать в тот момент о любви и о вилянии пред судом, если бы действительно на нем была кровь отца? Нет, нет и нет! Только что открылось, что она его любит, зовет с собою, сулит ему новое счастье, - о, клянусь, он должен был тогда почувствовать двойную, тройную потребность убить себя и убил бы себя непременно, если бы сзади его лежал труп отца! О нет, не забыл бы, где лежат его пистолеты! Я знаю подсудимого: дикая, деревянная бессердечность, взведенная на него обвинением, несовместна с его характером. Он бы убил себя, это наверно; он не убил себя именно потому, что "мать замолила о

нем", и сердце его было неповинно в крови отца. Он мучился, он горевал в ту ночь в Мокром лишь о поверженном старике Григории и молил про себя бога, чтобы старик встал и очнулся, чтоб удар его был несмертелен и миновала бы казнь за него. Почему не принять такое толкование событий? Какое мы имеем твердое доказательство, что подсудимый нам лжет? А вот труп-то отца, укажут нам тотчас же снова: он выбежал, он не убил, ну так кто же убил старика?

Повторяю, тут вся логика обвинения: кто же убил, как не он? Некого, дескать, поставить вместо него. Господа присяжные заседатели, так ли это? Впрямь ли, действительно ли уж так-таки совсем некого поставить? Мы слышали, как обвинение перечло по пальцам всех бывших и всех перебивавших в ту ночь в этом доме. Нашлось пять человек. Трое из них, я согласен, вполне незыблемы: это сам убитый, старик Григорий и жена его. Остаются, стало быть, подсудимый и Смердяков, и вот обвинитель с пафосом восклицает, что подсудимый потому указывает на Смердякова, что не на кого больше ему указать, что будь тут кто-нибудь шестой, даже призрак какого-либо шестого, то подсудимый сам бы тотчас бросил обвинять Смердякова, устыдившись сего, а показал бы на этого шестого. Но, господа присяжные, почему бы я не мог заключить совершенно обратное? Стоят двое: подсудимый и Смердяков - почему же мне не сказать, что вы обвиняете моего клиента единственно потому, что вам некого обвинять? А некого лишь потому, что вы совершенно предвзято заранее исключили Смердякова из всякого подозрения. Да, правда, на Смердякова показывают лишь сам подсудимый, два брата его, Светлова, и только. Но ведь есть же и еще кое-кто из показывающих: это некоторое, хотя и неясное брожение в обществе какого-то вопроса, какого-то подозрения, слышен какой-то неясный слух, чувствуется, что существует какое-то ожидание. Наконец, свидетельствует и некоторое сопоставление фактов, весьма характерное, хотя, признаюсь, и неопределенное: во-первых, этот припадок падучей болезни именно в день катастрофы, припадок, который так старательно принужден был почему-то защищать и отстаивать обвинитель. Затем это внезапное самоубийство Смердякова накануне суда. Затем не менее внезапное показание старшего брата подсудимого, сегодня на суде, до сих пор верившего в виновность брата и вдруг приносящего деньги и тоже провозгласившего опять-таки имя Смердякова как убийцы! О, я вполне убежден вместе с судом и с прокуратурой, что Иван Карамазов - больной и в горячке, что показание его действительно могло быть отчаянною попыткой, замышленною притом же в бреду, спасти брата, свалив на умершего. Но, однако же, все-таки произнесено имя Смердякова, опять-таки как будто слышится что-то загадочное. Что-то как будто тут не договорено, господа присяжные, и не покончено. И может быть, еще договорится. Но об этом пока оставим, это еще впереди. Суд решил давеча продолжать заседание, но теперь пока, в ожидании, я бы мог кое-что, однако, заметить, например, по поводу характеристики покойного Смердякова, столь тонко и столь талантливо очерченной обвинителем. Но, удивляясь таланту, не могу, однако же, вполне согласиться с сущностью характеристики. Я был у Смердякова, я видел его и говорил с ним, он произвел на меня впечатление совсем иное. Здоровьем он был слаб, это правда, но характером, но сердцем - о нет, это вовсе не столь слабый был человек, как заключило о нем обвинение. Особенно не нашел я в нем робости, той робости, которую так характерно описывал нам обвинитель. Простодушия же в нем не было вовсе, напротив, я нашел страшную недоверчивость, прячущуюся под наивностью, и ум, способный весьма многое созерцать. О! обвинение слишком простодушно почло его слабоумным. На меня он произвел впечатление совершенно определенное: я ушел с убеждением, что существо это решительно злобное, непомерно честолюбивое, мстительное и знойно завистливое. Я собрал кой-какие сведения: он ненавидел происхождение свое, стыдился его и со скрежетом зубов припоминал, что "от Смердящей произошел". К слуге Григорию и к жене его, бывшим благодетелями его детства, он был непочтителен. Россию проклинал и над нею смеялся. Он мечтал уехать во Францию, с тем чтобы переделаться во француза. Он много и часто толковал еще прежде, что на это недостает ему средств. Мне кажется, он никого не любил, кроме себя, уважал же себя до странности высоко. Просвещение видел в хорошем платье, в чистых манишках и в вычищенных сапогах. Считая себя сам (и на это есть факты) незаконным сыном Федора Павловича, он мог ненавидеть свое положение сравнительно с законными детьми своего господина: им, дескать, всё, а ему ничего, им все права, им наследство, а он только повар. Он поведал мне, что

сам вместе с Федором Павловичем укладывал деньги в пакет. Назначение этой суммы, — суммы, которая могла бы составить его карьеру, — было, конечно, ему ненавистно. К тому же он увидел три тысячи рублей в светленьких радужных кредитках (я об этом нарочно спросил его). О, не показывайте никогда завистливому и самолюбивому человеку больших денег разом, а он в первый раз увидел такую сумму в одной руке. Впечатление радужной пачки могло болезненно отразиться в его воображении, на первый раз пока безо всяких последствий. Высокоталантливый обвинитель с необыкновенною тонкостью очертил нам все pro и contra предположения о возможности обвинить Смердякова в убийстве и особенно спрашивал: для чего тому было притворяться в падучей? Да, но ведь он мог и не притворяться вовсе, припадок мог прийти совсем естественно, но ведь мог же и пройти совсем естественно, и больной мог очнуться. Положим, не вылечиться, но всё же когда-нибудь прийти в себя и очнуться, как и бывает в падучей. Обвинение спрашивает: где момент совершения Смердяковым убийства? Но указать этот момент чрезвычайно легко. Он мог очнуться и встать от глубокого сна (ибо он был только во сне: после припадков падучей болезни всегда нападает глубокий сон) именно в то мгновение, когда старик Григорий, схватив за ногу на заборе убегающего подсудимого, завопил на всю окрестность: "Отцеубивец!" Крик-то этот необычайный, в тиши и во мраке, и мог разбудить Смердякова, сон которого к тому времени мог быть и не очень крепок: он, естественно, мог уже час тому как начать просыпаться. Встав с постели, он отправляется почти бессознательно и безо всякого намерения на крик, посмотреть, что такое. В его голове болезненный чад, соображение еще дремлет, но вот он в саду, подходит к освещенным окнам и слышит страшную весть от барина, который, конечно, ему обрадовался. Соображение разом загорается в голове его. От испуганного барина он узнает все подробности. И вот постепенно, в расстроенном и больном мозгу его создается мысль — страшная, но соблазнительная и неотразимо логическая: убить, взять три тысячи денег и свалить всё потом на барчонка: на кого же и подумают теперь, как не на барчонка, кого же могут обвинить, как не барчонка, все улики, он тут был? Страшная жажда денег, добычи, могла захватить ему дух, вместе с соображением о безнаказанности. О, эти внезапные и неотразимые порывы так часто приходят при случае и, главное, приходят внезапно таким убийцам, которые еще за минуту не знали, что захотят убить! И вот Смердяков мог войти к барину и исполнить свой план, чем, каким оружием, — а первым камнем, который он поднял в саду. Но для чего же, с какою же целью? А три-то тысячи, ведь это карьера. О! я не противоречу себе: деньги могли быть и существовать. И даже, может быть, Смердяков-то один и знал, где их найти, где именно они лежат у барина. "Ну, а обложка денег, а разорванный на полу пакет?" Давеча, когда обвинитель, говоря об этом пакете, изложил чрезвычайно тонкое соображение свое о том, что оставить его на полу мог именно вор непривычный, именно такой, как Карамазов, а совсем уже не Смердяков, который бы ни за что не оставил на себя такую улику, — давеча, господа присяжные, я, слушая, вдруг почувствовал, что слышу что-то чрезвычайно знакомое. И представьте себе, именно это самое соображение, эту догадку о том, как бы мог поступить Карамазов с пакетом, я уже слышал ровно за два дня до того от самого Смердякова, мало того, он даже тем поразил меня: мне именно показалось, что он фальшиво наивничает, забегает вперед, навязывает эту мысль мне, чтоб я сам вывел это самое соображение и мне его как будто подсказывает. Не подсказал ли он это соображение и следствию? Не навязал ли его и высокоталантливому обвинителю? Скажут: а старуха, жена Григория? Ведь она же слышала, как больной подле нее стонал во всю ночь. Так, слышала, но ведь соображение это чрезвычайно шаткое. Я знал одну даму, которая горько жаловалась, что ее всю ночь будила на дворе шавка и не давала ей спать. И однако, бедная собачонка, как известно стало, тявкнула всего только раза два-три во всю ночь. И это естественно; человек спит и вдруг слышит стон, он просыпается в досаде, что его разбудили, но засыпает мгновенно снова. Часа через два опять стон, опять просыпается и опять засыпает, наконец, еще раз стон, и опять через два часа, всего, всего раза три. Наутро спящий встает и жалуется, что кто-то всю ночь стонал и его беспрерывно будил. Но непременно так и должно ему показаться; промежутки сна, по два часа каждый, он проспал и не помнит, а запомнил лишь минуты своего пробуждения, вот ему и кажется, что его будили всю ночь. Но почему,

почему, восклицает обвинение, Смердяков не признался в посмертной записке? "На одно-де хватило совести, а на другое нет". Но позвольте: совесть - это уже раскаяние, но раскаяния могло и не быть у самоубийцы, а было лишь отчаяние. Отчаяние и раскаяние - две вещи совершенно различные. Отчаяние может быть злобное и непримиримое, и самоубийца, накладывая на себя руки, в этот момент мог вдвойне ненавидеть тех, кому всю жизнь завидовал. Господа присяжные заседатели, поберегитесь судебной ошибки! Чем, чем неправдоподобно всё то, что я вам сейчас представил и изобразил? Найдите ошибку в моем изложении, найдите невозможность, абсурд? Но если есть хотя тень возможности, хотя тень правдоподобия в моих предположениях - удержитесь от приговора. А тут разве тень только? Клянусь всем священным, я вполне верю в мое, в представленное вам сейчас, толкование об убийстве. А главное, главное, меня смущает и выводит из себя всё та же мысль, что изо всей массы фактов, нагроможденных обвинением на подсудимого, нет ни единого, хоть сколько-нибудь точного и неотразимого, а что гибнет несчастный единственно по совокупности этих фактов. Да, эта совокупность ужасна; эта кровь, эта с пальцев текущая кровь, белое в крови, эта темная ночь, оглашаемая воплем "отцеубивец!", и кричащий, падающий с проломленной головой, а затем эта масса изречений, показаний, жестов, криков - о, это так влияет, так может подкупить убеждение, но ваше ли, господа присяжные заседатели, ваше ли убеждение подкупить может? Помните, вам дана необъятная власть, власть вязать и решить. Но чем сильнее власть, тем страшнее ее приложение! Я ни на йоту не отступаю от сказанного мною сейчас, но уж пусть, так и быть, пусть на минуту и я соглашусь с обвинением, что несчастный клиент мой обгадил свои руки в крови отца. Это только предположение, повторяю, я ни на миг не сомневаюсь в его невинности, но уж так и быть, предположу, что мой подсудимый виновен в отцеубийстве, но выслушайте, однако, мое слово, если бы даже я и допустил такое предположение. У меня лежит на сердце высказать вам еще нечто, ибо я предчувствую и в ваших сердцах и умах большую борьбу... Простите мне это слово, господа присяжные заседатели, о ваших сердцах и умах. Но я хочу быть правдивым и искренним до конца. Будем же все искренни!.."

В этом месте защитника прервал довольно сильный аплодисмент. В самом деле, последние слова свои он произнес с такою искренне прозвучавшею нотой, что все почувствовали, что, может быть, действительно ему есть что сказать и что то, что он скажет сейчас, есть и самое важное. Но председатель, заслышав аплодисмент, громко пригрозил "очистить" залу суда, если еще раз повторится "подобный случай". Всё затихло, и Фетюкович начал каким-то новым, проникновенным голосом, совсем не тем, которым говорил до сих пор.

XIII. ПРЕЛЮБОДЕЙ МЫСЛИ

"Не совокупность только фактов губит моего клиента, господа присяжные заседатели, - возгласил он, - нет, моего клиента губит, по-настоящему, один лишь факт: это - труп старика отца! Будь простое убийство, и вы при ничтожности, при бездоказательности, при фантастичности фактов, если рассматривать каждый из них в отдельности, а не в совокупности, - отвергли бы обвинение, по крайней мере усумнились бы губить судьбу человека по одному лишь предубеждению против него, которое, увы, он так заслужил! Но тут не простое убийство, а отцеубийство! Это импонирует, и до такой степени, что даже самая ничтожность и бездоказательность обвиняющих фактов становится уже не столь ничтожною и не столь бездоказательною, и это в самом непредубежденном даже уме. Ну как оправдать такого подсудимого? А ну как он убил и уйдет ненаказанным - вот что чувствует каждый в сердце своем почти невольно, инстинктивно. Да, страшная вещь пролить кровь отца, - кровь родившего, кровь любившего, кровь жизни своей для меня не жалевшего, с детских лет моих моими болезнями болевшего, всю жизнь за мое счастье страдавшего и лишь моими радостями, моими успехами жившего! О, убить такого отца - да это невозможно и помыслить! Господа присяжные, что такое отец, настоящий отец, что это за слово такое великое, какая страшно великая идея

в наименовании этом? Мы сейчас только указали отчасти, что такое и чем должен быть истинный отец. В настоящем же деле, которым мы так все теперь заняты, которым болят наши души, — в настоящем деле отец, покойный Федор Павлович Карамазов, нисколько не подходил под то понятие об отце, которое сейчас сказалося нашему сердцу. Это беда. Да, действительно, иной отец похож на беду. Рассмотрим же эту беду поближе — ведь ничего не надо бояться, господа присяжные, ввиду важности предстоящего решения. Мы даже особенно не должны бояться теперь и, так сказать, отмахиваться от иной идеи, как дети или пугливые женщины, по счастливому выражению высокоталантливого обвинителя. Но в своей горячей речи уважаемый мой противник (и противник еще прежде, чем я произнес мое первое слово), мой противник несколько раз воскликнул: "Нет, я никому не дам защищать подсудимого, я не уступлю его защиту защитнику, приехавшему из Петербурга, — я обвинитель, я и защитник!" Вот что он несколько раз воскликнул и, однако же, забыл упомянуть, что если страшный подсудимый целые двадцать три года столь благодарен был всего только за один фунт орехов, полученных от единственного человека, приласкавшего его ребенком в родительском доме, то, обратно, не мог же ведь такой человек и не помнить, все эти двадцать три года, как он бегал босой у отца "на заднем дворе, без сапожек, и в панталончиках на одной пуговке", по выражению человеколюбивого доктора Герценштубе. О господа присяжные, зачем нам рассматривать ближе эту "беду", повторять то, что все уже знают! Что встретил мой клиент, приехав сюда к отцу? И зачем, зачем изображать моего клиента бесчувственным, эгоистом, чудовищем? Он безудержен, он дик и буен, вот мы теперь его судим за это, а кто виноват в судьбе его, кто виноват, что при хороших наклонностях, при благородном чувствительном сердце он получил такое нелепое воспитание? Учил ли его кто-нибудь уму-разуму, просвещен ли он в науках, любил ли кто его хоть сколько-нибудь в его детстве? Мой клиент рос покровительством Божиим, то есть как дикий зверь. Он, может быть, жаждал увидеть отца после долголетней разлуки, он, может быть, тысячу раз перед тем, вспоминая как сквозь сон свое детство, отгонял отвратительные призраки, приснившиеся ему в его детстве, и всею душой жаждал оправдать и обнять отца своего! И что ж? Его встречают одними циническими насмешками, подозрительностью и крючкотворством из-за спорных денег; он слышит лишь разговоры и житейские правила, от которых воротит сердце, ежедневно "за коньячком", и, наконец, зрит отца, отбивающего у него, у сына, на его же сыновние деньги, любовницу, — о господа присяжные, это отвратительно и жестоко! И этот же старик всем жалуется на непочтительность и жестокость сына, марают его в обществе, вредит ему, клеветает на него, скупает его долговые расписки, чтобы посадить его в тюрьму! Господа присяжные, эти души, эти на вид жестокосердые, буйные и безудержные люди, как мой клиент, бывают, и это чаще всего, чрезвычайно нежны сердцем, только этого не выказывают. Не смейтесь, не смейтесь над моею идеей! Талантливый обвинитель смеялся давеча над моим клиентом безжалостно, выставляя, что он любит Шиллера, любит "прекрасное и высокое". Я бы не стал над этим смеяться на его месте, на месте обвинителя! Да, эти сердца — о, дайте мне защитить эти сердца, столь редко и столь несправедливо понимаемые, — эти сердца весьма часто жаждут нежного, прекрасного и справедливого, и именно как бы в контраст себе, своему буйству, своей жестокости, — жаждут бессознательно, и именно жаждут. Страстные и жестокие снаружи, они до мучения способны полюбить, например, женщину, и непременно духовною и высшею любовью. Опять-таки не смейтесь надо мной: это именно так всего чаще бывает в этих натурах! Они только не могут скрыть свою страстность, подчас очень грубую, — вот это и поражает, вот это и замечают, а внутри человека не видят. Напротив, все их страсти утоляются быстро, но около благородного, прекрасного существа, этот по-видимому грубый и жестокий человек ищет обновления, ищет возможности исправиться, стать лучшим, сделаться высоким и честным — "высоким и прекрасным", как ни осмелю это слово! Давеча я сказал, что не позволю себе дотронуться до романа моего клиента с госпожою Верховцевой. Но, однако, полслова-то можно сказать: мы слышали давеча не показание, а лишь крик испуганной и отмщающей женщины, и не ей, о, не ей укорять бы в измене, потому что она сама изменила! Если б имела хоть сколько-нибудь времени, чтоб одуматься, не дала бы она такого свидетельства! О, не верьте ей, нет, не "изверг" клиент мой, как она его называла! Распятый человеколюбец,

собираясь на крест свой, говорил: "Аз семь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овцы, да ни одна не погибнет..." Не погубим и мы души человеческой! Я спрашивал сейчас: что такое отец, и воскликнул, что это великое слово, драгоценное наименование. Но со словом, господа присяжные, надо обращаться честно, и я позволю назвать предмет собственным его словом, собственным наименованием: такой отец, как убитый старик Карамазов, не может и недостойн называться отцом. Любовь к отцу, не оправданная отцом, есть нелепость, есть невозможность. Нельзя создать любовь из ничего, из ничего только бог творит. "Отцы, не огорчайте детей своих", - пишет из пламенеющего любовью сердца своего апостол. Не ради моего клиента привожу теперь эти святые слова, я для всех отцов вспоминаю их. Кто мне дал эту власть, чтоб учить отцов? Никто. Но как человек и гражданин взываю - vivos voco! Мы на земле недолго, мы делаем много дел дурных и говорим слов дурных. А потому будем же все ловить удобную минуту совместного общения нашего, чтобы сказать друг другу и хорошее слово. Так и я: пока я на этом месте, я пользуюсь моею минутой. Недаром эта трибуна дарована нам высшею волей - с нее слышит нас вся Россия. Не для здешних только отцов говорю, а ко всем отцам восклицаю: "Отцы, не огорчайте детей своих!" Да исполним прежде сами завет Христов и тогда только разрешим себе спрашивать и с детей наших. Иначе мы не отцы, а враги детям нашим, а они не дети наши, а враги нам, и мы сами себе сделали их врагами! "В ню же меру мерите, возмерится и вам" - это не я уже говорю, это Евангелие предписывает: мерить в ту меру, в которую и вам меряют. Как же винить детей, если они нам меряют в нашу меру? Недавно в Финляндии одна девица, служанка, была заподозрена, что она тайно родила ребенка. Стали следить за нею и на чердаке дома, в углу за кирпичами, нашли ее сундук, про который никто не знал, его отперли и вынули из него трупик новорожденного и убитого ею младенца. В том же сундуке нашли два скелета уже рожденных прежде ею младенцев и ею же убитых в минуту рождения, в чем она и повинилась. Господа присяжные, это ли

1 призываю живых! (лат.).

мать детей своих? Да, она их родила, но мать ли она им? Осмелится ли кто из нас произнести над ней священное имя матери? Будем смелы, господа присяжные, будем дерзки даже, мы даже обязаны быть таковыми в настоящую минуту и не бояться иных слов и идей, подобно московским купчихам, боящимся "металла" и "жупела". Нет, докажем, напротив, что прогресс последних лет коснулся и нашего развития и скажем прямо: родивший не есть еще отец, а отец есть - родивший и заслуживший. О, конечно, есть и другое значение, другое толкование слова "отец", требующее, чтоб отец мой, хотя бы и изверг, хотя бы и злодей своим детям, оставался бы все-таки моим отцом, потому только, что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, мистическое, которое я не понимаю умом, а могу принять лишь верой, или, вернее сказать, на веру, подобно многому другому, чего не понимаю, но чему религия повелевает мне, однако же, верить. Но в таком случае это пусть и останется вне области действительной жизни. В области же действительной жизни, которая имеет не только свои права, но и сама налагает великие обязанности, - в этой области мы, если хотим быть гуманными, христианами наконец, мы должны и обязаны проводить убеждения, лишь оправданные рассудком и опытом, проведенные чрез горнило анализа, словом, действовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреду, чтобы не нанести вреда человеку, чтобы не измучить и не погубить человека. Вот, вот тогда это и будет настоящим христианским делом, не мистическим только, а разумным и уже истинно человеколюбивым делом... "

В этом месте сорвались было сильные рукоплескания из многих концов залы, но Фетюкович даже замахал руками, как бы умоляя не прерывать и чтобы дали ему договорить. Всё тотчас затихло. Оратор продолжал:

"Думаете ли вы, господа присяжные, что такие вопросы могут миновать детей наших, положим, уже юношей, положим, уже начинающих рассуждать? Нет, не могут, и не будем спрашивать от них невозможного воздержания! Вид отца недостойного, особенно сравнительно с отцами другими, достойными, у других детей, его сверстников, невольно подсказывает юноше вопросы мучительные. Ему по-казенному отвечают на эти вопросы: "Он родил тебя, и ты кровь его, а потому ты и должен любить его". Юноша невольно задумывается: "Да разве он

любил меня, когда рождал, - спрашивает он, удивляясь всё более и более, - разве для меня он родил меня: он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть разгоряченной вином, и только разве передал мне склонность к пьянству - вот все его благодеяния... Зачем же я должен любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня?" О, вам, может быть, представляются эти вопросы грубыми, жестокими, но не требуйте же от юного ума воздержания невозможного: "Гони природу в дверь, она влетит в окно", - а главное, главное, не будем бояться "металла" и "жупела" и решим вопрос так, как предписывает разум и человеколюбие, а не так, как предписывают мистические понятия. Как же решить его? А вот как: пусть сын станет пред отцом своим и осмысленно спросит его самого: "Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя?" - и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, - то вот и настоящая нормальная семья, не на предрассудке лишь мистическом утверждающаяся, а на основаниях разумных, самоотчетных и строго гуманных. В противном случае, если не докажет отец, - конец тотчас же этой семье: он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим. Наша трибуна, господа присяжные, должна быть школой истины и здравых понятий!"

Здесь оратор был прерван рукоплесканиями неудержимыми, почти исступленными. Конечно, аплодировала не вся зала, но половина-то залы все-таки аплодировала. Аплодировали отцы и матери. Сверху, где сидели дамы, слышались визги и крики. Махали платками. Председатель всей силы начал звонить в колокольчик. Он был видимо раздражен поведением залы, но "очистить" залу, как угрожал недавно, решительно не посмел: аплодировали и махали платками оратору даже сзади сидевшие на особых стульях сановные лица, старички со звездами на фраках, так что, когда уgomонился шум, председатель удовольствовался лишь прежним строжайшим обещанием "очистить" залу, а торжествующий и взволнованный Фетюкович стал опять продолжать свою речь.

"Господа присяжные заседатели, вы помните ту страшную ночь, о которой так много еще сегодня говорили, когда сын, через забор, проник в дом отца и стал наконец лицом к лицу с своим, родившим его, врагом и обидчиком. Из всех сил настаиваю - не за деньгами он прибежал в ту минуту: обвинение в грабеже есть нелепость, как я уже и изложил прежде. И не убить, о нет, вломился он к нему; если б имел преднамеренно этот умысел, то озаботился бы по крайней мере заранее хоть оружием, а медный пест он схватил инстинктивно, сам не зная зачем. Пусть он обманул отца знаками, пусть он проник к нему - я сказал уже, что ни на одну минуту не верю этой легенде, но пусть, так и быть, предположим ее на одну минуту! Господа присяжные, клянусь вам всем, что есть свято, будь это не отец ему, а посторонний обидчик, он, пробежав по комнатам и удостоверясь, что этой женщины нет в этом доме, он убежал бы стремглав, не сделав сопернику своему никакого вреда, ударил бы, толкнул его, может быть, но и только, ибо ему было не до того, ему было некогда, ему надо было знать, где она. Но отец, отец - о, все сделал лишь вид отца, его ненавистника с детства, его врага, его обидчика, а теперь - чудовищного соперника! Ненавистное чувство охватило его невольно, неудержимо, рассуждать нельзя было: всё поднялось в одну минуту! Это был аффект безумства и помешательства, но и аффект природы, мстящей за свои вечные законы безудержно и бессознательно, как и всё в природе. Но убийца и тут не убил - я утверждаю это, я кричу про это - нет, он лишь махнул пестом в омерзительном негодовании, не желая убить, не зная, что убьет. Не будь этого рокового песта в руках его, и он бы только избил отца, может быть, но не убил бы его. Убежав, он не знал, убит ли поверженный им старик. Такое убийство не есть убийство. Такое убийство не есть и отцеубийство. Нет, убийство такого отца не может быть названо отцеубийством. Такое убийство может быть причтено к отцеубийству лишь по предрассудку? Но было ли, было ли это убийство в самом деле, взываю я к вам снова и снова из глубины души моей! Господа присяжные, вот мы осудим его, и он скажет себе: "Эти люди ничего не сделали для судьбы моей, для воспитания, для образования моего, чтобы сделать меня лучшим, чтобы сделать меня человеком. Эти люди не накормили и не напоили меня, и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. Я сквитался, я ничего им

теперь не должен и никому не должен во веки веков. Они злы, и я буду зол. Они жестоки, и я буду жесток". Вот что он скажет, господа присяжные! И клянусь: обвинением вашим вы только облегчите его, совесть его облегчите, он будет проклинать пролитую им кровь, а не сожалеть о ней. Вместе с тем вы погубите в нем возможного еще человека, ибо он останется зол и слеп на всю жизнь. Но хотите ли вы наказать его страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем чтобы спасти и возродить его душу навеки? Если так, то подавите его вашим милосердием! Вы увидите, вы услышите, как вздрогнет и ужаснется душа его: "Мне ли снести эту милость, мне ли столько любви, я ли достоин ее", - вот что он воскликнет! О, я знаю, я знаю это сердце, это дикое, но благородное сердце, господа присяжные. Оно преклонится пред вашим подвигом, оно жаждет великого акта любви, оно загорится и воскреснет навеки. Есть души, которые в ограниченности своей обвиняют весь свет. Но подавите эту душу милосердием, окажите ей любовь, и она проклянет свое дело, ибо в ней столько добрых зачатков. Душа расширится и узрит, как бог милосерд и как люди прекрасны и справедливы. Его ужаснет, его подавит раскаяние и бесчисленный долг, предстоящий ему отселе. И не скажет он тогда: "Я сквитался", а скажет: "Я виноват пред всеми людьми и всех людей недостойнее". В слезах раскаяния и жгучего страдальческого умиления он воскликнет: "Люди лучше, чем я, ибо захотели не погубить, а спасти меня!" О, вам так легко это сделать, этот акт милосердия, ибо при отсутствии всяких чуть-чуть похожих на правду улик вам слишком тяжело будет произнести: "Да, виновен". Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного - слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей славной истории? Мне ли, ничтожному, напоминать вам, что русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего! Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших. И если так, если действительно такова Россия и суд ее, то - вперед Россия, и не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы! Не бешеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели. В ваших руках судьба моего клиента, в ваших руках и судьба нашей правды русской. Вы спасете ее, вы отстоите ее, вы докажете, что есть кому ее соблюсти, что она в хороших руках!"

XIV. МУЖИЧКИ ЗА СЕБЯ ПОСТОЯЛИ

Так кончил Фетюкович, и разразившийся на этот раз восторг слушателей был неудержим, как буря. Было уже и немисливо сдержать его: женщины плакали, плакали и многие из мужчин, даже два сановника пролили слезы. Председатель покорился и даже помедлил звонить в колокольчик: "Посягать на такой энтузиазм значило бы посягать на святыню" - как кричали потом у нас дамы. Сам оратор был искренно растроган. И вот в такую-то минуту и поднялся еще раз "обменяться возражениями" наш Ипполит Кириллович. Его завидели с ненавистью: "Как? Что это? Это он-то смеет еще возражать?" - залепетали дамы. Но если бы даже залепетали дамы целого мира, и в их главе сама прокурорша, супруга Ипполита Кирилловича, то и тогда бы его нельзя было удержать в это мгновение. Он был бледен, он сотрясался от волнения; первые слова, первые фразы, выговоренные им, были даже и непонятны; он задыхался, плохо выговаривал, сбивался. Впрочем, скоро поправился. Но из этой второй речи его я приведу лишь несколько фраз.

"...Нас упрекают, что мы насоздавали романов. А что же у защитника, как не роман на романе? Не доставало только стихов. Федор Павлович в ожидании любовницы разрывает конверт и бросает его на пол. Приводится даже, что он говорил при этом удивительном случае. Да разве это не поэма? И где доказательство, что он вынул деньги, кто слышал, что он говорил? Слабоумный идиот Смердяков, преображенный в какого-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконнорожденность, - разве это не поэма в байроновском

вкусе? А сын, вломившийся к отцу, убивший его, но в то же время и не убивший, это уж даже и не роман, не поэма, это сфинкс, задающий загадки, которые и сам, уж конечно, не разрешит. Коль убил, так убил, а как же это, коли убил, так не убил – кто поймет это? Затеи возвещают нам, что наша трибуна есть трибуна истины и здравых понятий, и вот с этой трибуны "здравых понятий" раздастся, с клятвой, аксиомой, что называть убийство отца отцеубийством есть только один предрассудок! Но если отцеубийство есть предрассудок и если каждый ребенок будет допрашивать своего отца: "Отец, зачем я должен любить тебя?" – то что станется с нами, что станется с основами общества, куда денется семья? Отцеубийство – это, видите ли, только "жупел" московской купчихи. Самые драгоценные, самые священные заветы в назначении и в будущности русского суда представляются извращенно и легкомысленно, чтобы только добиться цели, добиться оправдания того, что нельзя оправдать. "О, подавите его милосердием", – восклицает защитник, а преступнику только того и надо, и завтра же все увидят, как он будет подавлен! Да и не слишком ли скромно защитник, требуя лишь оправдания подсудимого? Отчего бы не потребовать учреждения стипендии имени отцеубийцы, для увековечения его подвига в потомстве и в молодом поколении? Исправляются Евангелие и религия: это, дескать, всё мистика, а вот у нас лишь настоящее христианство, уже проверенное анализом рассудка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лжеподобие Христа! В ню же меру мерите, возмерится и вам, восклицает защитник и в тот же миг выводит, что Христос заповедал мерить в ту меру, в которую и вам отмеряют, – и это с трибуны истины и здравых понятий! Мы заглядываем в Евангелие лишь накануне речей наших для того, чтобы блеснуть знакомством все-таки с довольно оригинальным сочинением, которое может пригодиться и послужить для некоторого эффекта, по мере надобности, всё по размеру надобности! А Христос именно велит не так делать, беречься так делать, потому что злобный мир так делает, мы же должны прощать и ланиту свою подставлять, а не в ту же меру отмеривать, в которую мерят нам наши обидчики. Вот чему учил нас бог наш, а не тому, что запрещать детям убивать отцов есть предрассудок. И не станем мы поправлять с кафедры истины и здравых понятий Евангелие бога нашего, которого защитник удостоивает назвать лишь "распятым человеколюбцем", в противоположность всей православной России, взывающей к нему: "Ты бо еси бог наш!.."

Тут председатель вступился и осадил увлекшегося, попросив его не преувеличивать, оставаться в должных границах, и проч., и проч., как обыкновенно говорят в таких случаях председатели. Да и зала была неспокойна. Публика шевелилась, даже восклицала в негодовании. Фетюкович даже и не возражал, он вздохнул только, чтобы, приложив руку к сердцу, обиженным голосом проговорить несколько слов, полных достоинства. Он слегка только и насмешливо опять коснулся "романов" и "психологии" и к слову повернул в одном месте: "Юпитер, ты сердисься, стало быть, ты не прав", чем вызвал одобрительный и многочисленный смехок в публике, ибо Ипполит Кириллович уже совсем был не похож на Юпитера. Затем на обвинение, что будто он разрешает молодому поколению убивать отцов, Фетюкович с глубоким достоинством заметил, что и возражать не станет. Насчет же "Христового лжеподобия" и того, что он не удостоил назвать Христа богом, а назвал лишь "распятым человеколюбцем", что "противно-де православию и не могло быть высказано с трибуны истины и здравых понятий", – Фетюкович намекнул на "инсинуацию" и на то, что, собираясь сюда, он по крайней мере рассчитывал, что здешняя трибуна обеспечена от обвинений, "опасных для моей личности как гражданина и верноподданного..." Но при этих словах председатель осадил и его, и Фетюкович, поклонясь, закончил свой ответ, провожаемый всеобщим одобрительным говором залы. Ипполит же Кириллович, по мнению наших дам, был "раздавлен навеки".

Затем предоставлено было слово самому подсудимому. Митя встал, но сказал немного. Он был страшно утомлен и телесно, и духовно. Вид независимости и силы, с которым он появился утром в залу, почти исчез. Он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал. Голос его ослабел, он уже не кричал, как давеча. В словах его послышалось что-то новое, смирившееся, побежденное и приникшее.

"Что мне сказать, господа присяжные! Суд мой пришел, слышу десницу божию на себе. Конец беспутному человеку! Но как богу исповедуюсь, и вам

говоря: "В крови отца моего - нет, не виновен!" В последний раз повторяю: "Не я убил". Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен. Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, чего и не знал я, но неправда, что убил отца, ошибся прокурор! Спасибо и защитнику, плакал, его слушая, но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было! А докторам не верьте, я в полном уме, только душе моей тяжело. Коли пощадите, коль отпустите - помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед богом его даю. А коль осудите - сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки! Но пощадите, не лишите меня бога моего, знаю себя: возропщу! Тяжело душе моей, господа... пощадите!"

Он почти упал на свое место, голос его пресекся, последнюю фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке вопросов и начал спрашивать у сторон заключений. Но не описываю подробности. Наконец-то присяжные встали, чтоб удалиться для совещаний. Председатель был очень утомлен, а потому и сказал им очень слабое напутственное слово: "Будьте-де беспристрастны, не внушайтесь красноречивыми словами защиты, но, однако же, взвесьте, вспомните, что на вас лежит великая обязанность", и проч., и проч. Присяжные удалились, и наступил перерыв заседания. Можно было встать, пройтись, обменяться накопившимися впечатлениями, закусить в буфете. Было очень поздно, уже около часу пополуночи, но никто не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было не до покоя. Все ждали, замирая сердцем, хотя, впрочем, и не все замирали сердцем. Дамы были лишь в истерическом нетерпении, но сердцами были спокойны: "Оправдание-де неминуемое". Все они готовились к эффектной минуте общего энтузиазма. Признаюсь, и в мужской половине залы было чрезвычайно много убежденных в неминуемом оправдании. Иные радовались, другие же хмурились, а иные так просто повесили носы: не хотелось им оправдания! Сам Фетюкович был твердо уверен в успехе. Он был окружен, принимал поздравления, перед ним заискивали.

- Есть,- сказал он в одной группе, как передавали йотом,- есть эти невидимые нити, связующие защитника с присяжными. Они завязываются и предчувствуются еще во время речи. Я ощутил их, они существуют. Дело наше, будьте спокойны.

- А вот что-то наши мужички теперь скажут? - проговорил один нахмуренный, толстый и рябой господин, подгородный помещик, подходя к одной группе разговаривавших господ.

- Да ведь не одни мужички. Там четыре чиновника.

- Да, вот чиновники,- проговорил, подходя, член томской управы.

- А вы Назарьева-то, Прохора Ивановича, знаете, вот этот купец-то с медалью, присяжный-то?

- А что?

- Ума палата.

- Да он всё молчит.

- Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше. Не то что петербургскому его учить, сам весь Петербург научит. Двенадцать человек детей, подумайте!

- Да помилуйте, неужто не оправдают? - кричал в другой группе один из молодых наших чиновников.

- Оправдают наверно,- послышался решительный голос.

- Стыдно, позорно было бы не оправдать! - восклицал чиновник.- Пусть он убил, но ведь отец и отец! И наконец, он был в таком исступлении... Он действительно мог только махнуть пестом, и тот повалился. Плохо только, что лакея тут притянули. Это просто смешной эпизод. Я бы на месте защитника так прямо и сказал: убил, но не виновен, вот и черт с вами!

- Да он так и сделал, только "черт с вами" не сказал.

- Нет, Михаил Семеныч, почти что сказал,- подхватил третий голосок.

- Помилуйте, господа, ведь оправдали же у нас великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала.

- Да ведь не дорезала.

- Всё равно, всё равно, начала резать!

- А про детей-то как он? Великолепно!

- Великолепно.

- Ну, а про мистику-то, про мистику-то, а?

- Да полноте вы о мистике,- вскричал еще кто-то,- вы вникните в Ипполита-то, в судьбу-то его отселева дня! Ведь ему завтрашний день его

прокурорша за Митеньку глаза выщарапает.

- А она здесь?

- Чего здесь? Была бы здесь, здесь бы и выщарапала. Дома сидит, зубы болят. Хе-хе-хе!

- Хе-хе-хе!

В третьей группе.

- А ведь Митеньку-то, пожалуй, и оправдают.

- Чего доброго, завтра весь "Столичный город" разнесет, десять дней пьянствовать будет.

- Эх ведь черт!

- Да черт-то черт, без черта не обошлось, где ж ему и быть, как не тут.

- Господа, положим, красноречие. Но ведь нельзя же и отцам ломать головы безменами. Иначе до чего же дойдем?

- Колесница-то, колесница-то, помните?

- Да, из телеги колесницу сделал.

- А завтра из колесницы телегу, "по мере надобности, всё по мере надобности".

- Ловкий народ пошел. Правда-то есть у нас на Руси, господа, али нет ее вовсе?

Но зазвонил колокольчик. Присяжные совещались ровно час, ни больше, ни меньше. Глубокое молчание воцарилось, только что уселась снова публика. Помню, как присяжные вступили в залу. Наконец-то! Не привожу вопросов по пунктам, да я их и забыл. Я помню лишь ответ на первый и главный вопрос председателя, то есть "убил ли с целью грабежа преднамеренно?" (текста не помню). Всё замерло. Старшина присяжных, именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно, при мертвенной тишине залы, провозгласил:

- Да, виновен!

И потом по всем пунктам пошло всё то же: виновен да виновен, и это без малейшего снисхождения! Этого уж никто не ожидал, в снисхождении-то по крайней мере почти все были уверены. Мертвая тишина залы не прерывалась, буквально как бы все окаменели - и жаждавшие осуждения, и жаждавшие оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся страшный хаос. Из мужской публики много оказалось очень довольных. Иные так даже потирали руки, не скрывая своей радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали плечами, шептались, но как будто всё еще не сообразившись. Но, боже мой, что случилось с нашими дамами! Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим. И вдруг, на всю залу, послышались восклицания: "Да что это такое? Это еще что такое?" Они повскакали с мест своих. Им, верно, казалось, что всё это сейчас же можно опять переменить и переделать. В это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки:

- Клянусь богом и Страшным судом его, в крови отца моего не виновен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, пощадите другую!

Он не договорил и зарыдал на всю залу, в голос, страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который бог знает откуда вдруг у него явился. На хорах, наверху, в самом заднем углу раздался пронзительный женский вопль: это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давеча, и ее вновь пропустили в залу еще пред началом судебных прений. Митю увели. Произнесение приговора было отложено до завтра. Вся зала поднялась в суматохе, но я уже не ждал и не слушал. Запомнил лишь несколько восклицаний, уже на крыльце, при выходе.

- Двадцать лет рудничков понюхает.

- Не меньше.

- Да-с, мужички наши за себя постояли.

- И покончили нашего Митеньку!

Конец четвертой и последней части

ЭПИЛОГ.

I. ПРОЕКТЫ СПАСТИ МИТЮ.

На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в девятом часу, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтобы стовориться окончательно о некотором важном для них обоих деле и имея, сверх того, к ней поручение. Она сидела и говорила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то Грушеньку; рядом же, в другой комнате, лежал в горячке и в беспмятстве Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же после тогдашней сцены в суде велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Одна из двух родственниц ее, которые с ней проживали, уехала тотчас же после сцены в суде в Москву, другая осталась. Но если б и обе уехали, Катерина Ивановна не изменила бы своего решения и осталась бы ухаживать за больным и сидеть над ним день и ночь. Лечили его Варвинский и Герценштубе; московский же доктор уехал обратно в Москву, отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода болезни. Оставшиеся доктора хоть и ободряли Катерину Ивановну и Алешу, но видно было, что они не могли еще подать твердой надежды. Алеша заходил к больному брату по два раза в день. Но в этот раз у него было особое, прехлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем, а между тем он очень торопился: было у него еще другое неотложное дело в это же утро в другом месте, и надо было спешить. Они уже с четверть часа как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайном болезненном возбуждении: она предчувствовала, зачем между прочим пришел к ней теперь Алеша.

- О его решении не беспокойтесь, - проговорила она с твердою настойчивостью Алеше. - Так или этак, а он все-таки придет к этому выходу: он должен бежать! Этот несчастный, этот герой чести и совести, - не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этою дверью лежит и что собой за брата пожертвовал (с сверкающими глазами прибавила Катя) - он давно уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже входил в сношения... Я вам уже кой-что сообщила... Видите, это произойдет по всей вероятности на третьем отсюда этапе, когда партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще далеко. Иван Федорович уже ездил к начальнику третьего этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником, да и нельзя это так заранее узнать. Завтра может быть я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь... Это было в тот самый раз, когда, помните, вы тогда вечером застали нас в ссоре: он еще сходил с лестницы, а я, увидя вас, заставила его воротиться - помните? Вы знаете, из-за чего мы тогда поссорились?

- Нет, не знаю, - сказал Алеша.

- Конечно он тогда от вас скрыл: вот именно из-за этого плана о побеге. Он мне еще за три дня пред тем открыл все главное - вот тогда-то мы и начали ссориться и с тех пор все три дня ссорились. Потому поссорились, что когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убежит за границу вместе с той тварью, то я вдруг озлилась, - не скажу вам из-за чего, сама не знаю из-за чего... О конечно я за тварь, за эту тварь тогда озлилась, и именно за то, что и она тоже, вместе с Дмитрием, бежит за границу! - воскликнула вдруг Катерина Ивановна с задрожавшими от гнева губами. - Иван Федорович как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия и что стало быть все еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и вышла тогда первая ссора. Я объяснений дать не захотела, просить прощения не могла; тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому... И это тогда, когда я сама, уже давно пред тем, прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия, а люблю только его одного! Я от злости только на эту тварь на него озлилась! Через три дня, вот в тот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный конверт, чтоб я распечатала тотчас, если с ним что случится. О, он предвидел свою болезнь! Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге, и что в случае, если он умрет или опасно заболит, то чтоб я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня

деньги, почти десять тысяч, – вот те самые, про которые прокурор, узнав от кого-то, что он посылал их менять, упомянул в своей речи. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович, все еще ревнуя меня и все еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул однако мысли спасти брата и мне же, мне самой доверяет это дело спасения! О, это была жертва! Нет, вы такого самопожертвования не поймете во всей полноте, Алексей Федорович! Я хотела было упасть к ногам его в благоговении, но как подумала вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасают Митю (а он бы непременно это подумал!), то до того была раздражена лишь одною только возможностью такой несправедливой мысли с его стороны, что опять раздражилась и вместо того, чтобы целовать его ноги, сделала опять ему сцену! О, я несчастна! Таков мой характер – ужасный, несчастный характер! О, вы еще увидите: я сделаю, я доведу-таки до того, что и он бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий, но тогда... нет, тогда уже я не перенесу, я убью себя! А когда вы вошли тогда, и когда я вас кликнула, а ему велела воротиться, то, как вошел он с вами, меня до того захватил гнев за ненавистный, презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел на меня, что – помните – я вдруг закричала вам, что это он, он один уверил меня, что брат его Дмитрий убийца! Я нарочно наклеветала, чтоб еще раз уязвить его, он же никогда, никогда не уверял меня, что брат – убийца, напротив, в этом я, я сама уверяла его! О, всему, всему причиной мое бешенство! Это я, я и приготовила эту проклятую сцену в суде! Он захотел доказать мне, что он благороден, и что пусть я и люблю его брата, но он все-таки не погубит его из мести и ревности. Вот он и вышел в суде... Я всему причиной, я одна виновата!

Еще никогда не делала Катя таких признаний Алеше, и он почувствовал, что она теперь именно в той степени невыносимого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою гордость и падает побежденное горем. О, Алеша знал и еще одну ужасную причину ее теперешней муки, как ни скрывала она ее от него во все эти дни после осуждения Мити; но ему почему-то было бы слишком больно, если б она до того решилась пасть ниц, что заговорила бы с ним сама, теперь, сейчас, и об этой причине: Она страдала за свое "предательство" на суде, и Алеша предчувствовал, что совесть тянет ее повиниться, именно пред ним, пред Алешей, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьем об пол. Но он боялся этой минуты и желал пощадить страдающую. Тем труднее становилось поручение, с которым он пришел. Он опять заговорил о Мите.

– Ничего, ничего, за него не бойтесь! – упрямо и резко начала опять Катя; – все это у него на минуту, я его знаю, я слишком знаю это сердце. Будьте уверены, что он согласится бежать. И главное это не сейчас; будет еще время ему решиться. Иван Федорович к тому времени выздоровеет и сам все поведет, так что мне ничего не придется делать. Не беспокойтесь, согласится бежать. Да он уж и согласен: разве может он свою тварь оставить? А в каторгу ее не пустят, так как же ему не бежать? Он, главное, вас боится, боится, что вы не одобрите побега с нравственной стороны, но вы должны ему это великодушно позволить, если уж так необходима тут ваша санкция, – с ядом прибавила Катя. Она помолчала и усмехнулась:

– Он там толкует, – принялась она опять, – про какие-то гимны, про крест, который он должен понести, про долг какой-то, я помню, мне об этом Иван Федорович тогда передавал, и если б вы знали, как он говорил! – вдруг с неудержимым чувством воскликнула Катя, – если б вы знали, как он любил этого несчастного в ту минуту, когда мне передавал про него, и как ненавидел его может быть в ту же минуту! А я, о! я выслушала тогда его рассказ и его слезы с горделивою усмешкою! О, тварь! Это я тварь, я! Это я народила ему горячку! А тот, осужденный, – разве он готов на страдание, – раздражительно закончила Катя, – да и такому ли страдать? Такие как он никогда не страдают!

Какое-то чувство уже ненависти и гадливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем она же его предала. "Что ж, может потому, что так чувствует себя пред ним виноватой и ненавидит его минутами", подумал про себя Алеша. Ему хотелось, чтоб это было только "минутами". В последних словах Кати он слышал вызов, но не поднял его.

– Я для того вас и призвала сегодня, чтобы вы обещались мне сами его уговорить. Или и по вашему тоже бежать будет нечестно, не доблестно, или как там... не по-христиански что ли? – еще с пушим вызовом прибавила Катя.

– Нет, ничего. Я ему скажу все... – пробормотал Алеша. – Он вас зовет

сегодня к себе, – вдруг брякнул он, твердо смотря ей в глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась от него на диване.

– Меня... разве это возможно? – пролепетала она побледнев.

– Это возможно и должно! – настойчиво и весь оживившись, начал Алеша. – Ему вы очень нужны, именно теперь. Я не стал бы начинать об этом и вас преждевременно мучить, если б не необходимость. Он болен, он как помешанный, он все просит вас. Он не мириться вас к себе просит, но пусть вы только придете и покажетесь на пороге. С ним многое совершилось с того дня. Он понимает, как неисчислимо перед вами виновен. Не прощения вашего хочет: "меня нельзя простить" – он сам говорит, а только чтобы вы на пороге показались...

– Вы меня вдруг... – пролепетала Катя, – я все дни предчувствовала, что вы с этим придете... Я так и знала, что он меня позовет!... Это невозможно!

– Пусть невозможно, но сделайте. Вспомните, он в первый раз поражен тем, как вас оскорбил, в первый раз в жизни, никогда прежде не постигал этого в такой полноте! Он говорит: если она откажет придти, то я "во всю жизнь теперь буду несчастлив". Слышите: каторжный на двадцать лет собирается еще быть счастливым – разве это не жалко? Подумайте: вы безвинно погибшего посетите, – с вызовом вырвалось и у Алеши, – его руки чисты, на них крови нет! Ради бесчисленного его страдания будущего, посетите его теперь! Придите, проводите во тьму... станьте на пороге и только... Ведь вы должны, должны это сделать! – заключил Алеша, с невероятной силой подчеркнув слово "должны".

– Должна, но... не могу, – как бы простионала Катя, – он на меня будет глядеть... я не могу.

– Ваши глаза должны встретиться. Как вы будете жить всю жизнь, если теперь не решитесь?

– Лучше страдать во всю жизнь.

– Вы должны придти, вы должны придти, – опять неумолимо подчеркнул Алеша.

– Но почему сегодня, почему сейчас?... Я не могу оставить больного...

– На минуту можете, это ведь минута. Если вы не придете, он к ночи заболит горячкой. Не стану я говорить неправду, сжальтесь!

– Надо мной-то сжальтесь, – горько упрекнула Катя и заплакала.

– Стало быть придете! – твердо проговорил Алеша, увидав ее слезы. – Я пойду скажу ему, что вы сейчас придете.

– Нет, ни за что не говорите! – испуганно вскрикнула Катя. – Я приду, но вы ему вперед не говорите, потому что я приду, но может быть не войду... Я еще не знаю...

Голос ее пресекся. Она дышала трудно. Алеша встал уходить.

– А если я с кем-нибудь встречу? – вдруг тихо проговорила она, вся опять побледнев.

– Для того и нужно сейчас, чтобы вы там ни с кем не встретились. Никого не будет, верно говорю. Мы будем ждать, – настойчиво заключил он и вышел из комнаты.

II. НА МИНУТКУ ЛОЖЬ СТАЛА ПРАВДОЙ.

Он поспешил в больницу, где теперь лежал Митя. На второй день после решения суда он заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский, по просьбе Алеши и многих других (Хохлаковой, Лизы и проч.), поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную, но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому как Митя прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором и смотрителем и даже исправником, все под рукой. Но в эти дни посетили Митю всего только Алеша да Грушенька. Порывался уже два раза увидеться с ним Ракидин; но Митя настойчиво просил Варвинского не впускать того.

Алеша застал его сидящим на койке, в больничном халате, немного в жару, с головой, обернутой полотенцем, смоченным водой с уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алешу, но во взгляде все-таки промелькнул как бы какой-то испуг.

Вообще, с самого суда, он стал страшно задумчив. Иногда по полчаса молчал, казалось что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда со страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алешей. Правда, он с нею почти и не говорил, но чуть только она входила, все лицо его озарялось радостью. Алеша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алешу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати придти невысказанным, и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алеша понимал его чувства.

- Трифон-то, - заговорил суетливо Митя, - Борисыч-то, говорят, весь свой постоянный двор разорил: половицы подымает, доски отдирает, всю "галдарею", говорят, в щепки разнес - все клада ищет, вот тех самых денег, полторы тысячи, про которые прокурор сказал, что я их там спрятал. Как приехал, так, говорят, тотчас и пошел куралесить. Поделом мошеннику! Сторож мне здешний вчера рассказал; он оттудова.

- Слушай, - проговорил Алеша, - она придет, но не знаю когда, может сегодня, может на-днях, этого не знаю, но придет, придет, это наверно.

Митя вздрогнул, хотел было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить: что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему как удар ножом в эту минуту.

- Вот что она, между прочим, сказала: чтоб я непременно успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмется за это.

- Ты уж об этом мне говорил, - раздумчиво заметил Митя.

- А ты уже Груше пересказал, - заметил Алеша.

- Да, - сознался Митя. - Она сегодня утром не придет, - робко посмотрел он на брата. - Она придет только вечером. Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала; а губы скривились. Прошептала только: "пусть ее!" Поняла, что важное. Я не посмел пытаться дальше. Понимает ведь уж кажется теперь, что та любит не меня, а Ивана?

- Так ли? - вырвалось у Алеши.

- Пожалуй и не так. Только она утром теперь не придет, - поспешил еще раз обозначить Митя, - я ей одно поручение дал... Слушай, брат Иван всех превзойдет. Ему жить, а не нам. Он выздоровеет.

- Представь себе, Катя хоть и трепещет за него, но почти не сомневается, что он выздоровеет, - сказал Алеша.

- Значит убеждена, что он умрет. Это она от страху уверена, что выздоровеет.

- Брат сложения сильного. И я тоже очень надеюсь, что он выздоровеет, - тревожно заметил Алеша.

- Да, он выздоровеет. Но та уверена, что он умрет. Много у ней горя...

Наступило молчание. Митю мучило что-то очень важное.

- Алеша, я Грушу люблю ужасно, - дрожащим, полным слез голосом вдруг проговорил он.

- Ее к тебе туда не пустят, - тотчас подхватил Алеша.

- И вот что еще хотел тебе сказать, - продолжал каким-то зазвеневшим вдруг голосом Митя, - если бить станут дорогой, аль там, то я не дамся, я убью, и меня расстреляют. И это двадцать ведь лет! Здесь уж ты начинают говорить. Сторожа мне ты говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя: не готов! Не в силах принять! Хотел "гимн" запеть, а сторожевского тыканья не могу осилить! За Грушу бы все перенес, все... кроме впрочем побой... Но ее туда не пустят.

Алеша тихо улыбнулся.

- Слушай, брат, раз на всегда, - сказал он, - вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же: ты не готов и не для тебя такой крест. Мало того: и не нужен тебе, не готовому, такой

великомученический крест. Если бы ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека; по-моему помни только всегда, во всю жизнь и куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке - и вот с тебя и довольно. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе еще больший долг и этим непрерывным ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрождению может быть более, чем если бы пошел туда. Потому что там ты не перенесешь и возропщешь и может быть впрямь, наконец, скажешь: "Я сквитался". Адвокат в этом случае правду сказал. Не всем бремена тяжкие, для иных они невозможны... Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Если бы за побег твой остались в ответе другие: офицеры, солдаты, то я бы тебе "не позволил" бежать, - улыбнулся Алеша. - Но говорят и уверяют (сам этот этапный Ивану говорил), что большого взыску, при умении, может и не быть и что отделаться можно пустяками. Конечно подкупать нечестно даже и в таком случае, но тут уже я судить ни за что не возьмусь, потому что собственно, что если бы мне, например, Иван и Катя поручили в этом деле для тебя орудовать, то я, знаю это, пошел бы и подкупил; это я должен тебе всю правду сказать. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и странно как бы мог я быть в этом деле твоим судьей? Ну, теперь я, кажется, все рассмотрел.

- Но зато я себя осужу! - воскликнул Митя. - Я убегу, это и без тебя решено было: Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу и там буду замаливать грех во веки! Ведь этак иезуиты говорят, этак? Вот как мы теперь с тобой, а?

- Этак, - тихо улыбнулся Алеша.

- Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь и ничего не утаишь! - радостно смеясь, воскликнул Митя: - Значит я Алешку моего иезуитом поймал! Расцеловать тебя всего надо за это, вот что! Ну, слушай же теперь и остальное, разверну тебе и остальную половину души моей. Вот что я выдумал и решил: Если я и убегу, даже с деньгами и паспортом и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу не хуже может быть этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже! Я эту Америку, чорт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее: ну американка ль она? Она русская, вся до косточки русская, она по матери родной земле затоскует, и я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует, для меня такой крест взяла, а чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они может быть все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие, али что - чорт с ними, не мои они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского бога люблю, хоть я сам и подлец! Да я там издохну! - воскликнул он, вдруг засверкав глазами. Голос его задрожал от слез.

- Ну так вот как я решил, Алексей, слушай! - начал он опять, подавив волнение, - с Грушей туда приедем - и там тотчас пахать, работать, с дикими медведями, в уединении, где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше! Там, говорят, есть еще краснокожие, где-то там у них на краю горизонта, ну так вот в тот край, к последним Могиканам. Ну и тотчас за грамматику, я и Груша. Работа и грамматика, и так чтобы года три. В эти три года аглицкому языку научимся как самые что ни на есть англичане. И только что выучимся - конец Америке! Бежим куда, в Россию, американскими гражданами. Не беспокойся, куда в городишко не явимся. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север, али на юг. Я к тому времени изменюсь, она тоже, там, в Америке, мне доктор какую-нибудь бородавку подделает, не даром же они механики. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую (по России-то поседею) - авось не узнают. А узнают, пусть ссылают, все равно, Значит не судьба! Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь американца из себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план, и сие непреложно. Одобрять?

- Одобрять, - сказал Алеша, не желая ему противоречить. Митя на минуту смолк и вдруг проговорил:

- А как они в суде-то подвели? Ведь как подвели!

- Если б и не подвели, все равно тебя б осудили, - проговорил вздохнув

Алеша.

- Да, надоел здешней публике! Бог с ними, а тяжело! - со страданием простонал Митя. Опять на минуту смолкли.

- Алеша, зарежь меня сейчас! - воскликнул он вдруг: - придет она сейчас или нет, говори! Что сказала? Как сказала?

- Сказала, что придет, но не знаю сегодня ли. Трудно ведь ей! - робко посмотрел на брата Алеша.

- Ну еще бы же нет, еще бы не трудно! Алеша, я на этом с ума сойду. Груша на меня все смотрит. Понимает. Боже, господи, смири меня: чего требую? Катю требую! Смыслю ли, чего требую? Безудерж Карамазовский, нечестивый! Нет, к страданию я не способен! Подлец и все сказано!

- Вот она! - воскликнул Алеша.

В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило испуг, он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг, неудержимо, протянул к Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, сама села подле, и, все не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, как бы приковавшись, со странною улыбкой смотрели друг на друга. Так прошло минуты две.

- Простила или нет? - пролепетал наконец Митя, и в тот же миг, повернувшись к Алеше, с искаженным от радости лицом, прокричал ему:

- Слышишь, что спрашиваю, слышишь!

- За то и любила тебя, что ты сердцем великодушен! - вырвалось вдруг у Кати. - Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое; все равно, простишь аль нет, на всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в твоей - так и надо... - она остановилась перевести дух.

- Я для чего пришла? - испуганно и торопливо начала она опять, - ноги твои обнять, руки сжать, вот так до боли, помнишь, как в Москве тебе сжимала, - опять сказать тебе, что ты бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя, - как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз.

Алеша стоял безмолвный и смущенный; он никак не ожидал того, что увидел.

- Любовь прошла, Митя! - начала опять Катя, - но дорого до боли мне то, что прошло. Это узнай на век. Но теперь, на одну минутку, пусть будет то, что могло бы быть, - с искривленною улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему в глаза. - И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, а все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня. знал ли ты это? Слышишь, люби меня, всю твою жизнь люби! - воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе.

- Буду любить и... знаешь, Катя, - переводя дух на каждом слове, заговорил и Митя, - знаешь, я тебя, пять дней тому, в тот вечер любил... Когда ты упала, и тебя понесли... Всю жизнь! Так и будет, так вечно будет...

Так оба они лепетали друг другу речи почти бессмысленные и испуганные, может быть даже и неправдивые, но в эту-то минуту все было правдой, и сами они верили себе беззаветно.

- Катя, - воскликнул вдруг Митя, - веришь, что я убил? Знаю, что теперь не веришь, но тогда... когда показывала... Неужто, неужто верила!

- И тогда не верила. Никогда не верила! Ненавидела тебя и вдруг себя уверила, вот на тот миг... Когда показывала... уверила и верила... а когда кончила показывать, тотчас опять перестала верить. Знай это все. Я забыла, что я себя казнить пришла! - с каким-то вдруг совсем новым выражением проговорила она, совсем непохожим на недавний, сейчасний любовный лепет.

- Тяжело тебе, женщина! - как-то совсем безудержно вырвалось вдруг у Мити.

- Пусти меня, - прошептала она. - я еще приду, теперь тяжело!..

Она поднялась было с места, но вдруг громко вскрикнула и отшатнулась назад. В комнату внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька. Никто ее не ожидал. Катя стремительно шагнула к дверям, но, поравнявшись с Грушенькой, вдруг остановилась, вся побелела, как мел, и тихо, почти шепотом, простонала ей:

- Простите меня!

Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, ядовитым, отравленным злобой голосом ответила:

- Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж нам простить, тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду.

- А простить не хочешь! - прокричал Митя Грушеньке, с безумным упреком.

- Будь покойна, спасу его тебе! - быстро прошептала Катя и выбежала из комнаты.

- И ты могла не простить ей, после того как она сама же сказала тебе: "прости"? - горько воскликнул опять Митя.

- Митя, не смей ее упрекать, права не имеешь! - горячо крикнул на брата Алеша.

- Уста ее говорили гордые, а не сердце, - с каким-то омерзением произнесла Грушенька. - Избавит тебя - все прощу...

Она замолкла, как бы что задавив в душе. Она еще не могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила.

- Алеша, беги за ней! - стремительно обратился к брату Митя, - скажи ей... не знаю что... не дай ей так уйти!

- Приду к тебе перед вечером! - крикнул Алеша и побежал за Катей. Он нагнал ее уже вне больничной ограды. Она шла скоро, спешила, но как только нагнал ее Алеша, быстро проговорила ему:

- Нет, перед этой не могу казнить себя! Я сказала ей: "прости меня", потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила... Люблю ее за это! - искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикою злобой.

- Брат совсем не ожидал, - пробормотал было Алеша, - он был уверен, что она не придет...

- Без сомнения. Оставим это, - отрезала она. - Слушайте: я с вами туда на похороны идти теперь не могу. Я послала им на гробик цветов. Деньги еще есть у них кажется. Если надо будет, скажите, что в будущем я никогда их не оставлю... Ну теперь оставьте меня, оставьте пожалуйста. Вы уж туда опоздали, к поздней обедне звонят... Оставьте меня пожалуйста!

III. ПОХОРОНЫ ИЛЮШЕЧКИ. РЕЧЬ У КАМНЯ.

Действительно он опоздал. Его ждали и даже уже решились без него нести хорошенький, разубранный цветами гробик в церковь. Это был гроб Илюшечки, бедного мальчика. Он скончался два дня спустя после приговора Мити. Алеша еще у ворот дома был встречен криками мальчиков, товарищей Илюшиных, Они все с нетерпением ждали его и обрадовались, что он наконец пришел. Всех их собралось человек двенадцать, все пришли со своими ранчиками и сумочками через плечо. "Папа плакать будет, будьте с папой", - завещал им Илюша умирая, и мальчики это запомнили. Во главе их был Коля Красоткин.

- Как я рад, что вы пришли, Карамазов! - воскликнул он, протягивая Алеше руку. - Здесь ужасно. Право тяжело смотреть. Снегирев не пьян, мы знаем наверно, что он ничего сегодня не пил, а как будто пьян... Я тверд всегда, но это ужасно. Карамазов, если не задержу вас, один бы только еще вопрос, прежде чем вы войдете?

- Что такое, Коля? - приостановился Алеша.

- Невинен ваш брат или виновен? Он отца убил или лакей? Как скажете, так и будет. Я четыре ночи не спал от этой идеи.

- Убил лакей, а брат невинен, - ответил Алеша.

- И я то же говорю! - прокричал вдруг мальчик Смуров.

- Итак, он погибнет невинною жертвой за правду! - воскликнул Коля. - Хоть он и погиб, но он счастлив! Я готов ему завидовать!

- Что вы это, как это можно, и зачем? - воскликнул удивленный Алеша.

- О, если б и я мог хоть когда-нибудь принести себя в жертву за правду, - с энтузиазмом проговорил Коля.

- Но не в таком же деле, не с таким же позором, не с таким же ужасом! - сказал Алеша.

- Конечно... я желал бы умереть за все человечество, а что до позора,

то все равно: да погибнут наши имена. Вашего брата я уважаю!

- И я тоже! - вдруг и уже совсем неожиданно выкрикнул из толпы тот самый мальчик, который когда-то объявил, что знает, кто основал Трюк, и крикнув точно так же, как и тогда, весь покраснел до ушей как пион.

Алеша вошел в комнату. В голубом, убранном белым рюшем гробе лежал, сложив ручки и закрыв глазки, Илюша. Черты исхудалого лица его совсем почти не изменились, и, странно, от трупа почти не было запаха. Выражение лица было серьезное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему вложили цветов, да и весь гроб был уже убран снаружи и снутри цветами, присланными чем свет от Лизы Хохлаковой. Но прибыли и еще цветы от Катерины Ивановны, и когда Алеша отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих руках своих обсыпал ими снова своего дорогого мальчика. Он едва взглянул на вошедшего Алешу, да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую, помешанную жену свою, свою "мамочку", которая все старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на своего мертвого мальчика. Ниночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплоть к гробу. Она сидела прижавшись к нему своею головой и тоже должно быть тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид оживленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточенный. В жестах его, в вырывающихся словах его было что-то полоумное. "Батюшка, милый батюшка!" восклицал он поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша был в живых, говорить ему ласкаючи: "батюшка, милый батюшка!"

- Папочка, дай и мне цветочков, возьми из его ручки, вот этот беленький, и дай! - всхлипывая попросила помешанная "мамочка". Или уж ей так понравилась маленькая беленькая роза, бывшая в руках Илюши, или то, что она из его рук захотела взять цветок на память, но она вся так и заметалась, протягивая за цветком руки.

- Никому не дам, ничего не дам! - жестокосердно воскликнул Снегирев. - Его цветочки, а не твои. Все его, ничего твоего!

- Папа, дайте маме цветок! - подняла вдруг свое смоченное слезами лицо Ниночка.

- Ничего не дам, а ей пуще не дам! Она его не любила. Она у него тогда пушечку отняла, а он ей по-да-рил, - вдруг в голос прорыдал штабс-капитан при воспоминании о том, как Илюша уступил тогда свою пушечку маме. Бедная помешанная так и залилась вся тихим плачем, закрыв лицо руками. Мальчики, видя наконец что отец не выпускает гроб от себя, а между тем пора нести, вдруг обступили гроб тесною кучкой и стали его подымать.

- Не хочу в ограде хоронить! - возопил вдруг Снегирев, - у камня похороню, у нашего камушка! Так Илюша велел. Не дам нести!

Он и прежде, все три дня говорил, что похоронит у камня; но вступились Алеша, Красоткин, квартирная хозяйка, сестра ее, все мальчики.

- Вишь что выдумал, у камня поганого хоронить, точно бы удавленника, - строго проговорила старуха-хозяйка. - Там в ограде земля со крестом. Там по нем молиться будут. Из церкви пение слышно, а дьякон так чисторечиво и словесно читает, что все до него каждый раз долетит, точно бы над могилкой его читали...

Штабс-капитан замахал наконец руками: "Несите дескать куда хотите!" Дети подняли гроб, но, пронося мимо матери, остановились пред ней на минутку и опустили его, чтоб она могла с Илюшей проститься. Но увидав вдруг это дорогое личико вблизи, на которое все три дня смотрела лишь с некоторого расстояния, она вдруг вся затряслась и начала истерически дергать над гробом своею седою головой взад и вперед.

- Мама, окрести его, благослови его, поцелуй его, - прокричала ей Ниночка. Но та как автомат все дергалась своею головой и безмолвно, с искривленным от жгучего горя лицом, вдруг стала бить себя кулаком в грудь. Гроб понесли дальше. Ниночка в последний раз прильнула губами к устам покойного брата, когда проносили мимо нее. Алеша, выходя из дому, обратился было к квартирной хозяйке с просьбой присмотреть за оставшимися, но та и договорить не дала:

- Знамо дело, при них буду, христиане и мы тоже.

Старуха, говоря это, плакала. Нести до церкви было не далеко, шагов триста, не более. День стал ясный, тихий; морозило, но не много. Благовестный звон еще раздавался. Снегирев суетливо и растерянно бежал за гробом в своем стареньком, коротеньком, почти летнем пальтишке, с непокрытою

головой и с старую, широкополою, мягкою шляпой в руках. Он был в какой-то неразрешимой заботе, то вдруг протягивал руку, чтобы поддержать изголовье гроба и только мешал несущим, то забегал с боку и искал, где бы хоть тут пристроиться. Упал один цветок на снег, и он так и бросился подымать его, как будто от потери этого цветка бог знает что зависело.

- А корочку-то, корочку-то забыли, - вдруг воскликнул он в страшном испуге. Но мальчики тотчас напомнили ему, что корочку хлеба он уже захватил еще давеча и что она у него в кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверившись, успокоился.

- Илюшечка велел, Илюшечка, - пояснил он тотчас Алеше, - лежал он ночью, а я подле сидел, и вдруг приказал: "Папочка, когда засыпят мою могилку, покроши на ней корочку хлеба, чтоб воробушки прилетали, я услышу, что они прилетели, и мне весело будет, что я не один лежу".

- Это очень хорошо, - сказал Алеша, - надо чаще носить.

- Каждый день, каждый день! - залепетал штабс-капитан, как бы весь оживившись.

Прибыли наконец в церковь и поставили посреди ее гроб. Все мальчики обступили его кругом и чинно простояли так всю службу. Церковь была древняя и довольно бедная, много икон стояло совсем без окладов, но в таких церквях как-то лучше молишься. За обедней Снегирев как бы несколько попричих, хотя временами все-таки прорывалась в нем та же бессознательная и как бы сбитая с толку озабоченность: то он подходил к гробу оправлять покров, венчик, то когда упала одна свечка из подсвечника, вдруг бросился вставлять ее снова и ужасно долго с ней провозился. Затем уже успокоился и стал смиренно у изголовья с тупо-озабоченным и как бы недоумевающим лицом. После апостола он вдруг шепнул стоявшему подле его Алеше, что апостола не так прочитали, но мысли своей однако не разъяснил. За херувимской принялся было подпевать, но не докончил и, опустившись на колена, прильнул лбом к каменному церковному полу и пролежал так довольно долго. Наконец приступили к отпеванию, роздали свечи. Обезумевший отец засуетился было опять, но умиленное, потрясающее надгробное пение пробудило и сотрясло его душу. Он как-то вдруг весь съежился и начал часто, укороченно рыдать, сначала тая голос, а под конец громко всхлипывая. Когда же стали прощаться и накрывать гроб, он обхватил его руками, как бы не давая накрыть Илюшечку, и начал часто, жадно, не отрываясь целовать в уста своего мертвого мальчика. Его наконец уговорили и уже свели было со ступеньки, но он вдруг стремительно протянул руку и захватил из гробика несколько цветков. Он смотрел на них и как бы новая какая идея осенила его, так что о главном он словно забыл на минуту. Мало-по-малу он как бы впал в задумчивость и уже не сопротивлялся, когда подняли и понесли гроб к могилке. Она была недалеко, в ограде, у самой церкви, дорогая; заплатила за нее Катерина Ивановна. После обычного обряда могильщики гроб опустили; Снегирев до того нагнулся, с своими цветочками в руках, над открытою могилой, что мальчики, в испуге, уцепились за его пальто и стали тянуть его назад. Но он как бы уже не понимал хорошо, что совершается. Когда стали засыпать могилу, он вдруг озабоченно стал указывать на валившуюся землю и начинал даже что-то говорить, но разобрать никто ничего не мог, да и он сам вдруг утих. Тут напомнили ему, что надо покрошить корочку, и он ужасно заволновался, выхватил корку и начал шипать ее, разбрасывая по могилке кусочки: "Вот и прилетайте, птички, вот и прилетайте, воробушки!" - бормотал он озабоченно. Кто-то из мальчиков заметил-было ему, что с цветами в руках ему неловко шипать и чтоб он на время дал их кому поддержать. Но он не дал, даже вдруг испугался за свои цветы, точно их хотели у него совсем отнять, и, поглядев на могилку и как бы удостоверившись, что все уже сделано, кусочки покрошены, вдруг, неожиданно и совсем даже спокойно повернулся и побрел домой. Шаг его однако становился все чаще и уторопленнее, он спешил, чуть не бежал. Мальчики и Алеша от него не отставали.

- Мамочке цветочков! Мамочке цветочков, обидели мамочку, - начал он вдруг восклицать. Кто-то крикнул ему, чтоб он надел шляпу, а то теперь холодно, но, услышав, он как бы в злобе шваркнул шляпу на снег и стал приговаривать: "не хочу шляпу, не хочу шляпу!" Мальчик Смуров поднял ее и понес за ним. Все мальчики до единого плакали, а пуще всех Коля и мальчик, открывший Трою, и хоть Смуров, с капитанскою шляпой в руках, тоже ужасно как плакал, но успел-таки, чуть не на бегу, захватить обломок кирпичика,

красневший на снегу дорожки, чтобы метнуть им в быстро пролетевшую стаю воробушков. Конечно не попал и продолжал бежать плача. На половине дороги Снегирев внезапно остановился, постоял с полминуты как бы чем-то пораженный и вдруг, поворотив назад к церкви, пустился бегом к оставленной могилке. Но мальчики мигом догнали его и уцепились за него со всех сторон. Тут он, как в бессилии, как сраженный, пал на снег и биясь, вопия и рыдая, начал выкрикивать: "Батюшка, Илюшечка, милый батюшка!" Алеша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать.

- Капитан, полноте! Мужественный человек обязан переносить, - бормотал Коля.

- Цветы-то вы испортите, - проговорил и Алеша, - а "мамочка" ждет их. Она сидит - плачет, что вы давеча ей не дали цветов от Илюшечки. Там постелька Илюшина еще лежит...

- Да, да, к мамочке! - вспомнил вдруг опять Снегирев, - постельку уберут, уберут! - прибавил он как, бы в испуге, что и в самом деле уберут, вскочил и опять побежал домой. Но было уже недалеко, и все прибежали вместе. Снегирев стремительно отворил дверь и завопил жене, с которой давеча так жестокосердно поссорился:

- Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал, ножки твои больные! - прокричал он, протягивая ей пучечек цветов, померзших и поломанных, когда он бился сейчас об снег. Но в это самое мгновение увидел он пред постелькой Илюши, в уголку, Илюшины сапожки, стоявшие оба рядышком, только что прибранные хозяйкой квартиры, - старенькие, порыжевшие, заскорузные сапожки, с заплатками. Увидав их, он поднял руки и так и бросился к ним, пал на колени, схватил один сапожок и, прильнув к нему губами, начал жадно целовать его выкрикивая: "Батюшка, Илюшечка, милый батюшка, ножки-то твои где?"

- Куда ты его унес? Куда ты его унес? - раздирающим голосом завопила помешанная. Тут уж зарыдала и Ниночка. Коля выбежал из комнаты, за ним стали выходить и мальчики. Вышел наконец за ними и Алеша: "Пусть переплачут, - сказал он Коле, - тут уж конечно нельзя утешать. Переждем минутку и воротимся".

- Да, нельзя, это ужасно, - подтвердил Коля. - Знаете, Карамазов, - понизил он вдруг голос, чтобы никто не услышал: мне очень грустно и если бы только можно было его воскресить, то я бы отдал все на свете!

- Ах, и я тоже, - сказал Алеша.

- Как вы думаете, Карамазов, приходите нам сюда сегодня вечером? Ведь он напьется.

- Может быть и напьется. Придем мы с вами только вдвоем, вот и довольно, чтобы посидеть с ними часок, с матерью и с Ниночкой, а если все придем разом, то им опять все напомним, - посоветовал Алеша.

- Там у них теперь хозяйка стол накрывает, - эти поминки что ли будут, поп придет; возвращаться нам сейчас туда, Карамазов, или нет?

- Непременно. - сказал Алеша.

- Странно все это, Карамазов, такое горе и вдруг какие-то блины, как это все неестественно по нашей религии!

- У них там и семга будет, - громко заметил вдруг мальчик, открывший Трою.

- Я вас серьезно прошу, Карташов, не вмешиваться более с вашими глупостями, особенно когда с вами не говорят и не хотят даже знать, есть ли вы на свете! - раздражительно отрезал в его сторону Коля. Мальчик так и вспыхнул, но ответить ничего не осмелился. Между тем все тихонько брели по тропинке, и вдруг Смуров воскликнул:

- Вот Илюшин камень, под которым его хотели похоронить!

Все молча остановились у большого камня. Алеша посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал тогда об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: "Папочка, папочка, как он унизил тебя!" - разом представилась его воспоминанию. Что-то как бы сотряслось в его душе. Он с серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые светлые лица школьников, Илюшиных товарищей, и вдруг сказал им:

- Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово.

Мальчики обступили его и тотчас устремили на него пристальные ожидающие взгляды.

- Господа, мы скоро расстанемся. Я теперь пока несколько времени с двумя братьями, из которых один пойдет в ссылку, а другой лежит при смерти. Но скоро я здешний город покину, может быть очень на долго. Вот мы и расстанемся, господа. Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать - во-первых Илюшечку, а во-вторых друг о друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и двадцать лет потом не встречались, - все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде бросали камни, помните, там у мостика-то? - а потом так все его полюбили. Он был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую, за которую и восстал. Итак, во-первых, будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигли почестей или впали бы в какое великое несчастье, - все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо, всем сообща, соединенным таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику может быть лучшими, чем мы есть в самом деле. Голубчики мои, - дайте я вас так назову - голубчиками, потому что вы все очень похожи на них, на этих хорошеньких сизых птичек, теперь, в эту минуту, как я смотрю на ваши добрые, милые лица, - милые мои деточки, может быть вы не поймете, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть мы станем даже злыми потом, даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, над слезами человеческими будем смеяться, и над теми людьми, которые говорят, вот как давеча Коля воскликнул: "Хочу пострадать за всех людей", - и над этими людьми может быть злобно издеваться будем. А все-таки как ни будем мы злы, чего не дай бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы любили его в последние дни, и как вот сейчас говорили так дружно и так вместе у этого камня, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту! Мало того, может быть именно это воспоминание одно его от великого зла удержит, и он одумается и скажет: "Да, я был тогда добр, смели честен". Пусть и усмехнется про себя, это ничего, человек часто смеется над добрым и хорошим; это лишь от легкомыслия; но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: "Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся, потому что над этим нельзя смеяться!"

- Это непременно так будет, Карамазов, я вас понимаю, Карамазов! - воскликнул, сверкнув глазами, Коля. Мальчики заволновались и тоже хотели что-то воскликнуть, но сдержались, пристально и умиленно смотря на оратора.

- Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся, - продолжал Алеша, - но зачем нам я делаться дурными, не правда ли, господа? Будем, во-первых, и прежде всего добры, потом честны, а потом - не будем никогда забывать друг о друге. Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчас, смотрит, припомню, хоть бы и через тридцать лет. Давеча вот Коля сказал Карташову, что мы будто бы не хотим знать "есть он или нет на свете?" Да разве я могу забыть, что Карташов есть на свете и что вот он не краснеет уж теперь как тогда, когда Трюю открыл, а смотрит на меня своими славными, добрыми, веселыми глазками. Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы как Илюшечка, умны, смелы и великодушны как Коля (но который будет гораздо умнее, когда подрастет), и будем такими же стыдливými, но умненькими и милыми как Карташов. Да чего я говорю про них обоих: все вы, господа, милы мне отныне, всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце. Ну, а что нас соединил в этом добром хорошем чувстве, о котором мы теперь всегда, всю жизнь вспоминать будем и вспоминать намерены, кто как не Илюшечка, добрый мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик на веки-веков! Не забудем же его никогда, вечная ему и хорошая

память в наших сердцах, отныне и во веки веков!

- Так, так, вечная, вечная, - прокричали все мальчики, своими звонкими голосами, с умиленными лицами.

- Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о том, как он смело один восстал на весь класс за него!

- Будем, будем помнить! - прокричали опять мальчики, - он был храбрый, он был добрый!

- Ах как я любил его! - воскликнул Коля.

- Ах, деточки, ах милые друзья, не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!

- Да, да, - восторженно повторили мальчики.

- Карамазов, мы вас любим! - воскликнул неудержимо один голос, кажется Карташова.

- Мы вас любим, мы вас любим, - подхватили и все. У многих сверкали на глазах слезинки.

- Ура Карамазову! - восторженно провозгласил Коля,

- И вечная память мертвому мальчику! - с чувством прибавил опять Алеша.

- Вечная память! - подхватили снова мальчики.

- Карамазов! - крикнул Коля, - неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?

- Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было, - полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.

- Ах как это будет хорошо! - вырвалось у Коли.

- Ну а теперь кончим речи и пойдете на его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее, - засмеялся Алеша. - Ну пойдете же! Вот мы теперь и идем рука в руку.

- И вечно так, всю жизнь рука в руку! Ура Карамазову! - еще раз восторженно прокричал Коля, и еще раз все мальчики подхватили его восклицание.